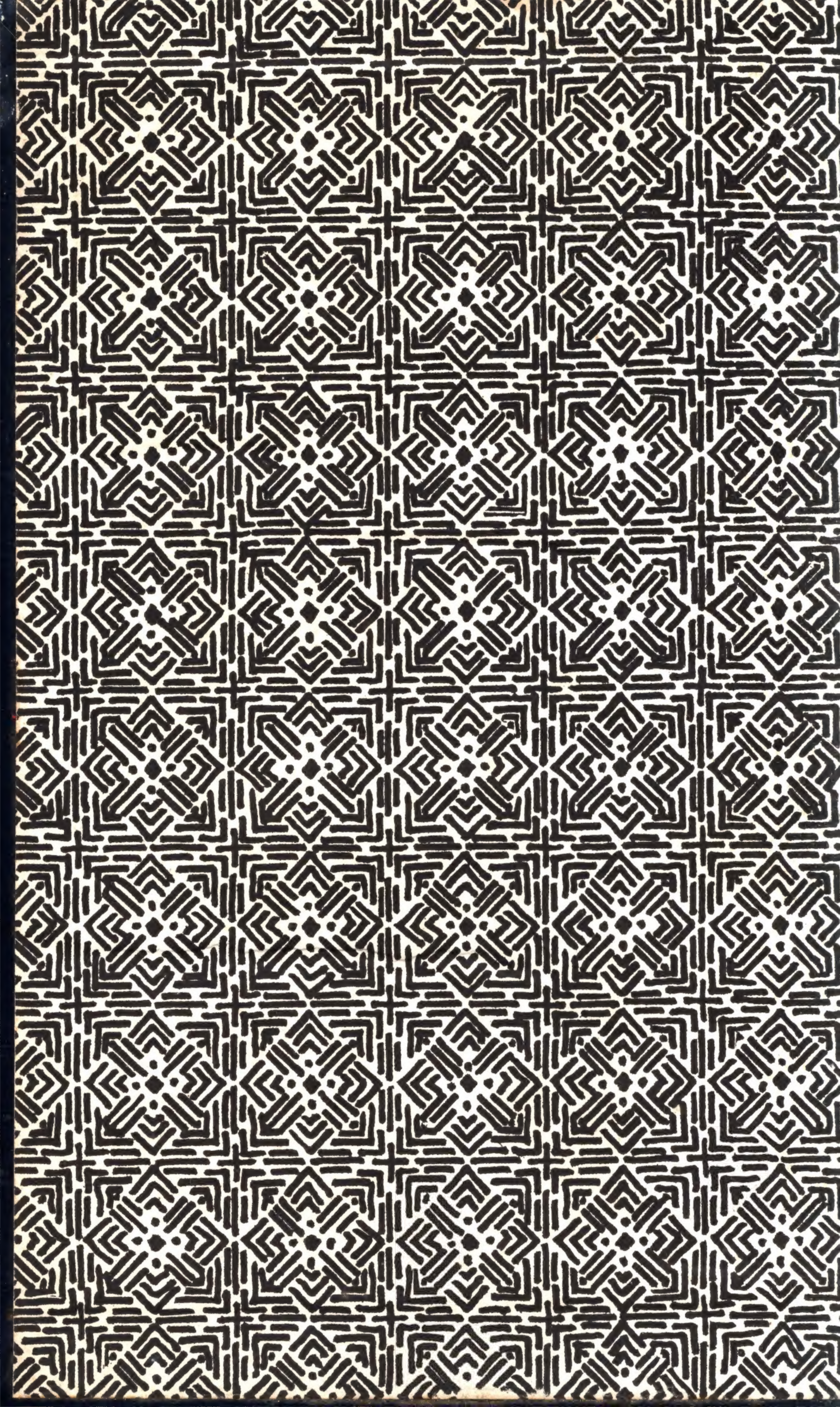
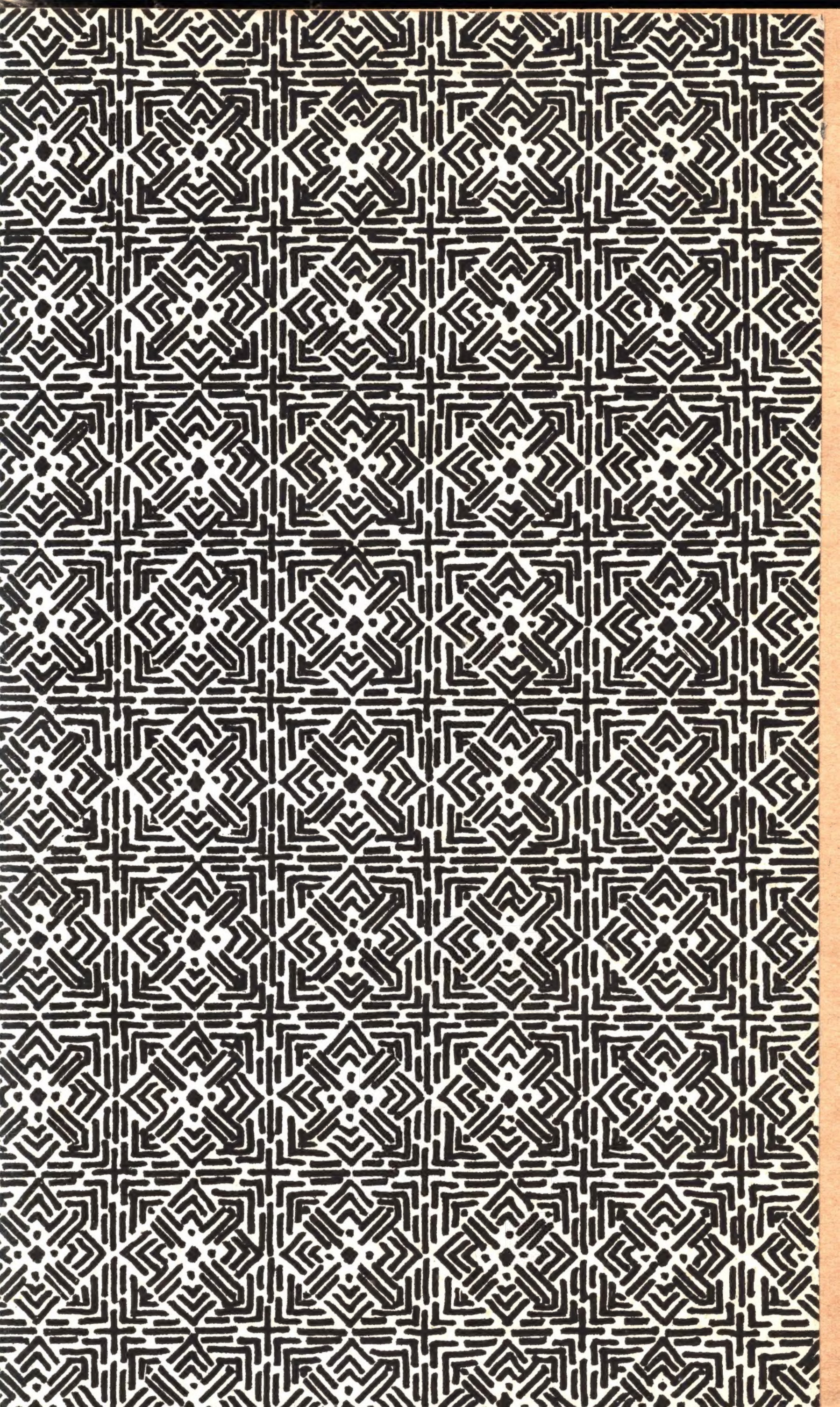
Ольга Маркова

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ





ОЛЬГА МАРКОВА

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ



Ольга Маркова

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ

Повести
и рассказы

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1978

Р2
М27

В однотомник произведений Ольги Марковой вошли повести «В некотором царстве» и «Варвара Потехина», рассказы «Шест у двора», «Вдова», «Над рекой береза», документальные новеллы «С песенкой вас, люди!» и «Темные ночи», а также воспоминания о Л. Н. Сейфуллиной — ярком художнике, взыскательном редакторе и литературной наставнице, оказавшей большое влияние на формирование уральской писательницы.

Книга издается к 70-летию со дня рождения Ольги Марковой.

Составитель и автор
вступительной статьи
И. ДЕРГАЧЕВ

М $\frac{70302-075}{М158(03)-77}$

С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА

Уже третий год не слышен энергичный голос Ольги Ивановны Марковой. Остался недописанным большой роман о давних друзьях— первоуральских трубниках. Не осуществлен замысел рассказать о тех, кто был рядом в военном тылу, чьи судьбы вошли в душу писательницы.

Пришла пора оглянуться на все, что сделала Ольга Маркова для людей. Пока писатель живет, пишет, трудится, он сам и его читатели ждут: главная книга еще впереди, и все попытки определить «лица необщее выраженье» литератора выглядят предварительными, неполными. Но вот нет на земле Марковой, и живут самостоятельной жизнью, питая умы и сердца людей, ее романы, повести, рассказы. Не будет уже новой книги, и главные, те, которые оказались ключевым делом жизни, надо искать среди увидевших свет прежде. Но, назвав эти главные книги, мы поймем, что не только во взлетах, но и в неудачах проявилась своеобразная личность писательницы, ее яростная устремленность к добру, чистоте, свету, к прозрачной ясности отношений, дающих силу, к радостному чувству долга перед людьми.

В книгах — душа писателя, в них — широкий мир, входивший в думы и чувства художника ежедневно, ежечасно от детских лет до времени мужественных решений — всю жизнь. И, окидывая взором творческий путь Марковой, еще раз убеждаешься, что мерой плодотворности писательского труда является способность литератора пойти навстречу велениям жизни, отдать свои силы и талант людям.

Родилась Ольга Маркова в 1908 году в многодетной семье новоуткинского мастерового. Было отпущено ей все, что выпадало на долю рабочих детей до революции: не только бедность, но и сознание необходимости и высокой человеческой меры труда, не только тяготы скудной жизни, но и ощущение счастья, когда отец, мать и сама она заводили протяжную проголосную песню, выводившую к каким-то необъятным просторам. Пели в семье от всего сердца, щедро вкладывая в слова и звуки свое задушевное, личное. Девочку поражали и складность песни, и таинственное чье-то уменье сказать все за других так, как будто самое заветное, дорогое уже известно людям и в песне сердце лишь подавало весть другому.

Осталась до «дней последних донца» у Ольги Марковой трепетная, счастливая любовь к песне, объединяющей людей. Не случайно и героини ее так полно утверждали в песне себя, свое право на счастье.

Улица рабочего поселка давала ранние уроки социального чувства — презрения к своекорыстию, к отчужденности от людей, нена-

висти к тем, кто наживается за счет других; возникало понимание ценности рабочей «заединщины», широкого плеча, трудовой солидарности, сердечного интереса к человеку. А когда отец выбрал путь в революцию, Ольга Маркова и на себе испытала ненависть богатеев. Иван Марков ушел воевать против Колчака, и учительница школы, из тех, что прислуживали власть имущим, иначе не обращалась к маленькой ученице, как «Ну, ты, большевичка», и натравливала на нее неразумных ребят. Находила защиту девочка из рабочей семьи только у школьной сторожихи.

И вполне естественным было то, что первая ячейка комсомола в поселке создавалась потом молодыми Марковыми, хотя Ольге тогда было всего двенадцать лет. Впрочем, почему всего? Она уже была сама рабочим человеком, и не было таких общественных дел в Новой Утке, в которых бы не принимала она участие: здесь и ликвидация неграмотности, и первые спектакли самодеятельности, и комсомольские карнавалы.

Неприметно приближало к писательской стезе не только гражданское мужание, но и особое отношение к слову, речи. Припоминала Маркова, что с самого детства ей открылась великая сила слова: казалось, если что-то увиденное, услышанное, узнанное, поразившее не закрепить в слове, не найти нужного выражения, просто не записать, то все это исчезнет бесследно или если и останется, то зыбким, смутным, неясным, слегка скользнув по сознанию. Именно поэтому она вела дневник, записывая в него все, к чему прикоснулась душа, — вела изо дня в день все девчоночьи годы.

Писательница рассказывала впоследствии, как волновали ее уже в ту пору человеческие судьбы: «Помню, мать однажды рассказывала про бродяжку. Она к таким людям относилась по-особенному. В ее рассказах о скитальцах по земле было нечто вызывающее раздумья. Особенно запал в душу рассказ о Якунинском, купце. У него до революции сестра матери в прислугах жила. Потом он сбежал, скрывался, пропадал где-то. А тут, как бродяжка, вернулся, по кустам скрывается, домой боится идти. И мать, ненавидевшая лиходеев кулаков, в бродячем человеке видела уже только несчастненького: «Сидит на берегу и плачет». Ее, видимо, поражало, как и меня поразило, соединение в одном человеке социально плохого, злого, отвратительного и чего-то человеческого, обретенного в бесприютности, испытаниях, бродяжьей жизни».

Возможно, это и был один из первых уроков для будущей писательницы — заставлявший размышлять о сложностях судеб, характеров, положений. Девочка надолго запомнила: «Сидит и плачет» — и возвращалась к этому, перебирая и обдумывая возможные обстоятельства. Видел кто или нет? Сказали кому-нибудь? А куда дальше подался бродяжка этот? Какова его судьба?

«Это как сейчас за писательским столом, — продолжала Маркова. — Столкнешься с интересным характером и ставишь его в разные обстоятельства, ведешь сложную с ним тяжбу: так или не так в этих условиях он поведет себя? Так или по-другому? У меня не было жалости к кулаку, хоть русское сердце и отходчиво. А вот сложность совмещения в одном человеке и зла и наказания, которое как-то уже перечеркивает зло,— это интересовало, и интерес к такой сложности у меня не только не пропадал, а увеличивался. Поражало в рассказе матери еще одно: отчуждение от людей, невозможность показаться им, невозможность жить вместе с ними оказывались наказанием. Это гражданский урок на всю жизнь. И писательский, разумеется.

Мать заметила, какое впечатление произвел ее рассказ, поняла по-своему, сердцем, и на покосе вдруг сама начала игру в предлагаемые обстоятельства. Я косила впервые, было тяжело, ел овод, донимала жара, казалось, еще шаг и — упаду. А мать вдруг говорит: «А может, бродяжка в кустах сидит, смотрит и думает: «Какая работящая у Татьяны Марковой дочь...»

Не тогда ли и возникло у Ольги Марковой необходимое писателю чувство единства жизни и вымысла, их прочного сплава?

Общественную ценность слова юная Маркова ощутила тоже рано. Шел 1921 год. Едва начинала теплиться заводская жизнь после разрухи, а в поселке уже действовал драмкружок. Для него тринадцатилетняя девочка написала инсценировку по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль». Первый раз тогда публично назвали ее имя: «Инсценировка Оли Марковой». Пришло радостное чувство, что может она для других сделать что-то полезное и они это ценят. После этого было много других инсценировок, писались и собственные небольшие пьесы на темы заводской жизни.

Видно, там, в детстве, и начинается писательская биография.

А дальше все расширялся мир, который питал ум и сердце Ольги Марковой, обострял способность анализа и размышлений. В 1926—1929 годах она училась на рабфаке искусств в Москве, в одной группе с Яковом Шведовым, автором знаменитого впоследствии «Орленка», поэтами Павлом Васильевым, Борисом Ковыневым. Их успехи торопили, подталкивали, ободряли: «Они могут, а я?» После этого была еще учеба в МГУ и институте имени Г. В. Плеханова. В 1931 году Ольга Маркова возвратилась на Урал, учительствовала, работала редактором сначала в Свердловском радиокомитете, потом в книжном издательстве.

Стремление вмешаться в жизнь, воздействовать на нее словом, идущим к самому сердцу, не давало покоя. Маркова написала рассказ «Зеленый дом» и принесла его на суд известного писателя Бориса Горбатова, жившего тогда в Свердловске. Он честно сказал,

что рассказ плох, но поддержал, уверенно заявив, что писатель из молодой женщины должен получиться. Такое заключение влило новые силы, Маркова с головой ушла в литературную работу. В 1935 году Б. Горбатов направил в журнал «Штурм» со своей рекомендацией ее первую повесть «Варвара Потехина». Через год повесть вышла отдельным изданием.

Дальше шла полоса неудач, от которых можно было опустить руки. Не удался рассказ «Карусель», представлявший первую завязь повести «В некотором царстве». Повесть «Улей» тоже не удовлетворяла ни автора, ни издательских работников, которые ее читали. Дело в том, что молодая писательница тяготела к драматически напряженным ситуациям и сильным, незаурядным характерам, что само по себе говорит о ее близости к фольклорной поэтике. Но тогда Маркова не умела еще увидеть трагическое и яркое как наиболее последовательное выражение типического. Яркость вызывала удивление, но не приводила к пониманию. А ведь литература — и это знала Маркова — не просто весть одного сердца другому, а всегда передача ценного житейского, социального, человеческого опыта.

Однако настойчивая работа в конце концов привела к успеху. В первое послевоенное пятилетие появляются повести «Разрешите войти», «Улица сталеваров», свидетельствовавшие о крепнущем мастерстве писательницы. А в 1951 году была опубликована повесть «В некотором царстве», признанная критикой лучшей вещью Марковой.

«Варвара Потехина» и «В некотором царстве» в полный голос говорили о том, что в нашу литературу пришел самобытный писатель со своим взглядом на мир, со своей темой, со своим языком.

«Варвара Потехина» — повесть о том, как выпрямляет человека, утверждает достоинство личности русской крестьянки новь деревенской жизни. Батрачка, привыкшая жить в тесном круге угнетения, унижения, казалось, навсегда усвоившая недоверие и подозрительность к людям, она распрямляется в коллективном труде и обретает новые силы души. Писательница сумела увидеть и зримо показать, как через страшные тяготы уродливой жизни простая деревенская женщина пронесла громадную жажду счастья.

Как-то в разговоре с автором этих строк Ольга Ивановна сказала, что почкой, развернувшейся в повесть, были ее юношеские напряженные размышления над судьбой неприметного мужичонки из Новой Утки с уличным прозвищем Енка Брында. Был он вором, тащил все, что под руку попадало. Его ловили и избивали. События эти вечерами обсуждались на завалинках. Поразило тогда девушку чье-то замечание: «Вот ведь вор, а из бедности не выходит». И она стала думать: почему трудно вору?

Образ несчастного Брынды, не вылезающего из бедности и ворующего не потому, что он плох, а потому, что не видит иного пути,

долго жил в художнической памяти Марковой. Из темы о несчастном мужике, сломленном обстоятельствами, постепенно выросла тема преодоления этих обстоятельств. Стало ясно, что новые отношения, заложенные советским обществом, дают даже самой придавленной личности силу выйти из нужды, стать человеком. Затем встретилась как-то заметка о мести кулаков одной батрачке, которой они влили в горло бутылку керосина. И особенно остро почувствовался накал борьбы в деревне, то, насколько разными дорогами шли кулаки и беднота: для одних надо было, чтобы человек оставался средством обогащения, чьего-то самоутверждения, а другие видели в человеке цель всего, для его блага открывали новые отношения прямую и ясную дорогу.

Повесть сегодня может вызвать пожелания большей психологической детализации, большей рельефности и художественной живости образов. Но она остается ярким художественным документом, передающим не только правду действительности, но и правду о способе тогдашнего эстетического восприятия и оценки этой действительности.

В повести «В некотором царстве» многим критикам казался нарушенным «закон», по которому то, что прошло, познается избирательно, в свете последующих представлений. В повести же Марковой откровенно, без прикрас изображалась семья рабочего Николая Дерябина, который долго пьянствует, пока наконец не задумывается над судьбой не только семьи, но и рабочего класса в целом. Дерябин выдает одну из дочерей замуж за купеческого сынка. Породнившись с богачами, он ничего не испытывает, кроме какого-то стыда за то, что не там искал дочери счастья. Марина, жена одного из сыновей Дерябина, в империалистическую войну, отправив мужа на фронт, становится гулящей женщиной... Эта перепутанность разных начал смущала критику, одновременно признававшую, что пишет Маркова вольно, смело, широко.

Писательница «передоверила» повествование своей маленькой героине Еленке, глядящей на мир чистыми и ясными детскими глазами. Еленка играет в куклы, которые проделывают все то же, что и взрослые, хотя и постоянно поправляются девочкой, мечтающей о том, чтобы жизнь стала чище и лучше.

Нежелание Еленки примириться с нуждой и уродствами окружающего мира, ее стремление творить другую, полусказочную действительность, похожую на настоящую, но с теми изменениями, которые страстно ожидались многими, — отражало в особой форме сознание рабочей массы накануне революции. Возникала реальная картина трудных истоков социалистического будущего, неодолимого движения к новому миру через преодоление старого, косного, сопротивляющегося.

Во время Великой Отечественной войны Маркова была заместителем директора Новоуткинского ремесленного училища. На ней лежала политико-воспитательная работа, которая требовала материнского проникновения в души, характеры, сознание подростков, готовившихся встать к станкам, подпереть своим плечом тыл страны, ведущей битву с фашизмом.

Жизненный опыт этого времени вылился в повесть «Разрешите войти» (1947). В книге как бы боролись стремление ничего не упустить, рассказать обо всех, кто вошел в жизнь писательницы, показать все стороны действительности — и лирический принцип композиции, подчинение повествования захватывающему авторскому чувству, радостному сознанию, что растут хорошие люди, по самой высокой мерке подлинные советские люди.

Как говорила Ольга Ивановна, по-настоящему почувствовала она меру писательской свободы, когда писала книги рассказов о деревне — «Половодье» (1955) и о целинниках — «Облако над степью» (1960).

Рассказы О. Марковой о деревне очень своеобразны. В них, безусловно, есть приметы времени, детали, свидетельствующие о своеглазном знании деревенской жизни, проблем, волнующих колхозников. В «Половодье» ставится вопрос о межколхозной кооперации, в «Хмеле» говорится о проблемах организации работы в сельском хозяйстве. Герои рассказов имеют определенную профессию, свое место в производстве, это накладывает отпечаток на их нравственные представления, поведение. Но авторское внимание во всех рассказах на сельскую тему не сосредоточено на исследовании тех социально-экономических процессов, которые характерны для данного времени. Поэтому может показаться, что деревня О. Марковой — несколько условная деревня. Те или иные конфликты, которые попадают в поле зрения писательницы, не вытекают с неизбежностью из особенностей крестьянского бытия с его традициями, глубокими корнями. Они, конечно, могут иметь место, они порой вызываются, скажем, как в рассказе «Шест у двора», различиями в условиях жизни деревни и города. Но главное в них — безусловная победа социалистических начал в мировоззрении трудящегося человека, — начал, переходящих в систему поведения.

Героиня рассказа «Шест у двора» Люба к счастливой своей сопернице испытывает сложное чувство. Ей хотелось бы, чтобы поняла соперница-разлучница радость дружного колхозного труда, когда ты, твоя работа нужны людям. Новое, неведомое ранее женщине чувство самостоятельности, твердости, способности выбора судьбы вопреки давлению обстоятельств переживает Катерина в рассказе «Вдова». Решительно ломает жизнь, сложившуюся под влиянием свекрови-стяжательницы, Софья в рассказе «Свежий ветер». Она

увозит мужа на целину, увозит от разобщенности с людьми, от подчинения вещам, покорного следования материнским заветам, сводящимся к накопительству. И так везде: главную роль играет неодолимость светлых качеств новой личности, человека-труженика. Писательница взволнованно утверждает торжество нового человека, его понятий о жизни, его реакций на действительность, органически порожденных изменившимися социальными отношениями.

Даже в тех случаях, когда Маркова рисует жизни, поломанные страшными формами бездуховности, возникающей вместе с пьянством, как в рассказе «Половодье», — главным является осознание героиней того, какие утраты понесла она, оторванная от радостей, открывающихся в общем труде, в братском единении людей.

Рассказы эти рельефно воспроизводят представления народа об истинных ценностях жизни, тех ценностях, которые стали привычными, как бы само собой разумеющимися.

Может быть, именно из-за стремления подчеркнуть философский и социально-исторический смысл новых нравственных мерок, новых представлений о жизни, о достоинстве личности писательница несколько перегружает обыкновенные бытовые диалоги дополнительными смыслами. Она охотно прибегает к пословицам, народным афоризмам, таким фразеологическим сочетаниям, которые несут философскую нагрузку. Диалоги становятся приподнятыми над бытом, вырываются из рядов ординарного, обычного, нередко производят впечатление некоторой нарочитости. Но и в этой своей заостренности они все же выражают определенную общую тенденцию развития характеров, мироощущение людей социалистической эпохи.

Последний роман Ольги Марковой «Вечно с тобой» (1972) своеобразно концентрирует в себе частные темы и типы, уже встречавшиеся нам в рассказах о деревне. В центре романа образ учительницы Татьяны Степановны, человека с обостренным чувством ответственности за все стороны жизни села и людей, рядом с которыми она живет, которые прошли через ее учительские руки. Роман несет на себе печать тех же достоинств и недостатков, какие характерны для рассказов. Любовь автора к героине, всем сердцем, всей душой, всей судьбой отдающей себя людям, вера в безусловную победу добрых начал, победу сейчас, в каждом любом отдельном случае, часто невольно вызывают ощущение бесконфликтности, благостности даже там, где есть столкновения и материал для сложных размышлений. Татьяна Степановна в каждом поступке, в каждом слове, как кажется писательнице, должна заявлять о своих глубинных, подлинно человеческих качествах. Для читателя это порой оборачивается дидактизмом, некоторой схематизацией...

Можно сказать, что в произведениях Марковой деревня увидена не взглядом крестьянина, а человека социалистического города.

Не потому ли писательница даже отрицала понятие рабочей или деревенской темы. Она говорила: меня интересует человек, а не его профессиональные и социальные определения. Однако признавала, что способ исторического бытия отражается в системе всех отношений личности и мира, в самой системе ценностей. Писательнице было ясно, что характерные особенности социалистического образа жизни обязаны своим происхождением прежде всего рабочему классу с его историческим оптимизмом, с его принципом деятельного отношения к миру, с его обостренным чувством трудовой, социальной общности людей. Именно глубокое осознание этой великой истины явилось отправной точкой интересной попытки Марковой написать повесть о рабочей семье «Улица сталеваров» (1950). Не случайно именно эта повесть писательницы была переведена на ряд языков стран социалистического лагеря. Нравственный опыт советского общества был столь же необходим для народов, вставших на путь строительства новых общественных отношений, как и принципы экономической и политической организации, разработанные в СССР.

Главной фигурой, объединяющей все повествование, является в «Улице сталеваров» мать, «вечная в детях своих», как называет ее Маркова. Отношения в рабочей семье, полные ясности, прямоты, взаимопомощи, поддержки, как показывает писательница, отражают более широкие принципы нашего общества в целом. В тяжелейшую пору борьбы с гитлеровским нашествием Наталья Григорьевна Каржавина живет неистребимой верой в созидающую человека силу труда, в негласные законы народной трудовой совести. Человеческие типы, понимание сил, движущих жизнь, нравственные начала и характер поведения, изображенные в повести, — все заострено против пропагандируемых буржуазной литературой идей об извечной разделенности людей, их одиночестве, об истории, которая гнет, метет, крутит в своих вихрях человека-песчинку.

Повесть не во всем удовлетворяла Маркову. Писательница понимала, что в стремлении вобрать как можно больше материала о характере и нравственном климате человеческих отношений она перегружала ткань повести, переходила на скороговорку, на торопливую информацию, прибегала к эскизным наброскам, хотя типы, рисуемые ею, просили, настаивали, призывали более пристально вглядеться в них, ибо там, в глубинах, в подлинном душевном тепле откроются первоосновы того, что лежит на поверхности.

Как это ни покажется странным, но недостатки повести в известной мере объяснялись тем, что Великая Отечественная война закончилась только несколько лет назад. Победа советского народа в этой войне говорила и о торжестве нравственного типа, сформированного советским обществом. Писательница торопилась передать это торжество в тех наиболее общих формах, которые вели бы к су-

ти новых начал личности, выражали наиболее важные завоевания нашего общественного строя.

В поисках ответа на вопрос об истоках восторженно утверждаемых ею нравственных начал Маркова обратилась к ближайшей истории, к тем людям, которые делали революцию, как Иван Малышев, которому она посвятила повесть «Кликун-камень» (1967), или путиловские рабочие, организаторы первой сельскохозяйственной коммуны на Алтае в романе «Первоцвет» (1962). Это документальные произведения, в основе которых лежит тщательное изучение фактов, материалов, беседы с очевидцами, свидетелями, участниками событий. Оба произведения рассказывали о новом человеке, создателе нового общества, обретающем в своей деятельности и борьбе подлинные душевные богатства.

Писательница работала с увлечением. Она входила в жизнь своих героев, и радость узнавания в них, этих ранних предтечах наших дней, черт сегодняшних современников заставляла с особым чувством ответственности воспроизводить все детали поведения, сознания, действий, зафиксированные документами или сохранившиеся в чьей-то памяти. Писать документальные книги оказалось нелегким делом. С одной стороны, нельзя отступать от факта и документа, и они начинают властно придерживать писателя, не позволяют выходить за свои границы. С другой же стороны, писатель настолько вживается в характер, систему поведения, отношение героя к миру, что чувствует потребность обращаться с героем так же свободно, как и с персонажами, целиком рожденными воображением и творческой памятью. Но такая свобода наталкивается на суровые требования оставаться верным факту... В результате нередко — известная скованность литератора. Такая скованность ощущается в той и другой документальных книгах О. Марковой. О «Кликун-камне» она даже говорила как о подготовительном материале, который, возможно, другим поможет в создании более глубоко понятного и более поэтически осознанного образа Ивана Михайловича Малышева.

Материал, лежащий в основе «Первоцвета», позволял свободнее вживаться в характеры и отношения коммунаров. Здесь Маркова в ряде эпизодов достигает большой силы. Глубокое впечатление оставляют трагические страницы гибели коммунаров. Роман этот и сегодня сохраняет свое значение, как правдивая картина чувств и борений людей первых лет революции, их нравственного максимализма. В книге не нашлось места тому глубокому анализу социальных отношений в деревне 1918 года, с каким мы встречаемся в ряде произведений об этом времени, как, например, в «Соленой пади» С. Залыгина, но духовный облик первых коммунаров ярок и убедителен.

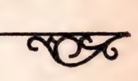
С той же горячей душевной увлеченностью, с которой писала Ольга Маркова свои книги, участвовала она в общественной жизни

города и страны. В начале шестидесятых годов она руководила областной писательской организацией, много лет ее избирали в члены Правления Союза писателей РСФСР, в состав Свердловского обкома КПСС. Пятнадцать лет, до последних дней жизни, Маркова возглавляла Свердловский областной комитет защиты мира, отдавая его работе много сил и энергии. Ее писательская и общественная деятельность отмечены высокой правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

В каждой из книг Ольги Марковой осталась частица ее сердца, мысли и чувства человека, навсегда и безоглядно покоренного правдой революции, новыми отношениями людей. И верится: лучшие ее произведения будут жить долго.

И. ДЕРГАЧЕВ

Повести





Памяти отца
посвящаю

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ

I

Куклам тяжело жилось. Они отдыхали от побоев и окриков только ночью, когда Еленка Дерябина, хозяйка их жизни, спала.

Спала она в углу, рядом с куклами. Спала буйно, вскрикивая и плача во сне. Иногда голова ее в спутанных черных волосах скатывалась с соломенной подушки и сшибала кукол, которые стояли на тряпичных ногах у стены. Утром Еленка наказывала их:

— Постоять не можете? Порядка не знаете?

Еленка была жестока и требовательна к куклам, наказывая их, глядела исподлобья, как глядел отец, Николай Дерябин, когда пьяный бил мать. Но находили на Еленку и приливы нежности к куклам. Тогда она говорила тихо, ласково, как говорила мать, если отец приходил домой трезвый:

— Отдохните-ка... Небось резвы ноженьки покоя просят?— и тоненьким голоском пела куклам песни.

От старших Еленка закрывала кукол рваным пологом, с боков прикрепляла полог к стене, дыры в нем заменяли окна.

Разные чурбашки, тряпки и хрупкие осколки красивой посуды, собранные на помойках,— все здесь имело свое значение, свое место, и Еленка была довольна своей жизнью: она считала себя богатой, так как умела распорядиться накопленным добром.

Ей было всего шесть лет. Старшая сестра Талька, заглянув как-то за полог, серьезно удивилась:

— Ну и хозяйка ты, Елька! Во всем у тебя порядок!

Еленка знала, что Талька шутит, и все-таки ответила сестре резонно, как подружке:

— Живем не хуже людей! По миру не шатаемся, слава богу!

Больше всех Еленка любила в семье Тальку. По ночам, когда ждали пьяного отца, Талька рассказывала сказки; она же сшила Еленке кукол из тряпок.

Играла девчонка и в похороны, и в свадьбу, и в драку — во все, что прилежно наблюдала в жизни. Иг-

ра следовала за игрой, вымысел за вымыслом, и куклам приходилось изображать одновременно пьяного отца и нищего, урядника и вора. Куклы часто женились и умирали.

В это утро, как только ушел на работу отец — при нем Еленка не играла,— одна из кукол превратилась в торговку, и тоненький голосок визгливо выкрикнул из-под полога:

— Лен купите! Кудели!

А через некоторое время Еленка испуганно зашептала:

— Давайте в карты своорожим, трезвым ли сегодня наше чадушко домой придет...

Значит, куклы уже дети, а Еленка изображает мать, Анисью Дерябину.

Сама Анисья сидела у стола и, придавив коленом старую юбку, нашивала заплаты. Она тихо рассмеялась и спросила:

— Что выпало? Трезвый ли?

Скоро и эта игра была забыта. Укачивая куклу на руках, девочка нежно запела:

Баю-баюшки-баю,
Колотушек надаю...

Тут Еленка вспомнила, что хочет есть. Она знала, что в доме нет хлеба, как всегда бывает перед получкой, но вылезла из своего угла и на всякий случай потребовала:

— Хлебца мне.

Мать засуетилась, отбросила в сторону шитье и, прихрамывая, принесла горшок с вареной картошкой.

— Ноги у меня опять ноют,— громко пожаловалась она,— к дождю...

Еленка знала: если заныли у матери ноги, дождь должен быть непременно. В полной уверенности, что погода зависит от этого, она попросила:

— А ты бы подождала, мама, с ногами-то: сегодня кабатчицу Савкину хоронить будут... Может, мне на похоронах кусочек дадут...

Куклы голодали вместе с Еленкой. Сама она покорно ела все, что давала мать, куклы же чванились, не хотели есть надоевший картофель.

— Еще и кочевряжатся, нос воротят! Чем вас кормить прикажете?

В избу вошла соседка, вдова Настасья Пряхина, Клашкина мать. Она вечно жаловалась на жизнь, ябедничала на ребят и жила всеми обиженная и на всех озлобленная. Еленка притихла. У Пряхиной был густой, низкий голос, и звали ее за это Деревянный Гром. Она сразу наполнила избу Дерябиных сердитым гулом. В избе стало тесно, тревожно.

— Что же ты, Анисья, за охлестом своим не смотришь?

Еленка поняла, что соседка жалуется на старшего брата Андрейку, и вылезла из-под полога.

— Распустила парня совсем: стекло опять у меня выбил,— гудела та.

Мать сидела с испуганным лицом. Это значило, что за разбитое стекло отец будет Андрейку бить.

— Настасьюшка, отцу-то ты не говори, Христом-богом прошу,— зашептала мать. Еленке показалось, что она сейчас задохнется.

Соседка кричала:

— У тебя ума нет, я твоего углана укрывать не буду!

Чтобы чем-нибудь помочь матери, Еленка приблизилась к Пряхиной и хмуро пригрозила:

— А я вашей Клашке морду набью.

Лицо соседки побагровело, глаза готовы были вырваться из орбит.

— Соседей бог дал! У вас нужда, и у меня нужда! У меня в семье зарабатывать мужика-даровика нет!

Она ушла. Мать быстро зашептала:

— Елюшка, мила дочь, скорей Андрюшку найди: пусть домой сегодня не идет, пусть ночует на воле...

II

Дом Дерябиных, пригнувшийся к широкой голой горе, словно прихлопнутый чьей-то тяжелой рукой, стоял в ряду с другими, тоже почерневшими от времени. Дома то карабкались вверх, то сбегали вниз. К некоторым пристроены крытые дворы. Были дома и совсем без дворов, огороженные легкими изгородями.

Эта часть поселка носила игривую кличку Мигай, и никто не мог сказать, кто и почему ее так назвал. Из-за горы виднелись заводские трубы. Самый завод был скрыт: его окружали горы, и трубы торчали из-за них, как воткнутые в землю.

Гора с трех сторон омывалась огромным заводским прудом. На дальнем берегу стояли богатые каменные двухэтажные дома. Там жили купцы, поп, управитель завода и прочая заводская знать. Богатая сторона называлась Кужимовкой. Год назад Кужимовка сгорела дотла. Богатеи отстроили дома заново. В Мигае же открыли кабак.

Стояла весна. Небо было легкое, трава на земле яркая, молодая. На березе щелкали скворцы, с берега, из-под нависшего над водой камня, слышны были голоса ребят.

Еленка любила смотреть через пруд в Кужимовку, слушать песни плотников, которые строили новые дома. Сейчас пруд был взъерошенный, и за шумом волн не было слышно ни песни, ни стука топоров. Но едва Еленка стала спускаться на берег, с облупленной колокольни в Мигае раздался тоскливый звон.

Девочка остановилась. По крутому берегу пруда в Кужимовке медленно двигалась похоронная процессия.

Еленка снова вскарабкалась на гору и побежала к церкви, боясь не успеть к раздаче поминания.

В церковной ограде, обсаженной тополями, отпевания ждали нищие. Одни нетерпеливо выбегали навстречу, другие оставались на месте, перешептывались, стараясь угадать, много ли несут поминания и хватит ли его на всю братию.

На паперти ссорились два старика: кривой с курчавыми седыми волосами и горбатый рыжий урод.

— Я под Егория Победоносца встану, под самый лик его,— я первый пришел!— кричал, растягивая слова, кривой.

Горбун отвечал ему детским стонущим голоском:

— Я всегда под Егорием святым стою, мое тут место!

Он хватал за полу кривого, стараясь оттащить от стены.

— Усопшая-то Егоровна была, так вы все бы сегодня под Егория Победоносца встали. Мое тут место!

Еленка проскользнула вперед и встала в неглубокой нише, под огромную икону Георгия Победоносца. Все старались разместиться под этой иконой, теснились и толкали друг друга.

Горбуна запихнули в нишу напротив, под какого-то стертого святого.

Женоподобный Георгий улыбался со стены, глядя на суету нищих.

В церковь не пускали.

Кривой старик опустился на колени, поставил перед собой жестяную кружку и разложил на платке несколько кусков черного хлеба. Куски были измятые, на них налипли крошки и волоски, но Еленка не могла оторвать от них взгляда. Она прислонилась к ногам белой лошади под святым и громко спросила:

— Ты один все это съешь, дедушка?

Старик молчал, да и все нищие вдруг притихли, закрестились. Некоторые протянули вперед руки и запели что-то печальное.

По паперти в церковь пронесли гроб под черным покрывалом.

— Прими милостиво рабу твою, господи,— громко взмолился кривой.

Еленка опустилась на колени. Когда кривой припал в молитве головой к полу, она схватила с платка толстый ломоть хлеба и спрятала в карман.

Из церкви донеслось монотонное чтение священника и запах ладана. Кружило голову. Казалось, что своды падают на людей. Хотелось есть. Часто крестясь, Еленка левой рукой отщипывала от куска в кармане крошку за крошкой и совала их в рот. Так она съела весь хлеб.

В церковь Еленка пробралась только к прощанью.

Люди шли вокруг гроба, прикладываясь к кресту и к руке усопшей.

Некоторые умильно разглядывали лицо мертвой кабатчицы, некоторые что-то шептали про себя, то поправляя на покойнице платок, то отгоняя от ее лица мух. Все это: отпевание, размахивание священника руками и крестом, тусклое мигание свеч, стон старух, пение хора где-то за колоннами,— все походило на интересную игру в куклы.

Еленка склонилась над покойницей. Сдерживая крик отвращения и ужаса, поцеловала холодную руку. Какая-то старуха сунула Еленке на поминание ситцевый платок с черной каймой и оттолкнула от гроба.

На улице гудел заводской гудок. От завода и к заводу шли длинной толпой люди. Все они были чем-то похожи друг на друга, с усталыми лицами, с угрюмыми взглядами. Одежда их лоснилась от грязи и мазута.

Высокий узкоплечий рабочий, за которым шла Елен-

ка, вдруг остановился, крякнул и направился к кабаку. Встречный старик с рыжей бородой проводил его жадными глазами.

Снова загудел гудок. Рыжий старик еще раз оглянулся на узкоплечего, подходившего уже к голубому палисаднику, и, ссутулившись, быстро и зло зашагал к заводу.

Еленка попала в самую гущу рабочих. Она бежала, стремясь успеть домой раньше отца и предупредить Андрейку.

У кабака Еленка встретила Клавку Пряхину. Та поджала маленькие пухлые губы, как всегда, когда хотела настоять на своем. Была Клавка щуплая, бессильная, и ничего не стоило смять ее. Еленка оглядела подружку с головы до ног и спросила:

— На что твоя мать к нам жаловаться приходила?

Клавка молча показала Еленке язык. Еленка пригрозила:

— Ты в землю сейчас вопьешься...

Клавке на этот раз повезло. В стороне из-за домов послышались крики. Отец Еленки, Николай Дерябин, выволок за руку Андрейку и потащил его по усеянной камнями тропе к пруду.

Дико вскрикивая, Дерябин хлестал сына веревкой. Сзади бежала мать и торопливо крестилась.

Еленка остановилась перед отцом и, глядя прямо в глаза ему снизу вверх, протянула платок.

Отец взял платок, а Еленка все стояла с протянутой рукой; тогда он хлестнул веревкой по ее оцепеневшей руке и направился к кабаку.

III

Николай Иванович Дерябин работал на многих заводах, был на Северном и Среднем Урале, жил по баракам один и с семьей, но нигде не находил покоя. Непонятная тоска срывала его с обжитого места, гнала дальше. Когда подросли старшие дети и начали работать, Дерябин осел в Мигае. Андрейке и Еленке уже не пришлось скитаться, они родились и выросли здесь.

В этот вечер спать в доме Дерябиных легли засветло.

Слышно было, как в каменистых берегах вздыхал пруд, как у винной лавки скрипела вывеска.

На полу всхрапывала Талька, стонал Андрей. Между Андреем и Еленкой лежала мать. На руке у Еленки нежилась кукла. Девочка кутала ее в тряпье и шептала:

— Не реви, я вырасту большая... Есть мы будем сколько захотим... Хорошо будем жить...

Еленка вспомнила платок, унесенный отцом в кабак, и, всхлипнув, повторила:

— Хорошо жить будем, а тятя — нет.

Громко вздохнула мать. Захотелось утешить ее. Пусть мать знает, что скоро Еленка будет большая, сильнее отца, и увезет их всех далеко, где каждый день умирают купчихи, а отец останется здесь.

— Мама,— тихо окликнула Еленка.

Мать не ответила, и девочка заревела:

— Мама, я есть хочу.

— Спи!— строго приказала та.

Храпела Талька, бегали по стенам тараканы; у кабака кто-то одиноко запел:

Меня милка провожала,
Привораживала...

Певец оборвал песню, на всю улицу свирепо выругался.

Неожиданно Андрейка произнес:

— Я тоже на завод пойду... На домну... Тогда пусть он меня хоть раз ударит!

Мать спросила:

— Болит тело-то?

И осторожно прикрыла сына дерюгой.

— Не-ет...— ответил мальчик, всхлипнув.

Еленке было непонятно, почему плачет Андрей, если тело не болит от побоев. Сама она перестала реветь, как только услышала плач брата.

— Возьми, Андрюша, завтра можешь весь день играть,— протягивая куклу, прошептала она.

Куклу Андрейка оттолкнул. Тогда Еленка сказала ласково, как мать:

— Спи-ка!— Подумав, серьезно, задумчиво предложила: — Давай, Андрюша, убьем его...

Всхлипывания Андрейки прекратились. Мать тоскливо рассмеялась, на минуту притихла, подумала и громко, на всю избу вздохнула:

— Дурочка ты, Елька!

Талька перестала храпеть. В избе, по углам, сразу

стала заметна темнота. Еленка прижалась к матери. Прижался к матери и Андрей.

— Все еще не спят галчата,— проворчала Талька. Поднялась, неслышно ступая по кошме, подошла к столу, на котором стояла кринка с водой, напилась и снова легла, на этот раз рядом с Андрейкой.

Когда Талька сказала: «Слушайте-ка...»— что всегда было началом сказки,— Еленка, оставив куклу у матери, переползла к сестре и затихла.

— Сказка будет про птицу-соловья, что у нас тут не живет, только в гости налетает,— начала Талька сонно и ласково.

Ребята подвинулись к ней, даже Анисья, поправив волосы, легла поудобней.

— Слушайте...— повторила Талька и начала сказку:

— В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том, в котором мы живем, жили да были старик со старухой.

Ну, жили они, как и водится, бедно. Раньше-то старик в шахте у заводчика Строганова робил, на славе был, а потом, как спинушка-то согнулась, ну и, сами знаете, на что такой заводчику?

Вот и стал старик рыбой промышлять. Да, вишь ты, грех какой: что наудит, то и в кабак, что наудит, то и в кабак. Сами знаете, кто у нас из рабочих-то людей не пирует? Ну а старуха все голодом сидит. Жизни уж не рада. Нет ей ни счастья, ни полсчастья. Вот и стала она бога молить: «Господи, возьми ты меня к себе, не нужна я, говорит, на земле».

А господи-то ей ответ и дает: «Да и здесь ты не больно нужна, нероботь старая».

Анисья неожиданно рассмеялась, потом сердито сказала:

—Мелет-мелет мельница. Где ты только собираешь всякую всячину?

Еленке было страшно за старую нероботь, которая осмелилась говорить с богом.

Бог в ее представлении беспощадный и злой. Он видит с неба все, что делают люди на земле, и ждет только случая, чтобы наказать их. Когда Еленка за столом роняла крошки хлеба, мать говорила:

— Не балуй! Богушко с небушка камушком убьет.

Еленка верила этому, и теперь смелость старухи испугала ее.

— Обиделась она и говорит,— продолжала сказку Талька.— «Я тебя, господи, всю жизнь про черный день берегла. А ты мою жизнь не в счет? Сама успокоюсь, без тебя...» Шибко осердил ее господь-то!

После этого пошла старуха в лес: старик давно кучился[1] удилище ему принести вересовое[2]. Ну, пошла старуха в лес. Идет-идет, долго ли, коротко ли, только насилу дошла. Места-то, сами знаете, у нас какие: горы да перекаты не для старушечьих ног. Умаялась она. Идет да плачет. «Где, говорит, счастье я себе найду?»

Дошла до вересиновки колючей и хотела ее ножом срубить. А из кусточка-то вересового птица и выпрыгнула. Птица-соловей. Я сама-то не видывала ее, а люди говорят, будто она маленькая да серая, замухрышкой живет. Но голосом важна. Как запоет, так за душу и берет. Выпрыгнула это она да и воспела столь жалостно: «Ой, говорит, стара-ладушка, не режь куста вересового: птенцов я в нем вывожу». А голос у нее и в сам деле утешительный. Старуха умилилася: «Но как же, говорит, не резать мне его, сама посуди. Удилище старику непременно надо, хоть чебачками меня покормит, а то я голодом живу, без счастья, без радости».

Соловей-птица опять воспела старухе: «Не режь, подожди, будет тебе счастье-радость на земле. Вот, говорит, сейчас станет тихо по всем горам: ни деревце листом не шевельнет, ни птица не пропоет. Так будет тихо, будто вся земля уснула! В это время на земле счастливый родится. И всем тот счастливый счастья от себя отбавит, а у него все счастья не убудет. Вот и иди ты, старая ладушка, ищи того счастливого, а мой куст вересовый не трогай».

Как воспела птица слова эти, так сразу и тихо стало на земле: ни деревце листом не шевелит, ни птица какая не пропоет. А в этот час счастливый и родился. Закричала старуха и побежала искать счастливого, чтобы взять себе счастья-радости. Кричит, а голосу нет, бежит, а шагов не слышит,— такая тишина стоит.

Бежала она, бежала, кричала она, кричала: «Счастливый родился, счастливый родился!», ну и...

...Хорошо лежать на нежной Талькиной руке. Пахнет теплом и потом. Девичий голос по-старушечьи ласков.

---

[1] Кучился — просил.
[2] Верес — местное название можжевельника.

На улице прогрохотала телега и замолкла под окнами.

— Илька,— громко шепнула Талька и, освободив руку из-под головы сестренки, вскочила: так осторожно стучал в окно только Илья, старший брат, работавший с лошадью на рудниках. Талька выбежала навстречу брату, тут же вернулась и тихо сообщила:

— Пьяный он.

В избу, шаря руками по косякам двери, ввалился Илья.

Талька молча посторонилась.

— Эй, вы!— икая, крикнул Илья и запел:

Я с галерки полетел,
Трам-та-ра-ля-лям-лям,
Лаптем барыню задел,
Трам-та...

— Господи!— с отчаянием взмолилась мать и начала подниматься с кошмы, но долго не могла встать, металась на одном месте, как подбитая курица, и все вздыхала: — Господи!

Еленка заревела, пряча лицо в подушку. Илья стоял над ними в светлом пятне, падающем из окон кабака, и вдруг захохотал совершенно трезво и весело.

Анисья долго не могла понять, что все это лишь шутка Ильи, и кудахтала:

— Господи!

Илья усадил мать, достал из мешка и повесил ей на плечо связку белых баранок, твердых, как дерево, а потом долго искал по карманам заработанные за неделю деньги и положил их перед матерью, звонко подбросив монеты.

— На! Хозяйствуй!

И только тут Анисья заплакала:

— Хоть ты не пируй у меня, Илья!

Она услышала его добрый, веселый смех. Андрей ломал зубами баранку и мычал от нетерпения и восторга.

— Чудо-голова.— Талька хлопнула Илью по спине. Они схватились и завозились, стараясь побороть друг друга.

Теперь, слыша обрывистые возгласы расшалившихся детей, Анисья тихо смеялась:

— Слава тебе, господи!

— Еленку-то не растопчите!— крикнул Андрейка.

Илья свалил сестру на кошму. Талька хохотала и вырывалась.

Еленку сковала лень. Ей хотелось подняться и пошалить, но все тело наполнилось приятной дремотой.

Она увидела страшный сон, завозилась и забормотала, потом вскочила и с ревом позвала мать.

— Спи,— уговаривала Анисья, укладывая ее голову к себе на руку, но Еленка сопротивлялась, плакала и бормотала:

— Тятя идет, нас бить будет!

— Спи, дурочка! Твой тятя теперь пьянее кабака! Илька приехал, тебе гостинец привез.

— Бу-бу-бу,— отозвался из темноты Илья.

Елька притихла. Илья заговорил о лошади:

— Кормить ее нечем. Овес хоть воруй.

Анисья, вздохнув, ответила:

— К Савкину толкнись. Съездишь ему раз-другой в Екатеринбург за вином, вот и заработаешь на овес.

Еленке сунули баранку и куклу. Баранку девчонка начала грызть, а куклу прижала к себе.

— Спи, рева,— всхлипывая, сказала она кукле и уснула.

IV

Утром, как только мать ушла искать пьяного отца, Андрейка уселся в угол на сложенные в кучу кошму и подушки, зажал в зубах суровую нитку, натянул и осторожно перебирал, как струну. Получались стонущие звуки. Андрей натянул нитку туже, она запела высоко, нежно и задрожала. Казалось, что сейчас она тонким голосом скажет «трень» и оборвется. Это было похоже на то, как мать начинала песню:

Скучно пташке сидеть в клетке...

Голос матери при этом дрожал и, казалось, рвался, поднимаясь все выше.

Скучно ей при золотой...

Андрей ослабил нитку, и звук затрепетал.

Еленка придумала интересную игру: взяла за руки одну из кукол и, склонившись, повела к столу.

Ноги у куклы заплетались и волочились по полу. Это Еленку смешило:

— Что ты, Илюша, без вина назюзюкался?

Правда, у Ильи должны были быть черные взъерошенные брови и большие серые глаза, умные, с веселой усмешкой, от смеха у Ильи должны играть на щеках ямки. У куклы всего этого не было. И усы, и брови всего лишь наведены химическим карандашом, но в игре это был Илья.

У стола Еленка объявила:

— Это кабак, понарошку, а это кладовая с овсом.

Она указывала на приготовленные под столом щепки и прошептала:

— Все уснули, укради!

И схватила самую большую щепку. Прижав ее к кукле, побежала вместе с Ильей и мешком овса в свой угол.

У нее был серьезный замысел: выкрасть корм для лошади у кабатчика и отдать Илье, чтобы он мог подвозить к заводу руду. Но посреди избы Илья внезапно вырвался из рук, шлепнулся на пол. Вышло так, что игра переменилась: Еленке приходилось следовать за куклами, а не вести их за собой.

— А-а! Попался вор! В каталажку его!

Схватив куклу, Еленка бросила ее на очаг, объясняя свои поступки:

— Урядник-то злой!

Андрейка, перестав бренчать ниткой, с интересом следил за сестренкой.

Вот она побежала под полог и объявила там куклам голосом матери:

— Илюшку поймали!

— Дура ты, Еленка,— сказал Андрей.

По голосу его выдумщица поняла, что ей лучше прекратить игру, и вышла на улицу.

У ворот стояла телега. Оглобли подняты кверху и связаны веревкой. Играть под телегой в кражу лошадей интересней.

Под окном соседнего дома прыгала Клавка Пряхина.

Играть вдвоем еще занимательней: Клавка могла бы быть урядником и лупить Илью за воровство в каталажке.

— Я сейчас всю водку в кабаке украду, чтобы тятя дома пировал,— говорила Еленка про себя, но так, что подружка слышала все, от слова до слова.

И Клавка не выдержала.

— Прими меня,— тихо попросила она.

Тут Еленка сразу вспомнила обиды, которые приходилось терпеть от подруги.

— Твоя мать на Андрюшку нажаловалась...

— А он у нас окно выбил...

— Ты дразнишься...

— Я больше никогда дразниться не буду!

— Побожись!

— Отсохни у меня руки и ноги!— с жаром дала Клавка страшную клятву.

— Давай только по-другому играть...

— Как?— спросила Клавка.

— Я буду тятя, а ты мама.

— А что мы будем делать?

— Ты мой посуду, а я тебя буду бить.

Под столом, под телегой, в темных углах, где приходилось девочкам ютиться с куклами, становилось тесно. Чтобы играть в жизнь, надо было ее видеть.

Подружки вылезли из-под телеги, побрели по улице, укачивая кукол на руках, как любимых детей.

Увидев возвращавшуюся с завода мать, Клавка зашептала кукле:

— Вон мама идет, черная... Глаза бегают. Опять злая сегодня.

— А вон сидит кошка: кабатчиковой собаки боится.

— Собака у кабатчика злая, туда не ходите...

Тряпичные куклы тихо сидели у них на руках, смотря в мир большими глупыми глазами.

Подружки подошли к кабаку, из открытых окон которого несся на улицу запах вареного мяса, и притихли. Слышно было, как Феша, кухарка кабатчика, звенела ножами. Рыжая собака сидела на траве, нетерпеливо стучала о землю прямым твердым хвостом и повизгивала.

Через головы девочек пролетела кость. Собака поймала ее, легла на брюхо и, придавив кость передними лапами, начала грызть.

Клавка указала кукле на собаку и поучительно объяснила:

— Это собака мясо ест.

Девочки молча пошли прочь, все время оглядываясь на собаку, которая каждый день ела мясо.

Дома Еленка сказала матери с упреком:

— Ты хоть бы мясные щи нам сварила.

— Не в чем у нас,— улыбнулась Анисья виновато.
— А в горшке-то...
— Да не скоромный он. Вот был бы жирный чугунок, мы каждый бы день щи с наваром ели.

V

В полдень Еленка и Андрей понесли сестре завтрак, завязанный в красный платок.

У края дороги, черной от угольной пыли, сидела худенькая, как подросток, девушка и плакала. Слезы полосами размыли сажу на лице.

Это была Лиза, старшая дочь вдовы Пряхиной. Андрей остановился, глядя, как она всхлипывает и вытирает лицо подолом розовой юбки.

Еленка, сюсюкая, словно говоря с куклами, когда те ушибались, произнесла:

— Не реви, Лиза...

Лиза заплакала громче.

Под горой длинная труба завода, пересекая небо, изрыгала грязный дым. Не зная, как утешить плачущую девушку, Еленка сказала еще:

— Труба большая-большая да черная, все небо сажей заплевала.

Ребята сели рядом с Лизой. Мимо них рабочие проносили в гору носилки с рудой. Высокая тонкая девушка обрывисто и хрипло считала шаги: «Сто восемьдесят два... сто восемьдесят три...» И долго еще слышали ребята ее задыхающийся счет: «Двести пятнадцать... двести девятнадцать...» На Лизу никто не глядел.

Прошла и Талька в паре с маленькой толстушкой с увядшим серым лицом.

Работала Талька сдельно: за каждые носилки руды, внесенные с напарницей на гору, к горящим кучам, получала копейку, поэтому работала торопливо, несмотря на зной.

— За копейкой гонятся,— прошептала Лиза, следя мокрыми глазами за рабочими, и пожаловалась:— Я без отдыха носилки нести не могу, вот они меня и обегают. А мне надо заработать. Я тоже есть-пить хочу.

Раздался гудок. Ребята вскочили и побежали за Талькой.

На горе в огромных кучах тлела руда, было жарко, удушливо пахло серой. Рабочие сидели на грязной по-

ляне, около брошенных носилок, вытирали вспотевшие лица. Молчали. Лиза Пряхина тоже пришла сюда и остановилась, глядя на Тальку просящими глазами.

Та бросила в миску недоеденный кусок и объявила напарнице:

— Я буду с Лизкой руду носить, а ты тачкой повози...

Лиза, просиявшая от этих слов, подошла ближе, обмахивая лицо ладонью.

— А завтра ты со мной пойдешь?— спросила она.

И вот девушки и парни снова отправились за рудой. Под гору бежали бегом, а носилки волоком тащили по земле. Отделенные от ребятишек завесой пыли, девушки запели:

Кругом, кругом осиротела,
Тебя, мой милый, здеся нет...

Еленка, осторожно ступая, пошла на песню, но песня смолкла, и в гору снова потянулась вереница носилок.

Девушки шли молча, дышали тяжело. Лица их еще больше почернели от пота и пыли.

Лиза Пряхина старалась шагать так же широко и быстро, как Талька, но на середине дороги вдруг испуганно закричала:

— Ой, брошу, брошу... Наташа, ставь скорей!

И, не дождавшись, когда отпустит носилки Талька, почти бросила свой конец. Руда посыпалась ей на ноги.

Девушки обходили их стороной. Каждый шаг был тяжел.

Кричали:

— Нашли место отдыхать!

— Вам бы телят гонять, а не руду таскать!

— Зря ты с ней связалась, Талька.

— Что с ней заробишь?

Лиза, обливаясь потом, поворачивала на каждый возглас лицо.

Андрейка развязал платок, достал из миски недоеденный Талькой кусок, который мечтал съесть сам, и протянул Лизе:

— Пожуй!

Лиза машинально взяла кусок и, стоя под солнцем, начала есть. Руки дрожали. А мимо одни за другими проплывали носилки.

— Закусываете?— спросил белокурый парень с румяным лицом. Это был товарищ Ильи, Палька Лямин. Приходя к Дерябиным, он делал из бумаги гармоники для Андрейки, веселый и добрый. И теперь Еленка не поняла, отчего так испугалась Лиза. Бросив кусок, девушка схватила носилки, крикнула:

— Пошли, Талька...— и побежала.

Лямин смотрел вслед задумчивым добрым взглядом. Затем догнал, перенял у Лизы носилки.

— Отдохни-ка, а мы с Талькой в один миг...

Работницы с песней шли обратно, таща носилки волоком, подымая пыль.

Еленка снова пошла за песней, но Андрей больно дернул ее за руку и сказал:

— Плюнь на них, они злые...

Девочка недоуменно посмотрела на брата, зная, что он учит нехорошему. Лицо Андрейки было серьезно: он взъерошился, как озябший воробей. Еленке показалось, что он сейчас заревет. Она шагнула вперед и покорно плюнула на дорогу.

VI

Обмануть мать не стоило большого труда: она всегда слепо верила детям; но ребята все-таки соблюдали осторожность, когда пробирались к берегу. Только бы проскользнуть мимо окон, сбежать под камень, к мосту. Они решили улизнуть к Илье, который теперь возил для кабака вино и жил у Савкина, в Кужимовке. Еленка жалела, что с ней не было ни одной из кукол.

— Посмотрели бы, как я по богатому-то дому пройдусь...

На мосту шаги детей звучали, как удары по пустой бочке. Еленка сильно топала ногами, а потом стремительно бежала к перилам и заглядывала через них на темную под мостом воду, чтобы увидеть, кто там так страшно гудит.

Пруд был тихий, но у стропил вода дрожала.

За прудом, у большого кирпичного дома с лавкой на одном дворе, Андрейка шепотом приказал:

— Ты там не балуй!

По двору расхаживали степенные куры. За свалкой пустых фанерных ящиков кто-то нежно смеялся, а из открытых дверей кухни несся сердитый женский окрик:

— Марина!

Ребята остановились посреди двора, не зная, где здесь найти Илью.

— Марина! — зло повторил кто-то из кухни.

Из-за ящиков, всполошив кур, выскочила девушка с желтыми кудряшками, в белом платье, с розовым, как у куклы, личиком. Она воркующе рассмеялась и погрозила ящикам маленьким кулачком.

Следом за ней выпрыгнул Илья, но, увидев ребят, остановился, поправил рубаху, шутливо пригрозил девушке:

— Попадешься, Маринка, вечером...

У ребят Илья спросил:

— По пряники пришли?

Маринка загородила от него детей и, притворно сердясь, закричала:

— Нечего вам с ним растабарывать, пойдемте в кухню. Ему товар грузить надо, а он разыгрался...

По дороге в кухню Еленка легонько тронула девушку за руку и убедилась, что это не кукла.

Кухарка Феша, пышноволосая, чернобровая женщина, все время сновала из кухни в горницу и обратно.

— Прохлаждаешься! — ворчала она на дочь.— Знаешь ведь, что мне в кабак идти надо торговать, а дом и оставить не на кого!

— Садитесь к столу, накормлю,— подмигнула Марина, сунула на тарелку остатки жареного мяса и начала подметать пол березовым веником.

Ребята принялись за еду, но каждый раз, когда входила в кухню Феша, они отодвигали тарелку и испуганно вытягивали на коленях руки. Кухарка же была веселого нрава и, несмотря на сердитый голос, любила смеяться.

— Не бойтесь, не своим вас кормим, не жаль! — посмеиваясь, успокаивала она.

Уходя в горницу, Феша оставила дверь открытой, и ребята увидели завешанные тюлем широкие окна, мягкую красную мебель, длиннолистые пальмы в углах, а между окнами, в каждом простенке,— зеркала в черных узорных рамах.

— Смотри.— Андрей дернул Еленку за руку.

На пестром ковре, над диваном, висели ружья с длинными узкими стволами и двуствольные с тяжелыми прикладами, а в середине — скрипка с огромным

розовым бантом у колков. Казалась она такой маленькой и одинокой, будто девушка среди мужчин.

— Скрипка,— шепотом сообщил Андрей.

— Брюхо-то у нее перетянуто, как у осы,— заметила Еленка.— Скрипка... скрипит, значит. Все скрипит, все скрипит, пи-пи, пи-пи...

Маринка, закинув голову, хохотала над рассуждениями детей, но вдруг испуганно смолкла и огляделась: вместе с пылью и сором она вымела из-под половика деньги, несколько цветистых бумажек.

— Сколько? — шепотом спросил Андрейка.

Марина бросила веник к куче мусора, взяла деньги, пересчитала и снова бережно положила под половик.

— Сто!

Из горницы вышел хозяин Савкин, без сюртука, в белой измятой рубахе, которую все время поглаживал на груди волосатой рукой. Марина прошептала:

— Деньги кто-то потерял.

Она откинула половик, но Савкин и не взглянул на деньги. Сжав ладонью свою выдававшуюся вперед аккуратненькую черную бородку, хрипло сказал:

— Нашла... Значит, твои...

Андрейка тихонько подталкивал Еленку к выходу. Но дети успели еще увидеть, как в кухне появилась Феша и подозрительно оглядела дочь.

Марина, обгоняя ребят, убежала. Мать ее подняла с полу деньги, поклонилась хозяину:

— Спасибо тебе, Иван Денисыч за подарок... Только Маринку мою не срами... Моя жизнь, как на блюдечке, ясная... Недавно овдовел, а дуришь...

Савкин взял Фешу за мягкий с ямочками подбородок и сказал:

— У-у, ягодка!

Он ушел, за ним, улыбаясь, ушла в горницу и Феша, скинув с себя грязный передник.

Во дворе Марина, плача, что-то рассказывала Илье. У того было злое лицо и красные глаза, как у отца с перепоя.

VII

Когда у Николая Дерябина кончался запой, он жадно набрасывался на работу. Вечером, после гудка, уходил на побочные заработки: покрывал железом крыши

новых домов в Кужимовке, красил заборы, нанимался к купцам в ночные караулы у магазинов — любой труд выполнял легко.

В доме появлялись деньги. Мать, несмотря на болезнь, весело хлопотала у печки, стремительно бегала из избы в сени, в маленький огород — за луком, за морковью, за капустным листом под калачи. Хлеб, испеченный на капустном листе, любила вся семья.

Все оживало в доме Дерябиных.

Игры у Еленки также менялись. Она играла в такие дни в школу.

Как-то прошлой осенью повел Андрейка сестренку в Кужимовку к школе. Под широким открытым окном он остановился и шепотом приказал:

— Слушай.

Долго Еленка ничего не могла услышать, кроме глухого тихого шума, и вздрогнула, когда прозвучал красивый отчетливый голос учительницы:

— Сегодня, дети, напишите, как вы провели лето.

Андрейка, подняв кверху лицо, полуоткрыв рот, жадно слушал. Еленке же недостаточно было слышать. Ей хотелось увидеть то, что происходило за широким распахнутым окном. Она вскарабкалась на завалинку и, ухватившись за узорный наличник, заглянула в класс. Дети, сидевшие за черными партами, молча писали; тонкая высокая девушка, учительница, от классной доски смотрела на Еленку и улыбалась.

— Тебе что, девочка?

Еленка, не ответив, скатилась вниз, вместе с Андрейкой побежала прочь.

С тех пор в счастливые дни Еленка играла в школу, усаживала кукол рядком у стены и громко и нежно говорила:

— Теперь, дети, пишите, как вы провели лето.

Сама она знала бы, что написать о лете. Они с Клавкой Пряхиной украдкой от родных каждый день купались; обе уже научились плавать.

Хорошо бухнуться в жаркий день с крутого берега в прохладную воду, рассечь ее руками, поднять серебряный сноп брызг, нырнуть ко дну. Вода выбрасывает наверх тело, как резиновый мячик.

Она могла бы написать учительнице и о том, как они ходили с матерью за клюквой на болото. Кочки были красные от ягоды, словно болото расцвело. Со-

брать всю ягоду невозможно. А мать все доит руками тонкие безлистные стебельки, набирает клюкву в корзину, ссыпает ее в берестяной туесок, висевший за спиной, наконец наполняет твердыми, как бусинки, ягодами подол платья.

Вначале они ступали по кочкам осторожно, оберегая ягоды, а к концу дня безжалостно давили их каждым шагом. На кочках оставались яркие, будто кровяные, следы.

Могла бы написать Еленка и о том, как ходила она с Андрейкой в лес, как, потеряв его там, решила, что лес никогда не кончится и к дому не выйти, как вышла к знакомой опушке и смотрела на темную стену леса, стараясь угадать, что же находится за ней, с той стороны.

Куклам она говорила строгим голосом учительницы:

— Дети, пишите правду. Ведь ревели в лесу от страха?

Отец приходил домой теперь виноватый и добрый. Несколько дней он как бы совсем не замечал, что дети сторонятся его. Но однажды ласково притянул Андрейку к себе, забрал его меж колен, погладил большой рукой по голове и спросил:

— Все сердишься?

Андрейка молчал.

Тогда отец сказал, заглянув ему в глаза:

— Милый сын.

У Андрейки дрожали от обиды губы. Но он не ушел от отца, а ткнулся ему в грудь и заплакал.

— А ты не реви...— тихо учил отец.— Вот скоро на завод пойдешь. Куда только определить тебя: на домну или в механический, к станку?.. Может, приняли бы в ученики. Куда бы ты хотел?

Андрейка оживился. Глаза высохли.

— А нельзя, тятя, в школу?

Отец помрачнел, ответил не сразу:

— В школу, сынок, опоздал ты. Тебе уже четырнадцатый год. Да и не к чему. Читать-писать умеешь, и хватит.

И замолчал.

Вечером в доме появился Илья, молча проскользнул в кухню, не глядя на отца. Пошептавшись с матерью, скоро ушел.

— Илья-то жениться хочет...— робко сообщила мужу Анисья и рассказала ему о Марине, хваля ее кра-

соту и скромность: не скрыла и соображение, радовавшее ее, что из кабацкого дома девку без приданого не вытолкнут.

Темнело. Ребята улеглись спать, а мать все говорила, стараясь убедить мужа.

Еленка, подняв голову, слушала, все время порываясь что-то сказать. Андрейка, лежа с сестренкой рядом, настороженно притих. Наконец можно было вставить слово и Еленке: мать не все знала и девочке не давало это покоя.

— Марине купец каждый день под половик по сто рублей кладет,— хитренько проговорила она.

Андрейка больно щипнул ее за руку. Еленка захныкала.

Укладываясь спать, Анисья поучала детей:

— Зря не болтайте, берегите слова — жизнь и без того тяжкая... живите тихо, смотрите ниже себя, легче проживете!

Дерябин вдруг ударил кулаком по столу и выругался. На него находила иногда беспричинная ярость. Ребята прижались к матери.

— Врет она! — крикнул отец. — Жить орлом надо!

— То-то ты и орел,— неожиданно возразил Андрей, ужасаясь своей дерзости, — как напьешься, так и в луже.

Мать привстала, загородила собой сына; но отец только усмехнулся, грустно и тихо сказал:

— Верно... Я не орел... Крылья у меня малы, сынок...

Несколько дней подряд взрослые куда-то уходили нарядные и взволнованные. Мать, улыбаясь, твердила:

— Не отказала Феша нам, не погнушалась.— И добавляла с надеждой: — Женится Илька — может, нам полегче будет...

Как-то вечером мать попросила Тальку:

— Уж ты, мила дочь, походи к невесте-то, вечеринки там, приданое шить надо...— И перекрестилась:— Дай-то, господи.

Что должен был дать господи, Еленка не могла понять. Подумав, тихо сказала куклам:

— Дай-то, господи, чтобы наш-то теленок да волка съел.

Талька, натягивая на себя розовое платье с оборками, которое надевала только по праздникам, жаловалась:

— Мне уж это платье и надевать стыдно, старое, трещит по всем швам. Вот увидишь, мама, какие девки нарядные к Марине придут.

Мать, будто не услышав слов дочери, произнесла умиленно:

— А ты ведь, Таля, у меня красивой выросла. Тоненькая, как былиночка, ровно не на пожоге работаешь, а в горничных у барина служишь.

И Еленка увидела, что Талька очень красивая. Черная коса спускалась у нее до пояса, на висках кудрявились волосы, обрамляя чистый высокий лоб и строгое неулыбчивое лицо, шейка у Тальки была нежная и белая. Почему-то Еленка, глядя на нее, жалела сестру.

Теперь в жизни было интереснее, чем в игре. Каждый день приносил новое.

Вот мать моет и чистит избу, суетится у печи, варит настоящие мясные щи, печет пироги, иногда дает Еленке пригоревшее печенье и уносит стряпню в чулан. В избе пахнет небывало вкусно. Однажды Анисья принесла большую корчагу и почему-то шепотом стала учить Еленку:

— Ты, мила дочь, спрячься за двери, а как только молодые на порог встанут, ты со всей-то силушки корчагу брось на пол.

Еленка с недоумением смотрела на мать:

— Да ведь она, корчага-то, сломается.

— А ты этого не бойся. Так и бей, чтобы сломалась в мелкие дребезги.

— А зачем?

— Так надо.

Еленка немедленно встала к двери, жалея о том, что Клавка Пряхина не видит ее с корчагой, но утешилась: будет чем похвастать перед подружкой.

Однако, понимая, что она нужна, что к ней обращаются за помощью, она потребовала, как и Талька, другое платье. Мать сказала:

— Да нету у тебя другого-то, Елюшка, вот подожди, Тальке надо новое делать, заневестилась девка, сошью ей новое платье, а тебе старое розовое перешью. И будет у тебя обновка.

Услышав шум во дворе, Еленка подумала, что молодых привезли. С улицы окна облепили любопытные. Однако девочка ошиблась: это прибыло приданое невесты. Какие-то незнакомые суетливые женщины нача-

ли открывать зеленые сундуки, занавесили окна тюлем, на стол разостлали большую белую скатерть. За печкой поставили кровать, взвалили на нее перину, подушки, закрыли одеялом из мелких лоскутков и завесили цветистым ярким пологом.

Еленка онемело следила за ними, не веря тому, что видит: их изба стала тесной, но нарядной. Рядом с ее куклами водрузили горкой три сундука.

Женщины ходили по избе, кричали что-то и вдруг побежали в сени. Мать вытерла покрасневшие глаза и сказала девочке строго и торжественно:

— Ну, Елюшка, бей мельче.

И как только дверь в избу открылась, Еленка со всей силы хлопнула корчагу о пол.

Мелких кусочков не получилось. Корчага раскололась пополам. Тогда подоспевший Андрей бросил половинки еще раз.

Илья и Марина с порога низко поклонились. Тут же Марина в своем подвенечном белом наряде начала собирать осколки, а ей под ноги бросали деньги. Она собирала медяки молча, с рассеянной улыбкой на бледном лице.

Целый день в избе Дерябиных гости ели, пили водку и брагу, кричали «горько». Илья с Мариной не ели ничего, а только целовались.

VIII

Утром на другой день Еленку вытолкнули в сени и молодых подняли без нее. Плача от обиды, она выговорила Илье, когда ее впустили в избу:

— Жених и невеста, стыд!

Еленка решила, что любить Марину не стоит, так как в избе из-за нее стало тесно и шумно, но сноха скоро победила девочку своей добротой. По утрам, садясь на кошму рядом со спящей Еленкой, Маринка будила ее:

— Спали-почивали, весело ли встали?

По вечерам, не зажигая огня, в доме рассказывали сказки или пели песни.

Песни начинал отец:

Ой, как под кустичком, под ракитовым,
Тут сидит-то ли девица, призадумалась.

Тягучий простой напев вызывал грусть, щемящую жалость к себе и к другим, желание сделать людей счастливыми.

Марина с Ильей садились на кровать, тесно прижимались друг к другу. Рядом с Ильей присаживался Андрейка и не мигая слушал, как подхватывает песню мать.

Закрыв глаза, страстным, дрожащим голосом Анисья выводила:

Не купец-то ли девицу обхаживал,
Обхаживал, уговаривал.

Как-то Марина вдруг громко пожаловалась:

— А мне мама все еще деньги не отдает. Сотню целую...

Анисья смолкла, Дерябин, равнодушный ко всему, что не относилось к песне, прошептал:

— Проживем!

И снова запел:

Не плачь, девица-красоточка,
Старопрежняя моя сполюбовница.

Сильный голос бился в тесной избе, как в клетке.

Как с тобой мы сполюбилися,
Все ракитовы кусты развилися,
Все сыры-то дубы преклонилися.

Но и это все наскучило Еленке. Она искала нового, а что нового в том, что большие люди рассказывают по вечерам старые сказки или поют песни. Однако жизнь не была скупа на новое. Нет-нет да что-нибудь озадачивало девочку так, что она на целые дни забывала кукол.

Илья начал исчезать по вечерам из дому. Песни все реже звучали, отец хмурился, Марина плакала, мать беспомощно старалась всех примирить.

Однажды ночью кто-то тихо стукнул в окно, будто клюнула в стекло любопытная пичуга. Не одна Еленка услышала этот осторожный стук.

Илья тихо поднялся и начал одеваться.

— Куда? — строго спросил отец и вскочил с кошмы.

— Надо,— уклончиво ответил Илья.

— Куда, я спрашиваю!

Илья молча натягивал сапоги.

Отец в одном белье подскочил к сыну. Еленка ждала: сейчас он размахнется тяжелой рукой и обрушит на Илью удар страшной силы. Правда, такого еще не бывало, чтобы отец, будучи трезвым, кого-нибудь обижал. Да и не помнит она, чтобы он обижал Илью.

Страшного не случилось. Случилось непонятное. Отец подошел к сыну близко и зашептал:

— Затеяли вы не по силам... Ничего у вас не выйдет. Долю свою не отыскать. Я ее всю жизнь ищу.

— Не там ищешь.

— А вы знаете, где она? Она, как земной клад, роешь-роешь, а только силы зря убиваешь.

— А мы знаем теперь, где этот клад лежит,— с вызовом громко сказал Илья.

Только тут увидела Еленка на фоне окна, что отец меньше Ильи.

Брат ушел. Отец присел к окну, закурил.

Долго старалась Еленка понять все, что услышала. Спросить старших она не решалась. Мать и отец, когда ночью Ильи не было дома, не спали: то один, то другой подходили к окну, открывали его, прислушивались к ночной тишине. Не спала и Марина. Иногда отец выходил на улицу, но скоро возвращался и шептал:

— Ложись, Марина, бог даст, все будет хорошо.

Еленке все чаще хотелось посидеть в лесу, на берегу реки, которая протекала недалеко, дома ей словно становилось тесно.

Река, если миновать высокий утес на берегу, уводила в лес, делала петлю и бежала дальше. Идти за ней далеко Еленка не решалась, каждый раз останавливалась на одной поляне, усеянной купавками и ромашками. Желтые купавки горели словно капельки солнца. Еленка усаживалась среди них и смотрела на реку, всегда для нее загадочную. У берегов под тенью скал и леса река темная и гладкая. На середине блестит, как расплавленное серебро, и чешуится, но и там и тут она бежит, и ничто не остановит ее движения.

Лес по обоим берегам высокий, глухой. В нем живет царь Лешуня из Талькиной сказки, и кто его знает, как он смотрит сейчас на Еленку, сидящую среди цветов на отлогом берегу? Может, он подстерегает каждый ее шаг и каждую думку? А что, если набраться смелости и пойти за рекой? Куда она приведет? Если

она бежит и бежит, так не напрасно же, в самом деле?

Еленка пыталась поговорить об этом с Андрейкой, но тот в последнее время заважничал, с ней не разговаривал, все возился с удочками и часто уходил к реке. С удочками возился и Илья и тоже уходил по ночам на рыбалку. Возвращались братья вместе, но рыбу приносили редко.

Как-то Еленка увязалась на рыбалку за Андрейкой, хныкала и бежала, как он ни ругался. Когда брат угрожающе крикнул: «Пойди только!» — она на минутку остановилась, но, как только Андрейка пошел дальше, немедленно двинулась за ним. Так шли они по знакомым местам, по берегу реки, миновали утес.

Солнце скрылось. Река потемнела, словно сосны и пихты, стоявшие по обеим сторонам, сплелись своими верхушками и заслонили свет от воды.

На знакомой поляне цветы исчезли, будто кто-то выполол их, как сорняки. Поляна стала темной-темной. Трава же по-прежнему была высокая и густая. Еленка нашла странную головку какой-то травки, твердую и круглую, как незрелая маковка. Она не видела еще такой травы. Сорвав ее, разобрала листочки и ахнула. Это была пышная купавка, только все лепестки прильнули к сердцевинке, окружили ее плотным кольцом, а сверху закрылись зеленым окололистником.

Еленка, озадаченная, не понимая, что произошло с цветами, чуть не потеряла Андрейку из виду.

Тот уже углубился в лес, пробирался по узкой тропе дальше, не подавая голоса. Еленка бросилась за ним, поднялась на кручу нового утеса, обросшего лесом, дрожа от мысли, что царь Лешуня может протянуть длинную руку, схватить ее и утащить в свое логово. Но близость брата придавала смелость.

Она изо всех сил старалась не отстать от Андрейки, боясь надвигавшейся темноты. Свет теперь падал не с неба, а шел от реки; от леса же веяло мраком, сыростью и прелой землей. Вот Андрейка остановился и тихо свистнул. Остановилась и Еленка.

К Андрейке из лесу вышел Илья и сказал, не таясь:

— Вот тут, Андрей, и стой. На той тропе тоже караул поставим. Наши все здесь. Если кто пойдет, ты...

— Знаю, не маленький,— важно ответил Андрей.

Теперь Еленка не боялась Лешуни: здесь были два ее брата и «наши».

Ей хотелось только узнать, куда скрылся Илья.

Андрейка сел на самую тропу, развернул удочку, спустил с кручи ноги и закинул лесу в воду.

За деревьями, в стороне, мелькнул огонь. Еленка пробралась ближе и остановилась за пихтой, увидев у костра людей. Она их всех знала в лицо, они работали на заводе. Теперь они слушали кудрявого широкоплечего человека, который стоял над ними в зареве разгоравшегося костра.

Он говорил незнакомые слова, но сидевшие у костра люди, видимо, понимали его, так как слушали жадно. Глаза их блестели.

Еленка услышала много непонятных слов. Люди вдруг поднялись и начали петь. Это было так таинственно и необычайно. В лесу, совсем уже потемневшем, стоят взрослые люди и поют:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный,
Неумолимый грозный суд.

На лице Ильи отражалось пламя костра. Сильное лицо то вспыхивало, то бледнело, взгляд требовательно впивался в товарищей, черные брови сошлись над переносицей.

Рядом с Еленкой на холодную траву лег Андрейка. Он не мог не выйти из своего прикрытия к песне.

А потом, когда песня кончилась, он погрозил сестренке кулаком и прошептал:

— Хвост поганый, притащилась все-таки! Пошли домой!

Резко поднялся с земли, взял сестренку крепко за руку, повлек к тропе.

Она обещала никому никогда не рассказывать о том, что видела. И слово свое держала. Только раз, вспомнив о цветах, она спросила у отца:

— Почему это цветы в лесу на ночь прячутся?

Отец ответил:

— Спят.— И тут же строго спросил: — А ты разве ночью в лесу была?

Андрейка торопливо заговорил, предупреждая сестру:

— Со мной на рыбалку таскалась,— и незаметно погрозил Еленке кулаком.

Марина у окна вязала кружево и не переставая тихо пела свои песни, которых до нее в доме Дерябиных не слыхали:

Грозно ходят тучи по небу,
Ночь угрюмая стоит,
Обнимая дочь боярскую,
Парень тихо говорит.

Голос у Маринки маленький, а слова песни гладкие, обтесанные. Напевы не вызывали грусти и скоро забывались.

Иногда Илья поднимал возню: хватал Еленку и Андрея, сваливал их в кучу вместе с Мариной. Дети нападали на Илью сзади, с боков, а он выжидал удобной минуты, стоял не шевелясь, словно не его теребили и щипали быстрые ручонки, и вдруг набрасывался на всех враз, сжимал их, приподнимал и носился с ними по избе, выкрикивая:

— Горшков купите!

Ребята визжали, хохотали до хрипоты и болтали ногами. Илья подносил свою ношу к отцу и спрашивал:

— Не надо ли горшков?

Отец деловито оглядывал «товар» и, улыбаясь, отказывался:

— Дырявые они, не надо.

Анисья вздыхала:

— Ой, ребята, всегда бы нам так жить!

Отец почесывал бороду, оглядывался вокруг горящими глазами и восторженно предрекал:

— Так и будем жить, погоди! Не может того быть, что жизнь наша не завьется.

Анисья слушала мужа с надеждой.

— Дай бы бог...

IX

Конец надеждам пришел неожиданно в ясный летний полдень, когда ребята с Мариной сидели у открытого окна.

Мимо дома на белой лошади проскакал верховой, что-то выкрикивая сиплым надсадным голосом.

Марина заплакала, ничего не сказав, выскочила на улицу и побежала к мосту.

— Что он орал-то, Андрюша? — шепотом спросила Еленка.

Андрейка молчал. С церковной колокольни раздался набатный звон. Еленка заревела и спряталась под кошму, чтобы не слышать тревоги.

Анисья вздыхала.

— Пронеси, господи! Пронеси, господи!

Закат заливал землю багровыми сумерками. Под окном кричала женщина:

— Вся земля как в крови, не к добру это, бабоньки!

Улица притаилась. На воротах кабака висел список лиц «запасных» лет. Около него молча стояла толпа парней. Кто-то глухо читал.

Из дому вышел Савкин и объявил толпе:

— Приказали водкой больше не торговать.

Не торопясь закрыл окна ставнями, и дом, как слепой, настороженно притаился.

С пустыря, за домами, раздавались крики детей:

— Ура! Наступаем!

Хлопали пугачи, над крышами взвивались бумажные змеи с длинными мочальными хвостами, а дети сполошно кричали:

— Хватай его! Лупи!

— Наши в плен не сдаются!

— Забирай слева!

На широком дворе волостного правления было людно. На тесовом крыльце старшина, приземистый старик с широкой черной бородой, читал царский манифест низким торжественным голосом, слова «Божией милостью мы, Николай Вторый» звучали у него, как заупокойная. Закончил старшина неожиданно весело: «Призываем постоять за веру, царя и отечество!» и стал вызывать мужиков одного за другим в волость. Крикнув первую фамилию, он белозубо улыбнулся в бороду.

Запасные уныло шли по ступенькам, некоторые оглядывались назад, в толпу, словно прося помешать силе, которая тянет их войти туда, за скрипучую маленькую дверь.

Чахлый парень с шершавым серым лицом и впалыми глазами говорил стоящей рядом старухе:

— Зря ты ревешь — не возьмут меня.

Старуха поминутно сморкалась и всхлипывала:

— Дай бы бог, дай бы бог!

По лесенкам в правление этот парень прошел бодро, у самой двери перекрестился и вслух сказал:

— Спаси меня, господи!

Чахлый парень оказался негодным. Он выскочил на крыльцо босиком. Следом за ним вышел покурить доктор-старичок, приехавший из города на отбор запасных. Увидав доктора, парень бойко подхватил сапоги, которые натягивал на ступеньках, и сбежал с крыльца.

Когда старшина вышел за следующим, чей-то ломкий голос громко спросил:

— А кабак почему закрыли?

Старшина не ответил. Тот же голос гневно повторил:

— Кабак, говорю, почто закрыли?

Простой вопрос о кабаке сорвал торжественность ожидания. Толпой овладело беспокойство. Кто-то стоявший во дворе у входа зычно прокричал на весь двор:

— К винной лавке!

Бежали толпой, мешали друг другу. По пути выламывали тесины из заборов, вооружались поленьями, палками и диким скопищем валили к кабаку. Кто-то плакал беспомощными, жалкими слезами. Кто-то грубо ругался... Сняли прочные ставни. Зазвенели разбитые стекла.

Лавка и кабак были уже полны, а в двери и в окна все ломились мобилизованные, бросали бутылки, другие ловили, отбивали красные головки и пили водку прямо из горлышка. Окна выбили, высадили двери, перебили посуду, сорвали и растоптали вывеску.

Непроспавшихся, пьяных мобилизованных утром снова погнали в волостное управление, а после переклички — в губернский город.

Выли, кричали женщины, мужики смотрели на сыновей измученным взглядом.

Лиза Пряхина стояла в стороне от всех и не отрывала мокрых глаз от своего миленка Пальки Лямина, стыдясь при народе подойти, прощаясь с ним издали. Павел весело скалил зубы и громко говорил прильнувшей к нему матери:

— Всыплем мы супостатам, пусть нашего бога не трогают!

Рядом рослый парень натягивал рубаху. Он обернулся на слова Лямина и сплюнул.

Палька поглядел в сторону Лизы. Бледная, она все время легонько, словно шутя, покашливала и плакала.

Лямин ласково отвел руки матери, цепко ловившие его, и, вскинув красивую голову, направился к Лизе. Та затрепетала, еще сильнее закашлялась от радости и

смущения. Парень легко взял девушку за худенькие плечи и привлек к себе.

— Не гуляй без меня,— шепнул он в счастливое мокрое лицо.

Но за ним приплелась его мать и снова запричитала, на что сын задорно ответил:

— Не бойся: одного убью — семеро лягут!

— Берегись там, под пулю не лезь,— наказывала старуха.

— Ничего,— успокаивал сын,— за русского царя и умереть не жалко.

Около Ильи причитала Марина:

— Срежут тебе черные кудри!..

Илья гладил ее плечо и молчал. Анисья дрожащими руками развязала перед сыном узел и показала ему наспех положенные вещи.

— Вот носки, Илья, шерстяные. Холода падут — их надевай.

Дерябин одернул сыну рубаху.

— Вот так...

— Начальства слушайся. Ниже себя смотри, легче будет,— поучала Анисья.

— Ладно,— тихонько смеясь, отвечал Илья,— стреляю я метко, в белый свет — как в копейку...

— Срежут тебе черные кудри,— бестолково твердила Марина, ненасытно глядя на мужа.

Тот же рослый парень, теперь уже в рубахе, подтянутый, одетый в дорогу, снова сплюнул и сказал желчно, с безысходной злобой:

— Как бы голову не срезали!

У Анисьи выкатился из рук узел. Согнувшись, она старалась и никак не могла подхватить его.

Тут же в толпе сновал ласковый быстрый старик и говорил:

— Это хитрая механика — война-то. Веру у сербов, говорят, обижают, а мы уж суемся так, за компанию. Тут хитрая механика.

Никто ничего не понимал из слов старика. Кабатчик Савкин, размахивая большими руками, басом говорил:

— Война продлится не больше четырех-пяти месяцев, можно перетерпеть.

Кто-то твердил, что эта война будет последней на земле и беспощадной, а потом наступит земной ад: люди

будут гореть в огне, мертвые встанут, и наступит конец мира.

— Не отдам,— кричала худая баба, обезумевшая от горя, держа за руку безмолвного маленького мужика. У того дрожали губы, а баба стонала и грозила кому-то кулаком: — Сами идите умирайте!

— Стройся! — раздался приказ. Но толпа повалила без всякого строя через мост, к лесу.

— Погнали! — зловеще прошипели в толпе.

Рев, свист, стоны — все слилось в один страшный шум.

— Мама, не ходи за мной, не ходи.— Илья старался оторвать от себя Анисью, но та бежала с ним рядом и тихо, без слов плакала.

Рядом крупно вышагивал отец. Илья говорил ему строго:

— Ты, отец, больше не пей. Не трать себя напрасно. Война не вечна. Мы вот вернемся...— и то и дело трогал отца за руку, не зная, как внушить ему свои последние наказы.

— Андрейку на завод пошли, пусть в рабочем котле покипит.

Надсадно, тревожно загудел завод. Рабочие постепенно отделились от новобранцев и возвращались назад.

Палило. Лаяли собаки. За мобилизованными по дороге облаком поднималась пыль.

Железнодорожная станция была версты за три от поселка. Дорога шла полями. По обе стороны качалась и шелестела тяжелым колосом зреющая рожь, цвели васильки. Некоторые из них склонили синие головки на дорогу, и солдаты топтали их, давили, смешивали с пылью.

В лесу пошли рядами, кое-как налаженными. Сзади везли на телеге мертвецки пьяного парня. Картуз его откатился в сторону, черные волосы шевелились, а за телегой с воем и причитанием, как о покойнике, обнявшись, шли его мать и жена.

Впереди затянули песню:

Еще что в поле за дороженька,
Еще что в поле за широкая,
Что никто по ней не прохаживал,
Никто следочку не прокладывал.

Старуха в цветном платке громко крикнула:

— Палька! Крест-то надел ли?

— Надел,— ответил Лямин.

— Молись чаще!

Туто шли-прошли три полка солдат,
Новобранные, ныне сданные.

— Мама,— прорезал шум звонкий молодой голос,— за Катькой Решетниковой смотри, пусть замуж не идет, пусть ждет, я приду.

Рослый парень, храбрясь, шел петухом. По бокам, как бы охраняя рекрутов, вместе с урядниками бежали дети.

Еленка с Клавкой Пряхиной не отставали. Только не понимали они, отчего плачут женщины, когда так все идет хорошо, как в праздник. Люди поют, впереди даже какой-то быстрый, верткий парень плясал, заломив на затылок фуражку.

Босоногий мальчишка в красной, порванной на груди рубашке кричал:

— Васька, ваш Петька всю дорогу крестится!

Песня крепла:

Вперед идут все охотнички,
За имя идут все наемнички,
Позади всех невольнички,
Невольнички-неохотнички.

Запыхавшаяся, с растрепанными волосами, бежала за толпой Лиза Пряхина.

Вот она опередила всех и остановилась, ища в строю Пальку Лямина. Прижав маленькие кулачки к груди, растерянно вздохнула:

— Ой-ой!

Илья шел, обняв мать и жену. От его лица веяло спокойствием и силой. У Анисьи заплетались ноги. Когда впереди запели: «Последний нынешний денечек», Анисья упала в пыль, притихла.

Марина провожала Илью до города.

X

Осенью Андрейка поступил на завод, на домну, к отцу. На работу и с работы они ходили вместе.

По вечерам отец рассказывал:

— Глухие здесь места были, неизведанные. Наш завод построили давно, а я помню. Железоделательный тогда он был. А когда Сибирскую железную дорогу проводили, домну приставили. Рельсы у нас делать ста-

ли для дороги. До этого тут селенья были строгановских вотчин. Строганов обещал царю всю пожалованную ему землю на Чусовой заселить, да и не выполнил. Царь осердился и раздал часть земли другим. А наш поселок так строгановский и остался.

Помню я, как в девяносто третьем году закладывать домну начали. Горный инженер приехал, Ауэрбах. Все он говорил, что место для домны здесь хорошее, хоть и глухое, а зато леса вокруг много, для выплавки чугуна угля будет в достатке.

Вот об угле-то подумал этот Ауэрбах, об чугуне-то нет. Говорили тогда рабочие, отец мой говорил, дед ваш — он тоже доменщик был,— что руда здесь не первосортная. Но нас не спрашивали. Мы только строили, везли на себе, как христовы лошади, а думать нам нельзя... Здесь бы не домну, а медеплавильный завод поставить. Медь, ребята, у нас здесь хорошая. Чуть поверх земли не лежит. Рудники бы... Много я мест знаю медных, хотел объявить, да Илья запретил. «Подожди, отец, говорит, может, не хозяевам, а народу скажешь». Все надеялся сын на что-то, да вот и пронадеялся напрасно.

— А ты, тятя, все равно не объявляй,— сказал Андрей.— Может быть... Я ведь знаю, о чем на заводе люди говорят... Только ты у нас от этих разговоров бежишь.

Еленка ждала, что отец прибьет брата, но тот только поднялся с лавки и заявил строго:

— Одевайся, на работу пора.

По вечерам Андрейка был, как говорила Феша, «на побегушках» у Савкиных: помогал грузить товар, ухаживал за лошадьми.

— У моего-то работы по горло, сами знаете — старшина выбранный, а тут еще торговать надо.

Андрейка ел каждый день белый хлеб, кашу, пил чай с сахаром. Еленку же, когда та приходила, Феша кормила редко.

Девочка называла ее «сватьей» и гордилась тем, что научилась обращаться с людьми, как взрослая, легко и независимо.

— Сватья, давай я посуду тебе помою,— говорила она.

Феша носилась мимо молча. Однажды она сказала:

— Ты меня Феклой Григорьевной зови!

Работы в хозяйстве Савкина было много. Он держал лошадей, для которых нанимал троих работников. Кроме кабака, Савкин имел при доме лавку. Это была единственная лавка в поселке, где можно было купить все: ситец, нитки, пряности. Торговля шла бойко.

Напротив, в лавке Бадрызловых, продавались керосин, гвозди, сбруя. Но там всегда было безлюдно, и Феша радовалась этому. До войны торговала она в кабаке, а в лавке сидела Марина. Теперь Феша перешла в лавку и здесь, меряя ситец, доверительно шептала покупателю:

— Не хотите ли горькой водички... немного удалось спасти.

И скоро все в поселке знали, что купец Савкин попрежнему торгует и водкой. Только цена на нее прыгнула втрое.

Жила Фекла Григорьевна теперь в горницах, в кухне управлялась сухая сварливая баба, а Фекла выходила лишь затем, чтобы распорядиться или подкинуть к корыту работницы юбки для стирки. Часто она беспокойно спрашивала у ребят:

— Не слыхали, невесту себе Савкин не подыскивает? Вы бы у матери спросили, она там рядом с кабаком живет, должна знать.

Еленка помогала Андрею приносить в горницу дрова к круглой голландской печи. И каждый раз ребята останавливались перед скрипкой и перед ружьями. Казалось, стоит прикоснуться к этим дорогим вещам, как что-то произойдет, откроется другая жизнь, блестящая, как в сказке.

Однажды Андрейка быстро подскочил к ковру и, вытянувшись, щипнул тугие белые струны скрипки. Феша примеряла перед зеркалом шумящее платье, крутилась во все стороны и улыбалась. Довольная своим видом, она сказала:

— Возьми потрогай...

Андрей бренчал на скрипке, как на балалайке. Феша, смеясь, сунула ему смычок, но Андрей не знал, что с ним делать, перебирал на нем силки.

— Немая она!

— Сам ты немой,— шутила Феша, стирая ладонью с инструмента пыль.— На ярмарке в Ирбите покупали, еще когда Аксинья Егоровна жива была. Все купцы покупали, ну а мой чем хуже их? Тоже купил. А скри-

пачей там много! Все пиликают... Уж и спать ляжешь, а в ушах все как комары пищат.— Феша прижала скрипку к груди мягким подбородком.— Вот как держи.

Андрейка смеялся и кричал, взвизгивая от радостного удивления:

— Ну и музыка: и руками и носом тренькать надо!

Но когда Фекла неумело провела смычком, Андрей смолк и насторожился: скрипка могла говорить.

Иногда вместе с Еленкой к Феше приходила Марина.

Феша раскрывала сундуки и доставала платье за платьем, показывая дочери обновы: шелковые, шерстяные, кисейные платья с длинными шлейфами.

— В укладке у меня еще шелку на пять платьев лежит,— наслаждаясь своим богатством, говорила она.

Марина примеряла на себя платья матери, но они были велики ей. Она скалывала булавками по бокам, обтягивала плотнее свою маленькую фигурку и шумела подолом перед зеркалом.

— Ты у меня в примерке все платья износишь,— посмеивалась Феша.

Иногда выходил Савкин, останавливался в дверях, широко расставив ноги, и, ласково жмуря хитрые глаза, почтительно кланялся.

— Здравствуйте, Марина Федоровна!

Марина улыбалась, опустив глаза. Савкин громко вздыхал:

— Тоскует бабочка...

После того как купец Бадрызлов открыл мучную лавку напротив кабатчика, Феша стала злой и неспокойной.

— Деньжищ-то на муке огребают... А мой на пуговицах сидит! Вино продавать не дают...

Она часто называла своего хозяина запросто, как жена,—«мой». И это было, наверное, смешно, так как Марина кривила губы и шептала Еленке:

— Попал купец в крепкие ручки!

К лавке Бадрызлова устанавливались целые очереди, случались драки. Мужики лезли вперед, мяли детей и женщин.

Галдеж и драки в очереди доставляли Феше истинное удовольствие. Она хохотала и кричала:

— А-а! Куделят друг друга! У жадных-то купцов и покупатели жадные!

Марина задумчиво говорила:

— Не жадные они, а просто голодные!

От матери Марина уходила злая, дорогой жаловалась Еленке:

— Хоть бы на юбку сунула, выжига!

Еленке Феша казалась доброй. Она ставила самовар, угощала дочь чаем с вареньем, как настоящую гостью.

Илья писал домой письма стихами, простенькими и трогательными. Марина стыдилась читать их кому-нибудь вслух, кроме Еленки. Сама же заучивала наизусть, плакала над каждой строчкой и пела:

Томится в плену он без сил, без желаний,
Безногий калека, жалкий, больной,
И стон его жгучих глубоких страданий
Стремится скорее к жене молодой...

По воскресеньям домой приходил Андрей, который теперь работал только на Савкиных. Он приносил с собой скрипку и подбирал мелодии к песням Марины.

Плачьте, невесты, матери, жены,
Плачьте, невинные души детей,
С далеких полей несутся к вам стоны
Замученных царством отцов и мужей.

Отец внимательно слушал эти песни. Однажды неожиданно попросил:

— Ну-ка, спой «замученных царством отцов и мужей...» — и засмеялся громко и неспокойно.— Придумает ведь Илья! Не боится. Вот, Аниска, люди какие пошли, а ведь додумаются... до тюрьмы... Ничего не добиться: плетью обуха не перешибешь.

Письма от Ильи вскоре прекратились. Марина перечитывала старые. Зная их наизусть, она каждый день бережно доставала исписанные стихами листики, разглядывала и читала все от слова до слова. Даже приписку к письму она читала важно, как нечто значительное и роковое: «Альпы, местечко Пьяц».

Так она коротала время.

Часами мрачно сидела Марина у окна, внимательно, не мигая, смотрела на пруд или на закрытый кабак Савкина.

За прудом лежали огромные камни, серые и холодные. Еленка не понимала, как это взрослые могут так долго смотреть на них.

Невестка соскакивала с места только тогда, когда

мимо окон проходил почтальон, но снова садилась, уныло глядя на улицу, с нетерпением поджидая ночи. Во сне люди не страдают. Марина пыталась растолковать сны: черную ягоду видеть — к слезам, огонь — к радости, а кровь, яркая, красная, предвещала письмо. После такого сна Марина оживлялась, смеялась, пела, сновала по избе.

Раз, заняв очередь за хлебом, Марина с Еленкой пришли к Феше в лавку погреться, прикладывали к железной печке замерзшие пальцы. Феша говорила с покупателем:

— Может, ситчику отрезать?

Покупатель отвечал:

— Ниток мне... На ситец денег больших надо, а заработок-то все падает. Нитки от всех дыр спасают: поставил заплату и опять в обнове.

Андрейка сунул в дверь голову; он тяжело дышал. Волосы его прилипли к потному лбу. Увидя своих, улыбнулся во все лицо и стремительно скрылся.

— Да как это вы удумали? — гостеприимно обратилась к ним Феша, выпроводив покупателя.— Ну, без самовара придется вам погостить, уйти мне нельзя: неравно кто придет не за нитками, а за дорогим товаром. Жаль покупателей-то терять. Скупо покупать стали, шибко скупо... На-ка, Еленушка, хоть семечек я тебе...

Она насыпала девочке в варежку семечек. Семечки грели замерзшие пальцы. Еленке приятно было забирать их в горсть и выпускать снова.

Полки на передней стене в магазине заняты кусками ситца и сатина. Красные, лиловые, синие, розовые, белые — всякие цвета; от них пестрило в глазах.

Сбоку расставлены стеклянные вазы с пряниками, конфетами и печеньем.

Опустив руки в огромных материных варежках, Еленка окаменело стояла перед небольшой витриной, на которой были расставлены румяные и нарядные куклы, Куклы тоже смотрели на нее, не сводя глаз, и улыбались радостно, как хорошей знакомой.

Они были в сапожках на твердых упругих ногах, в коротких платьях, из-под которых виднелись кружевные панталончики. Куклы, одетые в длинные платья, стояли посередине, в кругу остальных, глядя на все, что делается перед ними, с чуть заметной улыбкой гордых

красавиц. Все можно было забыть, если есть на свете такие куклы! Они казались Еленке добрыми. В красивом всегда виделось только доброе. Она вспомнила своих тряпичных уродцев, которые прячутся за грязным пологом. Если бы иметь хоть одну такую, какие выставлены здесь, на виду у всех, тогда уж нельзя было бы играть в пьяного отца и драки.

Феша считала деньги, пачку за пачкой, а Марина неприязненно следила за ней.

— Ты хоть бы мне мою сотню отдала,— наконец сказала она, но Феша быстро спрятала деньги в кассу и отошла к Еленке:

— Куклы приглянулись?

Девочка увидела, что лицо у Феши красное и злое, и не посмела кивнуть в ответ.

Марина, тоже злая и красная, сказала громко:

— Ведь он тогда их мне дал...

Феша достала с полки голубоглазую большую куклу и положила на прилавок. Кукла кокетливо закрыла глаза.

— Спит?— спросила потрясенная Еленка.

— Потрогай ее, ничего, можно,— разрешила Феша.

Кукла продолжала спать, показывая в улыбке мелкие зубки.

— Поиграй,— подбадривала Феша,— ничего ей не сделается.

— Спит она,— шепнула в ответ Еленка, боясь разбудить уснувшую куклу.

Марина нетерпеливо допытывалась:

— Так как, мама?

— А никак!— со злобой обрезала Феша.

Маринка рванула маленькую золовку за руку.

— Пойдем.

Феша уже занесла руку, чтобы убрать куклу на полку, и девочка заплакала. Тогда Марина схватила куклу с прилавка. Мать и дочь с ненавистью посмотрели друг на друга. Еленка теперь сама теребила невестку за руку и твердила:

— Пойдем!

На улице Марина, оглянувшись на магазин с зелеными распахнутыми ставнями, долго смотрела на него.

Еленка целовала надменную куклу прямо в твердые красные губы.

— Это у меня тетя Феша будет... Она хорошая.

Ничто в жизни так не расстраивало девочку, как голод. Она не могла понять, почему это люди не живут так весело и сыто, как они живут в сказках?

Однажды, когда мать жаловалась на дороговизну, девочка просто разрешила вопрос:

— Иди возьми денег у Савкина, у него много. Ему вон за разбитую винную лавку казна сколько денег выдала, на всех хватит!

С неожиданной ненавистью Марина произнесла:

— Будет Савкин всех лохмотников кормить!

Она все чаще смотрела в окно на пруд, вздыхала:

— И жизнь же у матери моей! Что твоя купчиха! Пальто опять бархатное завела.

Дерябин приходил домой трезвый и злой.

В его присутствии все затихали, только мать, подавая обед, робко сообщала:

— Крупы я не купила: вдвое дороже крупа стала... Не прожить нам... Я вот думаю стирку взять на дом: все немного заработаю. Да и Марина поможет...

Отец молча ел хлеб и, ничем не утешив жену, снова уходил.

Раз в светлый зимний день Дерябин пришел домой раньше обычного, возбужденный и шумный.

— Ну, мать, мукой я раздобылся!

Так торжественно говорят только о радости. Распорядившись привезти муку домой, ушел.

— Пойдем, Маринушка, со мной, увезем на санках,— засуетилась Анисья.

Марина злобно бросила:

— Одна вези! Всю жизнь везла, ну и вези еще, а я вам не кляча!— и тряхнула руками, словно смахивая с них путы.

Анисья оторопело смотрела на сноху. Она не сразу поняла, что та отказывается ей помочь. Это было непостижимо.

За мукой пошли в воскресенье мать и Талька, свободная в этот день от работы на пожоге.

Еленка побежала за ними.

Радости в детстве так же неожиданны, как и печали. Но чем они неожиданнее, тем дольше их помнят дети, иногда всю жизнь несут память о коротких минутах счастья. Девочка взгромоздилась на санки. Талька гикнула и побежала. Еленка крепко держалась за веревку, чтобы не выпасть. Когда санки остановились у

массивных, окованных железом ворот дома купца Бадрызлова, Еленка не хотела вылезать из них, не хотела, чтобы так скоро кончилась радость.

— Хватит,— хмуро сказала мать, и Еленка перестала чувствовать себя маленькой. С испуганным, как у матери, лицом смотрела на ворота, в которые стучала Талька.

Во дворе раздалось сухое принужденное покашливание; ворота чуть-чуть приоткрылись. Мать и Талька низко поклонились. На улицу вышел старик в длиннополом сюртуке, с запавшим ртом и маленькими колючими глазами. Сухие пальцы его теребили на груди цепочку от часов. Старик быстро закрыл за собой ворота, словно боялся, что женщины ворвутся в дом.

— Что вам надо, красавицы? — торопливо спросил он.

Мать, задыхаясь, сообщила:

— Дерябины мы...

Последней входила во двор Талька. Тяжелая окованная дверь с визгом захлопнулась. Купец припер ее ржавой задвижкой.

Из избы вышел сын старика Бадрызлова Семен. У него были веселые глаза, прыщеватый рот, рыжие усики, хвастливо закрученные, из-под пиджака свисали пышные кисти пояса. Еленка смотрела на него во все глаза, как на красавца.

Увидя строгое лицо Тальки, Семен остановился, словно остолбенел от удивления.

Старик тоже смотрел на Тальку, крякал и шамкал впалым ртом:

— В долг давать каждому пьянице — себе дороже: всю голь не накормишь. Это уж вам только предпочтение оказываем...

Он говорил одной Тальке и кружился, как конокрад вокруг облюбованной лошади, ощупывал ее колючими глазами.

Амбар был заставлен мешками с мукой. Еленка спросила:

— Это все нам, мам?

Старик засмеялся коротко, похлопал Еленку по голове:

— Ха-ха! Девонька какая вострая...— И вдруг заторопился:— Ну, берите один, да я запру здесь. Сеня, ты помоги им.

Семен подскочил к клади, взялся за мешок и стал его дергать, и мать тоже подергала пыльный мешок, но Талька тихо отстранила мать и взглянула в задорные усы Семена.

— Сама я,— сказала она, подняла мешок на спину и понесла, но мимоходом глянула на Семена и ухмыльнулась.

Старик, звеня ключами, закрывал амбар и восторженно шепелявил:

— Вот так девушка, вот так работенка.— И тут же стал допрашивать Анисью:— Сколько же ей годков-то будет?

— Восемнадцать минуло,— угодливо отвечала та, а Талька, широко шагая, вывозила санки с мукой за ворота.

XI

Это было зимой. А в конце лета Еленка играла с куклами в свадьбу Тальки с Семеном Бадрызловым.

Для каждого лица у нее находились особые слова: и Талька, и Семен, и старый Бадрызлов — все имели свой голос, свои жесты, свои особые чувства. Еленка говорила за всех и действовала так, как эти люди, по ее мнению, действуют в жизни. Часто она была одновременно и Талькой и Семеном, а то одна из кукол исполняла роль того и другого. Эти перевоплощения кукол и ее самой настолько захватывали, что девочка запутывалась, теряла себя и как-то спросила Анисью:

— Мама, я кто?

Но той некогда было вникать в мир девочки, и Еленка ответила себе сама:

— Сваха я. Смотрите, я как хожу: и хвост по полу. А сейчас я девку замуж пристраиваю.

«Пристраивать девку замуж» Еленка убралась под полог и приказала:

— Кланяйтесь!

Куклы в ее руках послушно поклонились. Девчонка затараторила елейным голоском:

— Наш купец, ваш товар. Сколько придачи просите?— и скомандовала, посадив кукол к стене.— Садитесь теперь!

— Без придачи обойдутся,— уже по-другому, грубо объявила она,— какая придача за девку с пожога? Это парень мой с ума сошел, каждый день мимо окон ва-

ших дорогу меряет. И то, против девки мне сказать нечего, всем вышла.— Это Еленка говорила басом, подражая старому Бадрызлову.— Зря ты ревешь: Семен — один сын в семье. Будешь сама хозяйка, сама барыня. Пестрядину на бархат выменяешь. На пожоге себя не прокормишь: с Лизкой Пряхиной немного заработаешь!

И уже своим голосом Еленка подсказала одной кукле:

— А ты будто Семен, и рот у тебя как мухи объели — весь в прыщах... Понарошку говори.

И снова по-взрослому грубовато и задорно Еленка закричала:

— Наше вам почтение, Наталья Николаевна!

Настоящая Наталья Николаевна, Талька, рванулась от окна к куклам и с плачем сорвала полог. В бешенстве она хлестала ошалевшую Еленку пологом и топтала ногами кукол:

— Вот вам! Нате!

Она охрипла, нос у нее распух от слез.

Еленка заревела, не понимая поведения старших, ткнулась матери в колени. Анисья, перебирая ее волосы, задумчиво говорила:

— Все вы, молодые, тянетесь к тому, что приятно, а мы уже горя откусили, нас манит то, что нужно...

— Откажись от жениха-то... — сердито посоветовал Тальке Андрей.

Но даже Еленка понимала, что отказаться было уже поздно: Талька всем подкупила молодого Бадрызлова. Ему не хотелось упустить красивую и скромную девушку.

— Ее красоту век не износить. Хоть в шелк наряди, хоть опорки надень. Плоха, что ли?— хвастался парень.

— Ты перехитри отца-то,— учила Марина Тальку.— Уж если тебе неохота идти, так и добром с отцом можно уладить. Проси у него приданое. Если не дашь, не пойду, мол. Да и старик Бадрызлов приданое требует. К богатым надо с приданым выходить. Когда замуж одну красоту выносят, она скоро линяет. Ну, а где твой отец приданое возьмет? Вот сразу и освободишься. А словом-то ему не прекословь.

Она не прочь была уже посмеяться над свекром, захотевшим влезть в родство к купцам.

— Хоть лыком шиты, да баре! Только то и богатство, что черные брови да глаза-бусинки.

Талька смеялась с ней вместе: может быть, Марина учит правильно, и тогда она останется дома, будет работать на пожоге, а по вечерам рассказывать ребятам сказки. Еленка смотрела в счастливое, сразу похорошевшее лицо сестры и тоже смеялась, хлопала в ладоши. Талька поймала сестренку, притянула к себе, сказала:

— Сказок я много новых придумаю...

В тот же вечер Талька неожиданно объявила отцу:

— Замуж я без приданого не пойду.

Отец повернул к дочери грозное лицо:

— Будет шлепать-то!

Несколько дней Дерябин был озабочен. По ночам вздыхал, ворочался с боку на бок. Раз после работы он потребовал чистую рубаху, оделся и ушел.

Анисья открыла окно и смотрела вслед мужу, стараясь догадаться, о чем думал он эти дни.

Была осень. С тополей слетали желтые листья. Ветер мел их по дороге, а отец топтал большими ногами.

В избе тихо, слышно, как скрипела над крышей скворечня. Мать, притворив окно, поднялась, посмотрела на иконы. Но тишина не исчезала от ее движений, и Еленка громко сказала куклам:

— Счастливый родился.

Сказала и вмиг поверила, забыв, что слова эти из Талькиной сказки; запрыгала по избе, громко стукая пятками:

— Счастливый родился, счастливый родился!

Мать, чем-то очень рассерженная, крикнула:

— Замолчи!

Значит, счастливый еще не родился.

Хорошо бы иметь большой дом, чтобы вышки его врезались в самое небо: тогда можно было бы подниматься и подниматься до небесного чердака, а оттуда посмотреть на землю, увидеть ее как на ладони. Тогда можно было бы узнать, родился ли тот счастливый, о котором рассказывала когда-то Талька, и взять свою долю счастья. Может, счастливый уже давно родился, а люди в суете не заметили этого?

К ним пришла Феша и сообщила, что Дерябин продал Савкину за приданое лошадь. «А лошадь много ли стоит, старая да изробленная?»

Следом за Фешей к воротам дома на телеге подвезли зеленый сундук, окованный с одной стороны медью.

Настасья Деревянный Гром вбежала следом за телегой во двор, но Дерябин вытолкнул ее и припер ворота палкой.

Вдова закричала на улицу:

— Смотри-ка, Дерябины торговать собираются!

И кто-то добрым густым голосом ответил:

— Не бай! Торговать не торговать, а живой товар сбывать надо!

Еленка, выбежав навстречу богатству, влезла на телегу, погладила ладонью обшивку на сундуке, посчитала узоры и разочарованно спросила:

— Только один ящик за Тальку заплатили?

Найдя на улице Клавку Пряхину, Еленка похвастала:

— А нам сундук привезли в золоте...

На улице стояли соседки. Лица их были вытянуты, испуганы, словно случилось что-то тревожное, нарушившее покой околотка.

Настасья Пряхина поманила Еленку к себе и спросила, стараясь вычерпать из девчонки то, чего та и не знала:

— Сундук-то с чем?

Никогда Еленка не чувствовала себя такой нужной на земле. Пожалела, что сундук только один, выпалила:

— Потом еще привезут.

Талька возвращалась с работы поздно. Приходя, часто валилась на кошму голодная и неумытая, лишь бы лечь, протянуть опухшие от повседневной ходьбы ноги, положить уставшие от тяжести руки.

— Сегодня, наверное, и спать не ляжет,— посмеивалась Еленка.— Все будет наряды перебирать...— И закричала навстречу сестре: — За тебя один сундук дали!

Сундук стоял посреди избы.

Как только вошла Талька, отец открыл его и стал доставать большими неумелыми руками одну за другой белые тонкие вещи.

— Выморщила ты у меня,— сказал он дочери добродушно.

Талька села, положив голову на стол. От сундука пахло свежей стружкой и лесом. Еленка мешала отцу, попадала под ноги, он мог ударить ее, но девочка была слишком заинтересована всем, что происходило в избе, и забыла о привычном страхе. Наряды разворачива-

лись и укладывались отцом в беспорядке на стол, перед Талькой.

Мать подошла, погладила Талькины волосы и сказала:

— Мила ты моя дочь...

Талька подняла лицо, посмотрела матери в глаза и, схватив ее руки, стала их ощупывать все, от плеча до пальцев и снова от плеча до пальцев.

— Мамонька родимая,— шептала она одно и то же,— мамонька!

— Дают — бери, бьют — беги, — шепотом учила Анисья.— Может, хоть одной тебе счастье выпадет. Не вздумай отказаться!

А Талька, как слепая, ощупывала мать и всхлипывала:

— Родименькая! Ильки-то нет... Он бы заслонил меня.

— Ильку ты не трогай,— мрачно произнес отец.— Илька все счастливую долю людям найти хотел, да ожегся. А мы сами как-нибудь обойдемся. Тебе вот счастье валит, так не беги от него.

В конце концов матери хорошо то, что хорошо детям. Анисья не выдержала, вырвалась из рук дочери, столкнула со стола на пол ворох дорогого тряпья и закричала:

— Не отдам за купца дочь!

Отец побледнел:

— Слово свое менять? Николай Дерябин — хозяин своему слову!

Но мать твердила:

— Не отдам!

Отец ударил ее по лицу и снова замахнулся.

Перед ним встала Талька, рванула его страшную руку и сказала:

— Иди к попу: согласна я.

И так, не умывшись, черными руками начала скидывать в сундук свое приданое, оставляя на белых сорочках и шторах грязные пятна от пальцев.

XII

По вечерам в избе Дерябиных собирались подружки невесты: шили белье, вязали скатерти и пели песни. Талька сидела среди них нарядная и безучастная ко всему, даже к песням.

Еленка ползала по полу, подбирая лоскутья. Теперь можно хорошо одеть кукол. Как-то она попросила сестру:

— Сшей мне куклу-тятю, так же сидишь без дела.

Талька стала шить куклу; девушки смеялись, глядя на ее ребячество:

— Ты жениха попроси сшить, Елька. По жениху она иссохла.

Дома опять было интереснее, чем на улице. Здесь часто торчала Клавка Пряхина. Сейчас девочки стояли возле Тальки, удивляясь про себя умению взрослых шить из бросовых лоскутьев настоящие куклы.

Кукла вышла большая. Талька надела на нее штаны, рубаху, нашила на голову лоскут черной овчины, на подбородок — другой, а белое лицо намочила и стала разрисовывать карандашом.

По мере того как кукла приобретала сходство с человеком, Клавка все более мрачнела от мысли, что у нее такой куклы нет.

— Мне мама не дает шить, ниток, говорит, нет...— жаловалась она дрожащим голоском.

Черные волосы и борода делали лицо куклы особенно белым, нашитые брови нависли, фиолетовые глаза смотрели сурово — все было, как у отца; но рот куклы искривился, углы губ остро поднялись кверху, черные усы, нашитые Талькой, задорно топорщились, так что у отца получилась счастливая веселая улыбка.

Никогда в жизни Еленка не видела, чтобы отец смеялся. Пораженная, схватила куклу и с криком побежала к матери:

— Мама, тятя хохочет!

...Настал день свадьбы.

Невесте, как требовал обычай, не давали есть, закрыли ее в чулане с пыльным крошечным окном. Там расплели ей косу, причесали, надели белое платье.

Она позволяла подругам делать с собой все, повертывалась перед ними, склонялась, если нужно было сделать складки на лифе.

Когда девушки уходили из чулана, Еленка шепотом рассказывала сестре о том, что делается в избе.

— Баб много, все о тебе судят. А мама ревет... Бабы ей говорят: «И что ты, Аниска, ревешь?» А она все ревет. Андрейка в огороде скворешню чистит. Мама его обедать звала, так он говорит: «Сами ешьте, а я

на такой свадьбе не гость». А в скворешне воробьи жили, вот он их и выгнал.

Талька молчала. Лицо ее в рамке восковых цветов казалось больным. Еленка же мечтательно шептала:

— Будешь ты купчиха, как Фекла Григорьевна. Краше всех.

Невеста сидела на старом, из толстого дерева сундуке, опустив тяжелую от убора и от дум голову.

— Иди скажи маме, пусть она не ревет. У тебя, мол, еще я осталась,— попросила она.

Еленки долго не было.

Возвратилась она с ворохом кукол и, расставляя их в углу под паутиной, сказала:

— Унесла я их, чтобы тятя не пропил.

Талька погладила сестренку по плечу и еле слышно шепнула:

— Ты без меня помогай маме. То пол подмети, то чашки вымой, хватит в куклы-то играть.

Послышался перезвон бубенцов. Это приехал жених. Талька забилась в угол и смолкла.

Еленка деловито попросила сестру:

— Покарауль кукол, я пойду посмотрю, как-то наш купец сегодня нарядился.

Говор в избе стих. Девушки запели:

Ой, солнышко, ой, солнышко,
По-за лесу шло.
Ой, девицу, ой, девицу
По застолью ведут.

За Талькой прибежали Лиза Пряхина и Марина, торопливо поцеловали ее. Лиза, закашлявшись, отвернулась. Потом взяли невесту под руки, как немощную.

Талька была покорна и молчалива.

Ой, бросила ключи
Вдоль по лавочке.
Я тятеньке да не ключница,
Я маменьке не ларешница.

Талька подняла голову и увидела напомаженную, плоскую прическу жениха. Жених поклонился, но за невесту ответила поклоном Еленка.

Жених не заметил этого. Бледное лицо невесты, пышный венок над темными волосами и наряд — все было хорошо. Семен ухмыльнулся и поклонился еще раз. И снова ответила ему Еленка.

Бабы улыбались, подталкивая друг друга. Кто-то догадался втащить Еленку за руку в толпу.

Нужно было исполнить целый обряд жестов, поклонов и слов, а Талька сидела в переднем углу не мигая, не двигаясь.

Наконец в полной тишине девушки запели «лебедь-песню», которую не могут без рыданий слушать даже старухи.

Отставала лебедь белая
От стадичка лебединого.

В толпе завздыхали бабы.

Тальке нужно было выть, бесноваться, бить руками стол в страшном горе и повторять причеты от сердца. Но Талька молчала. Это было неприлично. Бабы переглядывались, укоризненно вздыхали и говорили пророчески:

— За столом не ревет, так за столбом повоет.

Приставала лебедь белая
Ко стадичку, ко серым гусям...

Девушки взяли песню высоко, с визгом, так, как нужно, долго тянули, а последние слова строфы торопились сказать. Песня рвала за сердце, и Настасья Пряхина завыла, обтирая с лица крупные слезы.

Лебедь белая да девка красная,
Свет Наталья Николаевна.

Это был вызов Тальке, решительный и злой. Она должна подхватить плач.

Лиза Пряхина потрясла Тальку за руку.

— Вой: на кого, мол, ты меня спокидаешь, родима маменька...— подсказала она и закашлялась.

Кашляла Лиза постоянно, с каждым днем бледнела и чахла. Зарабатывала она мало. И вдова Деревянный Гром проклинала дочь: «Скоро ли ты околеешь, не наработаться на тебя!»

— Вой! — просила Лиза подругу и, не в силах больше сдерживаться, громко всхлипнула.

Талька взглянула на нее и бессмысленно улыбнулась. Песня шла дальше:

Ее стали гуси щипати...
Не щипите, гуси серые:
Не сама собой залетела к вам,
Занесло меня погодою,
Погодою-неволею.

Шумно вошел в избу старик Бадрызлов и балагурно спросил:

— Веселая ли невеста?

Бабы зашумели:

— Не ревет, не воет!

— Чего выть, за богатого идет!

— Тоскливая свадьба, и посмотреть не на что.

Настала пора благословлять молодых. Тальку вывели на середину избы и поставили рядом с женихом, но в доме не нашлось половика под ноги молодым, и их поставили на голый затоптанный пол.

Сваха, шумная и пронырливая, с лиловым цветком в прическе, сновала по избе и кричала:

— Надо бы от жениха ковер привезти!

Цветок в прическе свахи чопорно покачивался.

Она сдернула полог, закрывающий мир кукол, потрясла им, чтобы показать всем дыры, и бросила в ноги невесты. Талька переступила на него под хохот толпы.

Старик Бадрызлов благословлял долго, тщательно ставил кресты на головах молодых.

За ним благословлять должен был отец невесты, но его в доме не оказалось.

Дружки поехали в поиски по разным концам поселка. Пока они ездили, молодые все стояли на рваном пологе. В избе было душно и тихо.

Дерябина нашли в канаве, у забора. Он был бос, без шапки. Черные волосы и борода спутались, а ноги заплетались, когда дружки волокли его под руки. Он упирался, но шел, подталкиваемый сзади.

Талька увидела отца и заплакала.

Бабы хохотали громко, не стесняясь:

— Нашла время слезы показывать!

Жених улыбался перекошенным лицом.

Дерябина подвели к молодым, сунули ему в руки икону. Он постучал иконой по голове жениха.

После того как молодых увели, Анисья нарядилась в лучшее платье и сидела в опустевшей избе, свесив голову, словно дремала. В церковь на венчание родителей не пускали.

Еленка снова устроила кукол под лавкой. Андрей бил медной заглушкой от самовара по очагу и слушал звон. Заглушка гудела тревожно-весело, как набат.

— Перестань,— сказала Анисья.

Звон прекратился, и ждать стало еще тяжелее. Стемнело. Отец, лежавший на полу, встал на четвереньки и промычал что-то.

Дети следили за ним, в любую минуту готовые убежать, если он вздумает драться. Но отец поднялся и, болтая головой, как тряпичная кукла, ушел.

Анисья с плачем крикнула вслед:

— Иди шатайся!

Сама она тоже ушла, оставив детей одних. Вернулась поздно, пьяненькая.

— Хорошо у меня дочь заживет, слава тебе, господи. Может, и мы около нее отогреемся,— пробормотала она и, посмотрев на иконы в углу, рассмеялась.

XIII

Каждый день с утра до ночи мать с Мариной стирали, гладили чужое белье, а ночью Марина стонала от боли в пояснице.

По воскресеньям свежее белье разносили по заказчикам, заменяя его узлами новой стирки. Этой жизни не было конца!

Чтобы Марина не хмурилась, Еленка иногда говорила:

— Крови, крови я во сне видела — реки прошли! Яркая, даже глазам резко от нее: писем много получим...

Но писем не было.

Марина ненавидела свекровь, которая никогда не жаловалась на тяжесть труда и бойко стучала корытом, ненавидела и темную сырую избу, пропахшую потом и мылом, не могла без раздражения видеть Еленку, прожорливую девчонку. Эта хныкалка вечно стонала, чтобы ей дали хлеба. Она была ненасытна, как бездонная бочка, а Марине приходилось ломать спину, чтобы накормить ее.

Сейчас девчонка старалась поставить на ноги куклу. Марина, прекратив стирку, нагнув голову, с ненавистью следила за ней.

— Иди шатайся!— сказала Еленка сквозь зубы.

Кукла болтнулась и шлепнулась на спину. Увидев, что кукла смеется, Еленка ткнула ее кулаком.

Лохань на лавке протекала, грязные капли неслышно просачивались в самый угол, и от кукол пахло плесенью.

— Крыша у нас прохудилась,— суетливо сообщила Еленка,— а все дожди да дожди.

От корыта матери тихо полз узенький серый ручей. Вот он наткнулся на лежащую куклу, медленно подполз под нее и пошел дальше к стене.

Еленка стала делать плотинку, тормозить рукой течение грязной лужи.

— Это у нас пруд будет,— объявила она и вдруг встревоженно ахнула: — Пьянчуга тонет!

Куклы в ее руках бросились вытаскивать пьянчужку из воды, куда завел его дикий хмель. От лужи пахло грязью и мылом. Еленка осуждающе покачала головой.

— Вот ведь вино-то что делает. Человек, как свинья: везде валяется!

Марина снова остановила стирку и заржавленным от долгого молчания голосом сказала:

— Погладь хоть платочки! Хватит тебе с куклами возиться!

Еленка начала гладить; вспомнив, что пьянчужка остался головой в луже, крикнула куклам:

— Вытащите его, а то налопается грязи-то.

Стоило прикоснуться утюгом к мятым и сырым еще платкам, как от них шел пар, складки сглаживались, и сразу было видно, какие хорошие чистые люди утираются такими платками.

Одним платочком девочка обмахнула себе лицо, мазнула под носом. Платок был еще теплый от утюга. От рук и от носа Еленки на нем остались пятна.

Она не испортила ни одного платка, но обожгла палец, прикоснувшись к ручке утюга; хотела зареветь, но мать, оглядев стопочку платков, радостно вздохнула. И Еленка, полизав ожог, попросила:

— Чего еще гладить, давайте!

Мать сняла с веревки, протянутой в избе, несколько тряпок. Еленка погладила и их, думая о том, что вот она уже помогает взрослым, и, когда к ним придет Талька, Еленка скажет ей об этом и о том, что обожгла руку.

На другой день девочку снова позвали гладить чужое белье. И так стало повторяться часто. Теперь, если

Еленке удавалось посидеть у кукол, она не играла, а молча ждала, когда позовут.

А мать уже не просила, а приказывала коротко:

— Иди гладь! Чашки вымой! Подмети...

И она делала все, что поручали, точно так же, как куклы когда-то в ее руках. Скоро она стала браться за работу сама и была рада, если мать не поправляла ее.

Когда ей хотелось плакать от усталости, мать улыбалась и говорила:

— Милая ты моя дочь! Вот уж и последняя у меня помощница.

Или:

— Кошку не заставишь помогать, а на дочь всегда уж надейся!

Усталость Еленки проходила.

Только Марина хмуро глядела на всех белесыми глазами.

Однажды она пнула со злобой кучу грязного белья и объявила:

— Хватит! Мне охота и для себя пожить! Ломайте одни!

По оголенным рукам ее, от локтей к пальцам, сползала и капала на пол серая пена.

— А что есть будешь, сношенька? — спросила Анисья, не переставая стучать корытом.

Плача от злости, Марина выкрикнула:

— Ты только и толмишь: «Ниже себя смотри!» Я не хуже других! Так ли я жить-то могла, если бы хотела! Получше мамы! Небось и мне подарки подносили!

Анисья встревоженно посмотрела на сноху, опустив руки в корыто.

— И что тебе не живется? Я вон всю жизнь лапти ношу, да провековала!

— Уйду я! Уйду,— твердила Марина, рыдая, и убежала, громко хлопнула дверью.

— Придешь! Деваться-то тебе некуда,— пробурчала мать, снова принимаясь за стирку.

Но Марина не пришла. Через неделю она забежала, одетая в белое шелковое платье, как невеста; желтые, как кудель, волосы ее были взбиты в модную прическу, маленький яркий рот кривился в смущенной усмешке.

Когда Анисья спросила сноху, как же она устроилась, та только тихонько поежилась и начала собирать в узел свои вещи.

Прощаясь, Марина поцеловала свекровь прямо в губы. Вдова Деревянный Гром, увидев Еленку на улице, сказала ей:

— Ваша Марина теперь у Савкина живет... кабак отделал, и там она поселилась, по вечерам к ней солдатки собираются. Весело живут! Дом — скворешня, солдатки — птахи.

Еленка также нараспев, прикрыв глаза, как вдова, рассказывала матери о Марине, но та ударила ее и приказала:

— Замолчи!

Стирая белье, Анисья поднимала голову и, казалось, прислушивалась к чему-то, плечи ее вздрагивали, слезы капали в корыто, тонули, оставляя ямки в белой пене.

Еленка тоже готова была зареветь, хоть и не понимала, отчего плачет мать. Раз как-то девочка сказала:

— И что ты все ревешь? Ну, давай я тебе помогу, если тяжело...

Мать из кучи белья выбрала платочки и другие мелкие вещи, поставила на лавку второе корыто.

Одну из кукол Еленка посадила к корыту.

— Учись!

Но сама девчонка стирать не умела и скоро сорвала платками кожу с пальцев. Теперь она не думала, что такими платками утираются хорошие люди; эти люди — грязные и недобрые. Ненавидя платочки, обшитые тонким кружевом, она и на другой день стирала их, а ночью, когда легли спать, заплакала, и мать долго перебирала ее тоненькие пальцы со сморщенной от щелока кожей, дула на них и шептала:

— Привыкай!

Так стало повторяться каждый день. С утра до ночи мать и маленькая дочь стояли над корытом, над ними на веревках сохло белье, в избе стоял запах пота и пара.

Когда гудел завод, мать говорила:

— Отдохни, гудок ревет для отдыха людям.

Еленка изучила гудки.

В одиннадцать завод гудит один раз, в три часа дня — два раза, а в шесть часов снова раздавался один

гудок, низкий, тревожный. Каждый день во время гудка девочка вздыхала.

— Одиннадцать гудит, теперь три будем ждать... Вот и шесть заревело...

XIV

По ночам Еленка слушала, как над избушкой выл ветер и снег стучал в стекла.

Анисья стонала, это значило, что мать засыпает. Еленка жалась к спящей матери и закрывала глаза, но спина ныла, а перед глазами снова кипела пена в корыте, и руки начинали вздрагивать и двигаться, будто при стирке.

По воскресеньям не стирали. Было скучно. Девочка садилась к окну, дула на замерзшее стекло, смотрела в светлую проталинку, как по улице пробегают ребятишки с санками к горе.

Корыта Анисья выносила во двор, белье запихивала под лавку; когда нужно было затереть лужу у лохани, она доставала из-под лавки чьи-то юбки и терла ими пол, а потом снова швыряла в кучу белья: эти юбки нечего было беречь. Они принадлежали богатым, которые не умели их выстирать сами. Тем же, кто это делал для них, они платили гроши, на которые нельзя купить даже вдоволь хлеба. Анисья злилась, когда думала об этом. Будь у нее деньги, она не стала бы нанимать бедняков, чтобы смыть грязь со своих юбок. Она прежде всего одела бы детей, чтобы те могли выходить на улицу, а не выглядывали бы из окна, как сироты.

Чтобы девочка не томилась, мать напоминала:

— Куклы-то, наверное, стосковались. Слышь, ревут.

Как-то Еленка выставила кукол на окна, чтобы и они развлекались видом веселой морозной улицы.

С полдня стекла оттаяли, на подоконниках образовались лужи. Чтобы куклы не замочили ног, девочка взяла их на руки.

Мать рассмеялась, и она, стыдясь, поспешно собрала кукол и сунула в угол. Даже не посадила, а бросила в беспорядке; сама же села к окну и принужденно зевнула.

— Завтра мы, пожалуй, эту стирку-то закончим,— сказала она.

Но когда мать унесла готовое белье к заказчикам, Еленка влезла к куклам и начала приводить в порядок их жизнь.

К ней забежала Клавка Пряхина, но и ей Еленка тоскливо сообщила:

— Я так тут сижу, я уж не играю...

Клавка тоже не играла.

В начале зимы у Пряхиных умерла Лиза. Она работала на пожоге до последнего дня. С пожога ее привезли домой в угольном огромном коробе. Таская руду, Лиза закашлялась, пошатнулась и, выплевывая кровь, села на стоптанную снежную дорогу.

Провожая дочь на кладбище, Деревянный Гром причитала:

— Кормилица ты моя желанная! Не пожила ты, не покрасовалася...

Теперь девочки думали о том, что им уже по восемь лет, пора приниматься за жизнь всерьез.

Клавка упрямо поджала губы, и так они сидели с куклами, важные и надутые, воображая себя взрослыми и сердясь на кукол за то, что те существуют.

Не выдержав, Еленка сказала:

— Валяются, лентяи, нет чтобы рубахи выстирать.

Но скоро и она сама надолго перестала стирать. Простуженная, измученная долгим стоянием у корыта, мать слегла. Отца не было дома третий день: искал хлеба в деревне.

На Еленку легло много забот. Чтобы в избе было тепло, она выбивала топором тычинки забора, отгораживающего двор. Так она сожгла весь забор, и метели намели во двор огромный сугроб снега, из-за которого видны были только гнилые столбы.

Есть хотелось каждый день. Чтобы достать муки, девочка часами стояла в очереди у лавки Бадрызлова. Домой приходила окоченевшая, с красным носом, зачастую в слезах. Греть руки и нежиться было некогда. Еленка прибирала в избе, слушая, как вздыхает мать. Чаще всего больная говорила о телеге:

— Господи! Украдут у нас телегу-то! Сколько времени под снегом стоит... хоть бы купил кто!..

Однажды Еленка услышала, как мать молилась:

— Прибери меня, господи!

Еленка выскочила в ограду, как была, босая в одном пестрядинном платье, с куклой в руках, и опусти-

лась на колени на запорошенную снегом тропу, утонувшую в сугробе, а куклу поставила рядом.

— Молись! — и посмотрела в косматое небо, но слов молитвы не было.

Кукла не умела стоять на коленях и упала на спину, смотря лиловыми глазами в небо и посмеиваясь. Еленка еще раз взглянула в белую глубину и, вздрагивая от холода, сказала:

— Господи, спаси ты мамины ноги и тятину телегу!

XV

Андрей приходил домой редко. С тех пор как Анисья заболела и в доме нечего стало есть, Феша, боясь, что мальчишка будет потаскивать, не отпускала его к своим.

Савкин все расширял торговлю, сам украдкой продавал вино, Феша торговала ситцами и мукой. Им удалось сговориться с Бадрызловыми, и они установили на муку одну цену. Очереди к Бадрызлову исчезли, теперь покупали муку и у Савкина, но смотрели покупатели недоверчиво, злобно. Цены были высокие. Кабатчик взял трех работников. Они привозили откуда-то на лошадях целые обозы муки, и Савкин часто говорил батракам:

— Вот она, война-то, что делает! Не было у вас работы, а теперь есть, не было у меня наживы, а теперь есть. Железные дороги не действуют — пожалуйста, я лошадей завел.

Как-то ночью Феша разбудила Андрея:

— Иди, сам требует.

И, как нечто особенное, сюсюкая и помахивая перед лицом парнишки рукой, сообщила:

— Бадрызловы у нас, слава тебе господи... И Тальку, твою сеструху, с собой вывели. Разодели ее, как царевну, а она ни ступить, ни молвить не умеет.

Андрей пошел за Фешей в комнаты, откуда несся пьяный гвалт и хохот.

В узких пестрядинных штанах, из которых он вырос, в малой рубахе, босой, с запутавшейся соломой в волосах, Андрей был встречен взрывом смеха.

— Вот так франт!

— Откуда такого выписали?

Гостей было много, каждый из них кричал что-то по адресу Андрея, а тот стоял, несмело переступая с ноги на ногу.

Савкин сунул ему скрипку:

— Пили «Ах вы, сени»!

Андрей послушно взял скрипку под подбородок, и тонкие пальцы его забегали по грифу.

Гости затоптались по комнате. Пьяные ноги не держали. Развеселившиеся женщины падали, визжали; пахло потом, вином и духами.

Семен Бадрызлов с тупыми, обезумевшими глазами плясал под неумелую игру Андрейки, безобразно выбрасывая ноги, прыгая и вытаскивая в круг женщин. Прыщавые щеки его потряхивались.

— Печенка веселится! — кричал он.

Потом Андрейка играл «Во саду ли, в огороде», «Камаринскую», «Барыню».

Талька сидела у окна в тени и смотрела на брата не мигая. У нее дрожали губы. Андрей опустил голову, и музыка прекратилась.

— Пили! — кричал ему Савкин.

Но Андрей все стоял, исподлобья оглядывая сестру. Одетая в розовое шелковое платье, с кружевными оборками на груди, она была так красива, что Андрей не мог отвести глаз от нее.

Что же она не пляшет?

Парень снова торопливо начал играть какую-то плясовую, вызывая сестру, зная, что никогда не простит, если она будет кружиться перед ним в пляске, шуметь шелками. Но и хотел, чтобы она плясала.

— Ай же музыкант!

— Весело живете! — кричали гости.

Готовый зареветь, Андрей опустил скрипку. Вся пьяная орава, требуя музыки, кружилась вокруг него.

— Граммофон под нашу пляску не играет!

— Веселенькую бы...

— Рюмочку музыканту, веселее заиграет!

Кто-то совал ему прямо в лицо рюмку с красным мутным вином. Кто-то сорвал с ковра ружье и тыкал им в сторону Андрейки.

— Играй, тебе говорят! А то душу отдашь!

Андрей поднял голову, посмотрел на ковер, на каждое ружье в отдельности, словно пересчитывая их, закрыл лицо рукой и, прижав скрипку, пошел прочь. За

ним погнался кто-то с ругательствами, но в это время сильный бархатный голос громко начал песню:

На зеленой луговине
Горит печальная луна...

Андрей остановился в сенях, прислушиваясь. Пела Талька. Голос взвивался, страстно рокотал, вырывался из самой глубины женского сердца.

Здесь, в сенях, ткнувшись лицом в пыльную стену, Андрей плакал. Ему было жаль себя, жаль сестры, которая так безумно разбрасывает свои песни, раскрывает свое сердце перед чужими людьми.

Сестре кто-то подпевал:

Не слышно голосу родного,
Не слышно песни ямщика.

Голос Тальки затерялся в пьяном визге.

Андрея тянуло домой. Поздним вечером украдкой уходил он от Савкиных, а рано утром снова прибегал к ним.

Дома он каждый раз мечтательно рассказывал:

— Ружья всякие у них есть, а Савкин их в руки взять не умеет. Мне бы хоть одно иметь!

Ел Андрей много, как настоящий мужик.

Мать недовольно ворчала:

— Что тебе у купца не спится? От дарового хлеба на наши крохи бегаешь!

По воскресеньям Андрей приходил домой на целый день.

Еленка росла плохо: из-за корыта, поставленного на лавке, торчала только косматая голова. Андрей удивлялся, как она своими худенькими бледными ручонками ворочает в корыте тяжелые юбки. И по-прежнему много без умолку болтает обо всем враз:

— А в очереди говорят, что завод закрывать будут: топлива нет... Настасья Деревянный Гром Клавку по миру посылает, а та не идет. Я бы пошла: скоро лето, по улочке травка, птички поют, а я бы от окна к окну похаживала. Солнышком бы меня согрело и дождичком прополоскало!.. Одиннадцать гудит! Теперь три будем ждать...

Андрей снисходительно ухмылялся: «И трещотка ты, Елька!»

Но он видел, что дома живут трудно, безрадостно. Однажды он сказал матери:

— Маешься так, а дочь-то купчиха не поможет.

— Талькой ты меня не кори,— прикрикнула Анисья, побелев. Руки ее задрожали.

О жизни Тальки ходили нехорошие слухи: Семен часто пил, пьяный дрался. К своим ее не пускал. Анисья часто вздыхала:

— Не нашла, видно, и она счастья.

Сама идти к Бадрызловым не смела, боялась подвести дочь под побои.

Андрей ушел нахмуренный, а на следующий вечер с неожиданной лаской сообщил:

— Талька-то, говорят, хорошо живет, ты о ней не реви. Что им, богатым. Одна рука в меду, другая в патоке!

Еленка невесело рассмеялась и передразнила брата:

— Ой ты, сладенький язычок!

Однажды Еленка долго ждала гудка, чтобы отдохнуть от стирки. Завод молчал, а мать без гудка забыла об отдыхе.

— Гудка-то нет. Давно уж одиннадцать!

Спустя некоторое время Еленка, уже плача, сказала:

— Я все пальцы простирала. Теперь давно три есть!

Наконец молчанием завода встревожилась и мать, накинув на плечи шаль, вышла на улицу. Скоро вернулась бледная, напуганная.

— Завод прикрыли... Сколько теперь люду без дела, без копеечки будет! Топлива, вишь, у них нет, лес кругом стоит, а у них топлива нет. Провоевались. Отец-то у нас с горя последние штаны пропьет... Довоюемся до могилы!

XVI

Целые дни теперь отец был дома. Сидел у окна, вздыхал:

— Жены у Ильи нашего нет. Хоть бы написал, где он, жив ли. Как в воду канул... Очень он здесь сейчас нужен, Илька-то!

Выражение мрачной решимости на лице сменилось у него выражением испуга. Он снова перестал надеяться на хорошее.

Анисья советовала:

— А ты не тревожь. Думай, а не говори: сердцу легче.

Дерябин стукнул кулаком по столу:

— Сердцу легче! Какое они право имели завод закрывать! Завод-то я сам строил, еще маленький был.

Еленка очень удивилась, узнав, что отец был когда-то маленький. Значит, это неизбежно: все маленькие растут. Вырастет и она.

В избу к Дерябиным вошла Клавка Пряхина и от порога неожиданно пропела нежным голоском:

— Милостыньку, Христа ради!

Отец ответил:

— Бог подаст!

Еленка подскочила к матери и жалобно попросила, глядя снизу вверх из-под лохматых волос:

— Подай!

Анисья указала глазами на отца и не двинулась с места.

— Хлебушко-то ныне кусается! Бог подаст!— повторил отец, но так как Клавка не уходила, со злостью крикнул:— Попрошайка!

Еленка подбежала к куклам, схватила первую попавшуюся и протянула подруге.

Клавке мать никогда не шила кукол, а у Еленки их много, и эта — самая лучшая, настоящая кукла, подаренная Фешей. Эта кукла только не говорит, но умеет спать и смеяться.

Клавка взяла куклу, поправила на ней смятое платье, но, взглянув на Еленку, отдала куклу обратно. Упрямо сжав губы, пошла из избы прочь. Мешочек, привешенный у нее на боку, был пуст.

Еленка схватила куклу за черные блестящие ботиночки и швырнула к материным ногам. Голова куклы раскололась, и из нее выпали красивые глаза, связанные ржавой пружиной. Отец молча глядел на дочь. Он не прибил ее.

Вообще Еленка начала замечать, что дома отец держится робко, как чужой, даже помогал, приносил Анисье воду и часто растерянно спрашивал:

— Что делать-то, мать? Без работы пропаду я... как жить-то будем?

— Небось проживем,— отвечала всегда одно и то же Анисья.

Часто отец уходил на случайную работу, которой тоже становилось все меньше. Как-то он вернулся домой радостно возбужденный.

— Требовали мы завод пустить. Ох и поднялся народ! А они что? Руками разводят... Ну да мы еще поборемся.

И с такой же радостью сообщил:

— Телегу-то ведь я продал... Теперь опять с деньгами.

— Слава богу,— отозвалась Анисья.

Вновь на что-то надеясь, отец подобрел, однажды привлек к себе Еленку и жалостно спросил:

— Ну?

Она не знала, что ответить.

Отец увидел у дочери кровь на руках. Вся кожа на суставах была стерта, и из ранок выступали капельки крови.

— Это что?— удивился он.

— Это у меня болеток,— ответила сдавленно Еленка и спрятала руки за спину. Но отец достал их, стер большой сухой ладонью кровь и долго разглядывал маленькие сморщенные пальчики. Еленка неловко освободилась и спряталась у кукол под пологом.

Она слышала, как мать тихо произнесла:

— Измаялась девчонка, сладких дней не видит.

Еленке стало жаль себя, худенькую девчонку, которая «измаялась». Она легла рядом с куклами, словно пришла в гости в новый мир, устала дорогой и прикорнула. Отец осторожно прикрыл ее полушубком, но девочка вскочила и, испуганно глядя на родителей, оправдывалась:

— Ой, я только немножечко уснула, я выстираю...

Необычно было слышать смех матери, воркующий и теплый. Девочка тоже стала смеяться, а когда ей дали вдоволь хлеба, она поняла, что сегодня можно попроситься на улицу.

Вечерело. Небо было пустое и голубоватое, как снег. А снегу, свежего и пышного, целая пропасть.

Еленка направилась на берег посмотреть, намело ли под камнем хорошие сугробы и затянуло ли льдом прорубь. Ледок на проруби был тонкий, зеленый и гладкий, и снег еще не запорошил его. Еленка поставила на лед вначале одну ногу — лед не шелохнулся, потом другую. Девочке нравился страх, что можно провалиться в зеленую глубину, и она побежала по страшному темному, как сама вода, льду и закричала:

— Ой-ой, утону!

Под камнем, в сугробах, кем-то из ребятишек была выстроена избушка с трубой и со льдинкой вместо окна. Еленка вошла в нее, села там на снеговую скамью, отполированную водой.

Для ребят зима не прошла даром, это было видно. Еленка же всю зиму стирала чужое белье, а белье все не убывало. Она вышла из избушки, постояла перед ней и снова вошла робко, как к богатым.

— Здравствуйте,— поклонилась она.— Я к вам с отказом, стирайте свои постирушки сами!

Но эти слова и тон были слишком мирны и не могли выразить всей ненависти и протеста, накопившихся в маленьком сердце. Еленка погрозила кулачком и крикнула возмущенно:

— На вас не перестирать!

Было уже темно, когда она подбежала к своему дому.

В простенке между окон на улице стояла Талька, в бархатной шубе, в валенках и пуховой шали, и заглядывала в избу...

Увидев сестренку, Талька отскочила от окна прочь, но снова подошла, и они вместе стали смотреть.

Изба была чисто прибрана, чужое белье и корыта были вынесены в сени, на столе горела лампа.

Это было как в сказке: мать сидела совсем без дела, устало опустив на колени руки, а отец лежал на лавке, положив голову на полушубок, и оба они пели.

Сквозь одинарные рамы было слышно, как тонко и нежно начинала мать песню:

А соловья голос не знал я,
Вдруг грустно стало что-то мне...

На очаге сидел Андрей с изумленными круглыми глазами. С улицы казалось, что он не дышит.

Вздохнув невольною душою,
Я к быстрой речке подошел...

Песня вечно вмешивалась в жизнь людей, напоминала, что страданиям нет конца, и манила, и обещала лучшее.

Талька тихонько смеялась. Еленка почему-то подумала, что Талька притворяется, будто ей весело.

— Пойдем в избу, и песню с ними споешь,— шепнула она.

Талька не отвечала и все смотрела в стекло, а когда Еленка повторила, она торопливо зашептала:

— Хватятся меня дома-то, не сказалась я.

— Давно не пели, голос отвык,— громко вздохнула в избе мать. Отец не ответил ей и продолжал песню. Грудной низкий голос его свободно лился на улицу, трепетал, а сестры, прижавшись друг к другу, притаившись за стеклом, жадно ловили новые слова и звуки песни.

Луна свой лик изображала
В холодной зеркальной воде.

Талька прошептала, прижимая к себе Еленку:

— Ты не говори им, что я здесь была. Ни к чему им меня видеть: они от меня счастья ждут, а я сама его не нашла, не знаю, какое оно. Помочь ничем не могу: как за ворогом, за мной смотрят.

И улыбнулась виновато, как мать, когда Еленка просила у нее есть.

— Узнала я, что завод закрыли, тятя без работы, думала, пьяный, драться будет, вот и прибежала...

— А он совсем и не пирует. Как тебя пропил, так с тех пор и трезвый.

Талька, склонившись, стала целовать Еленку.

— Галчонок ты мой!

Поцелуи падали Еленке на нос, на глаза. Падали часто, как слезы. Еленка стояла, опустив длинные рукава материной кофты, ошеломленная, напуганная.

Наконец Талька пошла прочь, а вслед ей из избушки несся уверенный голос отца:

Речные волны серебристы,
И соловей пел вдалеке.

...Отец ошибся: рабочие не добились открытия завода. Деньги от продажи телеги быстро иссякли, и отец затосковал вновь. Все чаще и чаще он вспоминал Илью, жалел, что того нет дома, связывал с ним какие-то надежды на лучшую жизнь.

— Придет Илья, у-у, он-то добьется. Он их тряхнет, хозяев! Угнали умных людей воевать, а здесь нам и объяснить некому....

Однажды Дерябин объявил жене:

— Ну, мать, уезжаю с товарищами в Мотовилиху. Там сейчас завод расширяется, рук много требуется.

Отец взял с собой в Мотовилиху и Андрейку. Елен-

ка долго и неутешно плакала от обиды, почему отец не ее взял с собой, но мать, поглядев еще раз на снежную дорогу, по которой бодро удалялись муж и сын, упрекнула:

— А ты ушла бы с ним? Так меня одну-одинехоньку и бросила бы здесь?

Еленка перестала плакать, нахмурилась и спросила:

— Сегодня стирать будем или нет?

Вечером к ним прибежала Марина. Лицо ее распухло от побоев, рукав шубки разорван.

Мать бросилась раздевать сноху, но модная шуба узка, и стащить рукав было невозможно.

Лицо Марины искривилось.

— Горшок с полки упал,— попробовала она пошутить, приоткрывая рот. Левая половина губ была вздута, и рот кривился, словно в безудержном смехе.

— Кто тебя?— закричала мать, как глухой.

Марина замотала головой и закудахтала. Трудно понять — смеется она или плачет.

— Счастье не батрак, видно, за вихор не притянешь. Живи-ка дома, лучше сохранишься... Илька придет, что мы ему скажем о тебе?.. А дома в нужде, да с честью. Бросай свою скворешню и переходи к нам. Отец совсем человеком стал. Вот хоть сегодня же переезжай. Я подмогу.

Марина, всхлипывая и болтая головой, как пьяная, пошла к двери. У порога постояла, улыбнулась чему-то вспухшими губами, махнула рукой и вышла.

Мать, накинув полушубок, заковыляла за ней, шепнув Еленке:

— Посиди одна. Провожу я ее, чтобы не утопилась.

Еленка прильнула к окну.

На пруду снег был сухой и чистый. За Кужимовкой краснела полоса неба, а над кабаком поднималась синяя луна.

Прорубь из окна не видно, но Еленка знала, что на елках, огораживающих ее, лежит снег, оттягивая ветки.

Проходя, Марина стряхнет с одной ветки снег, и ветка, освобожденная от тяжести, долго и легко будет качаться. Может, кто-нибудь недавно полоскал белье, одна половина проруби разбита, а другая затянута льдом. Вода в проруби темная и покойная. Долго будет стоять Марина над прорубью. Кому охота умирать?

Подойдет к самому краю, перекрестится и прыгнет в темную пропасть.

Задрожав, Еленка заревела.

Мать все не возвращалась. Надо утешаться самой. Марину было жаль.

Топиться она могла и подождать: всех бьют. Да и не верилось, что Марина решилась на это.

И точно: чуть оправившись от синяков, Марина вновь начала появляться на улице, щеголяя нарядами.

Однажды она увидела, как Еленка, стоя на дороге в материной ватной кофте, размахивала большими рукавами, будто пугало над горохом.

Марина, ковыряя башмаком снег, предложила девочке:

— Я тебе денег дам, а ты скажи, что нашла,— она оживилась вдруг и даже улыбнулась по-прежнему, как бывало.— Понятно? Мало ли разинь ходит. Шли и потеряли, а ты нашла да и принесла матери.

С тех пор Марина часто давала Еленке деньги.

Первые деньги, которые Еленка приняла, мать встретила радостно, тотчас же, вытерев мыльные руки, побежала по лавчонкам, к картошке на ужин появилось масло.

— Мила-то дочь пять рублей нашла. Все в дом, а не из дому!

Но когда Еленка принесла деньги еще и еще раз, мать уже не хвалила за находку, подолгу вглядывалась в лицо дочери и скучно говорила:

— Вырастила я детей, слава богу, не воров, не грабителей. Старших-то ребят отец шибко бил. Тебя вот не бьет, жалеет, поумнел. А вдруг узнает, что ты, к примеру, воруешь, с одного маху уложит!

Еленка с наивным спокойствием слушала мать. Она и без предупреждения жила в вечном страхе перед отцом. Но девочка не умела еще разбираться в намеках; тогда Анисья спросила прямо:

— Ты мне скажи, у кого деньги воруешь?

Хитренько подмигивая, Анисья твердила:

— Отец и не узнает, мы возьмем и отнесем обратно.

— Нашла я их,— повторила Еленка.— Бежала-бежала да и нашла на дороге.

Но настал день, когда лгунья должна была рассказать все. Она уже боялась Марины и побежала стороной, увидев ту на улице.

Догнав ее, Марина торопливо, не считая, сунула бумажки, одну за другой. Еленка не успела сказать, что дома ее ругают за воровство. Хитрости и уловок у нее еще не было, не умела скрыть или бросить деньги да и представить не могла, чтобы деньги, на которые покупают хлеб, можно было бросать. Она пришла домой и сразу выложила деньги на стол.

— Нашла...— сказала она и отступила к печке.

У матери задрожали губы: если еще дочь будет ее позорить, тогда нечего ждать больше от жизни. Анисья ударила Еленку длинной твердой рукой, хрипло крича:

— Воровка!

Еленке пришлось все рассказать.

Мать тщательно, до копейки, подсчитала, сколько же получено денег от Марины, чтобы при случае вернуть, швырнуть бесстыдной в лицо. Но когда в семье не было денег на муку, Анисья брала из тех, что натащила Еленка. Вначале со вздохом, со слезами на глазах, а потом и просто брала и покупала на них хлеб и соль.

XVII

К пасхе приехали домой отец и Андрейка.

Видимо, люди растут заметно, так как Андрейка очень вытянулся, стал угловат и неловок. Он восторженно рассказывал матери, что видел людей, которые не боятся говорить правду. Анисья сердито что-то шептала сыну. Он смеялся и утешал:

— Это хорошие люди, мама!

Отец хоть и молчал и совсем не вырос, стал тоже иным, собранным в движениях, спокойным, знающим себе цену. Говорил медленно, растягивая слова, оглядывал избу молчаливым и удивленным взглядом, словно впервые увидел свою жизнь, жену, дочь. Весь день просидел у окна, а под вечер достал из своей котомки книжку с загнутыми разбухшими углами и начал читать, близко поднося к глазам и шевеля губами. Потом, будто вычитав в книге укор себе, глухо спросил Анисью:

— Как Талька-то живет у нас?

Выслушав невразумительный ответ жены — та знала о жизни дочери только по слухам,— поморщился.

Еленка видела, что отец хочет еще сказать что-то, но, видимо, тяжелы ему стали слова, он странно замы-

чал и отвернулся. Мать быстро-быстро заговорила, утешая:

— Что сделаешь, отец, так получилось... Виноват ты, так ведь голову с себя не снимешь. Сейчас казни не казни себя — ничего не исправишь...

Отец как-то сник, голова его опустилась.

— Дуры они с Мариной-то... Куда расходуют себя! Да разве сил сейчас некуда девать?

Мать гордо выпрямилась.

— Тальку да Марину рядом не ставь: у них не одно горе.— И, словно испугавшись того, что слова ее больно ударили мужа, заглянула ему в лицо:— Рубаху какую наденешь к заутрене-то?

— Денег приготовили на свечки?

— Сапоги-то бы дегтем намазал.

Еленке мать сказала:

— Елюшка, ты в пасху с Мариной-то похристосуйся... веселей ей будет...

Перед праздником, чтобы сэкономить на свечи и на кулич, долго ели колоб, жмыхи мака и конопли, спрессованные в плитки для скота. Мать пекла из колоба булки, а Еленка ела его и так, обламывая кусочками от плит. Анисья подавала его на стол, добрым старушечьим голосом говорила:

— Нова-новинка в стару брюшинку!

— Дай мне еще новинки, мама,— просила девчонка.

Колоб прилипал к зубам, вязал рот, но зато в пасху они будут есть куличи из настоящей белой муки.

— А ты, тятя, опять в Мотовилиху уедешь? Теперь ты меня возьми вместо Андрея, он пусть с мамой останется,— тараторила Еленка.

Отец с Андрейкой рассмеялись.

— Андрейку здесь оставить теперь нельзя, он там нужен,— ответил отец.— А ты знаешь, мила дочь, что значит быть нужным? Вот жил-жил человек и не знал, для чего. И вдруг увидел: есть для чего. Люди в тебе нуждаются! Андрейку теперь никак нельзя дома оставить.

— А какая она, Мотовилиха?— допытывалась девочка.

Отец охотно рассказывал:

— Есть речка Мотовилиха. Вливается в реку Каму. Тут вот и стоит наш завод, недалеко от Перми. Вначале-то его строили медеплавильным. Медь возили в

Екатеринбург на монетный двор, медные копейки там чеканили, чтобы было чем с рабочим людом расплачиваться. Потом казна отдала этот завод графу Воронцову в пользование, да опять у него отобрала. Ну, перестроили его к тому времени немного.

— А что он делает? Завод-то?

— Много что делает. Долго рассказывать...

Ночью пошли к заутрене. Еленка знала в церкви каждую икону, она бывала здесь часто, но быть в церкви ночью еще не приходилось. В стрельчатых длинных окнах горели плошки, огнями были выведены слова «Христос воскресе».

Все в эту ночь казалось необычайным и таинственным: и стройный круг тополей вокруг церкви, и огни. Люди радостно улыбались и говорили задушевными тихими голосами, словно все ждали чуда.

Отец шел впереди. Мать — за ним. Из-за его спины она не видела икон и смотрела вверх под купол, где повис над людьми в синих клубах облаков страшный и милостивый бог-отец. Анисья смотрела на него большими молящими глазами, и свечка дрожала у нее в руке. Еленка шла, стуча огромными материными ботинками с ушками из черной резины по бокам. Она тоже смотрела вверх и крестилась. Свечи у нее не было, но мать обещала дать подержать свою, и время от времени девочка тыкала мать в спину и шептала:

— Ты одна всю свечку сожжешь!

Алтарь был убран венками и разноцветными лампадами, горел золотом нимбов, рам и огней. Это походило на сказку. Еленка снова ткнула мать в спину и спросила:

— В раю так же?

Та обернулась, сунула ей огарок свечи. Лицо Анисьи в слезах, но она счастливо улыбалась, а потом, поправив платок на голове дочери, задыхаясь, сообщила:

— Благодать на людей сходит!

— Где? — спросила Еленка и огляделась. Но благодать еще не сходила, и Еленка со свечой в руках с радостью и испугом стала ждать, когда и на нее сойдет благодать.

Огонь свечки потрескивал, мигал, горячий воск капал на пальцы и сразу остывал бледными маленькими чешуйками. Пахло нафталином, дегтем и ладаном.

Перед алтарем встал священник в золотой одежде

и что-то торжественно объявил, возведя руки вверх. С неба на землю полилась мягкая, сказочно нежная песня, гулко разносясь по церкви. Народ застонал, огни свечей заколебались; но в эту песнь ворвался грубый земной голос:

— Расступись! Расступись!

Урядник шел, расталкивая толпу, а за ним, шумя шелками, шли женщины в маленьких шляпках, на которых были цветы и ленты. Они кивали головами расступившимся людям и тоже радостно улыбались. С запахом ладана смешался запах духов.

— Ангелы, мама, ангелы,— громко шепнула Еленка.

Самая молодая и счастливая девушка засмеялась и дала Еленке копейку.

За женщинами шли мужчины. Военные звякали шпорами, штатские все были одеты в черные длинные сюртуки. За ними снова показались женщины, нарядные и радостные, но среди этих женщин Еленка увидела Фешу с пышным меховым воротником на платье, и поняла, что это не ангелы.

Мать простонала:

— Талька!

Мимо прошла Талька рядом с мужем, похудевшая, нарядная. Оглянувшись, улыбнулась, но Семен повел ее вперед, ближе к алтарю. Еленка заметила, что Талька прихрамывает, как мать перед дождем.

Мальчики в золотых одеждах понесли под торжественную песню какой-то длинный плоский ящик.

На ящике был нарисован человек в красном широком поясе. Человек этот склонил голову набок и согнул голые худые колени, словно собирался плясать. А за ящиком шел священник и брызгал на толпу холодной водой. Еленка рассмеялась, когда на лицо ей упало несколько капель.

За церковной оградой, на берегу пруда, один за другим грянули торжественные выстрелы. Залпы следовали один за другим, и каждый из них перекатывался по горам за поселок и замирал в сосняке, за прудом.

Все упали на колени, а мальчики пели: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».

Еленка знала, что никакого тела люди не несут, что там только нарисована картинка. Если бы на ящике было одно синее небо, тогда можно было бы думать, что Христос тут был, а теперь воскрес и улетел. Но

Христос в красном поясе лежал неподвижно, и все, что делал и говорил священник, было понарошке, как в игре. Но все это было интересно, и Еленка тоже упала на колени рядом с матерью и спросила:

— Благодать-то скоро?

Мать, не глядя на нее, приказала:

— Молись!

Еленка часто закрестилась, поджидая благодати, потому что все ждали: ведь такое торжество взрослых людей не может быть ради пустой забавы.

В церковной ограде было светло и празднично.

Пестрая толпа молилась, глядя на огненные слова в окнах и на фоне темного неба. Звезды были низко, и если благодать все-таки сойдет на землю, то сойдет именно здесь, сейчас, над дремотной гулкой землей и над поющим народом.

Когда ящик с нарисованным голым Христом обнесли вокруг и снова внесли в церковь, все вдруг вскочили с колен, начали целоваться и плакать. Еленку тискали чьи-то руки. Только отец стоял в стороне и хмуро оглядывался.

Их в толпе отыскал Андрей. Он был в новой рубахе, синей с белым горошком, ворот ее виднелся из-под полушубка. Радостно улыбаясь, он говорил отцу срывающимся на бас голосом:

— Слыхал, тятя, пальбу-то? Это я палил. Все ружья у Савкина перепробовал. Он мне сам дал. Ох и ружья, я тебе скажу! Звук у них хорош. И зарядов много.

Отец слушал сына настороженно, удивленно восклицая:

— Ну-у? Из всех палил? А меткость у них какая? Небось не проверял?

Андрей восторженно возразил:

— Как не проверял? В иголку навести можно. И попадешь!

— Так они, ты говоришь, там на ковре и болтаются без дела? Это плохо, брат, когда ружья без дела... Время подходит ружьям действовать...

Осмелевшая от близости брата с отцом Еленка подбежала к ним и сообщила:

— Христос воскресе!

Отец невесело рассмеялся и поцеловал дочь колючим ртом.

Анисья заторопилась домой.

Еленка поняла, что все уже кончено, а благодати никто так и не увидел.

Однако пасха еще продолжалась. Дома мать дала всем по красному яйцу и по куску кулича и, довольная, радостная, напевно сказала:

— Разговеемся... телом господним...

Еленке показалось, что ей дали меньше всех пышного пасхального хлеба, она попросила еще кусок, но мать строго, не по-праздничному, отказала.

— Жив ли Илюша у нас... ни письма, ни весточки... Чем-то он у нас сегодня разговеется?— жалобно спросила Анисья в тишине.

Андрей поднял голову, а отец, прищурив насмешливо глаза и нарочно растягивая слова, уверил:

— Уж их там разговеют, настоящих христова тела и крови дадут, веры, царя и отечества защитникам! Уж им дадут!

Еленка не раз слыхала, что Илья защищает веру, царя и отечество, и понимала это так: вера — молитвы к богу, чтобы он дал всем «хлеб насущный», но зачем и от кого защищать ее, трудно было постичь.

Царя защищать, пожалуй, нужно. Он в блестящей одежде, с золотым горшком на голове. Когда-то давно, еще в сказках Тальки, Еленка слышала, что на одежде царя много камней, а каждым камнем можно прокормить целую деревню. Как прокормить деревню камнем, Еленка не понимала. Очевидно, есть такие камни, стоящие: и блестят, и есть их можно. И чтобы у царя не срезали камни с одежды, его надо защищать.

«Хорошо бы Иля домой хоть один камешек принес,— думала она.— Попробовать бы. Царь от этого не лопнет».

— А для чего люди войну начали?— спросила неожиданно Еленка.

Отец внимательно посмотрел на дочь.

— Царя тешат!— отозвался Андрей.

Он стал походить на Илью, только редко смеялся и не шалил, как, бывало, старший брат. Не было у Андрейки и того веселого взгляда. Смотрел он на всех беспокойно, пытливо, выворачивая взглядом душу, подстерегая мысли.

— А отечество чье, царево?— снова спросила Еленка, радуясь тому, что ей отвечают, не ругаясь, как взрослой.

— Отечество — народово,— снова пробасил Андрей и добавил: — В этой войне не за отечество воюют!

Отец чему-то тихонько посмеялся, а мать вдруг щелкнула Андрейку по лбу.

— Болтун! Не извековать тебе добром.

Но забияка, увертываясь от второго удара, крикнул, поддразнивая:

— Война у тебя Илью слопала, а ты что получила?

Анисья слушала его, бледная, растерянная: дети начинают непонятную жизнь, страшную своей смелостью.

Бессильная, в слезах, мать сделала то, в чем позднее раскаивалась. Она сдернула Андрейку с лавки и начала хлестать его за то, что он смеет думать не так, как все.

— В другом месте не тренькай языком! — кричала она.— Пустозвон! Смотри ты! Словами с ног сбрасывает!

Отец, все еще посмеиваясь, говорил от окна:

— Дура ты, Аниска! Разгорелась! Смотри-ка, пар от тебя идет!

Мать остановилась, выпустила сына и вдруг заплакала.

Тот одернул рубаху и рассмеялся через силу, чтобы не показать, что ему стыдно.

— Рубаху новую обновила мне... Тоже, в драку полезла! Маленького не била, а теперь учить будет. Никогда такая не была.

Ночью Еленка долго слышала шепот. Андрейка говорил отцу о каких-то ружьях, которые надо передать Ивану для какого-то комитета.

— Ну, смотри берегись,— говорил отец,— охотиться за тобой будут.

— Все следы спутаю,— лихо отвечал Андрейка.

Утром Андрейка исчез из дому. Не было его и у Савкиных.

Мать искала Андрейку, обшарила саком для ловли рыбы подтаявшие проруби, предполагая, что парень свалился в воду, лазала по голым кустам на берегу пруда и жалобно кричала:

— Андрю-ю-ушка!

От ее крика из гущи кустов да мшистых расщелин камней вспархивали воробьи.

Думая, что Андрейка вернулся, Анисья бежала домой, из дому к Савкиным и снова домой.

Скоро выяснилось, что Андрей исчез вместе с ружьями, взятыми у Савкиных.

Кабатчик искал его, подсчитывая стоимость пропавших ружей. Из волости несколько раз приходили к Дерябиным, стараясь захватить воришку дома.

Сам Дерябин был спокоен.

— Не пропадет,— утешал он жену.— Не такой парень.

Он часто уходил из дому. И когда задерживался, мать говорила:

— Ну, сегодня он пьяный придет. Горя-то много, не выдержит.

Но отец возвращался трезвый и как-то особенно возбужденный.

— Ох, мать, и здесь у нас люди смелые появились! Ни тюрьмы, ни пытки не страшатся, чтобы только счастья достать,— как-то поделился он своей радостью.

— Зря ты с ними, отец, встретился,— отозвалась мать.— Все сердце мое изоржавело... Андрюшку туда же сбил. О счастье-то люди давно зубы пообломали. В тюрьме еще насидитесь.

Еленка жадно слушала, стараясь понять. Значит, счастье уже ищут, но почему за счастье можно насидеться в тюрьме или обломать зубы, этого девочка понять не могла и долго стояла около отца, не решаясь спросить. Наконец тронула его за рукав:

— Тятя, а ты счастье видел?

Тот не рассмеялся и не рассердился, как того ждала девочка, а молча смотрел в окно. Еленка осмелела, придвинулась ближе, допытываясь:

— Какое оно, счастье-то?

Отец обхватил маленькую дочь за плечи, привлек к себе и коротко ответил:

— Колючее...

XVIII

Праздник кончился. Собираясь к отъезду в Мотовилиху, отец долго возился со своим узлом, перекладывал носки и рубахи, время от времени поглядывая пытливо на жену.

— Мне теперь не скоро доведется домой...— сообщил он осторожно.

— Как не скоро? — удивилась Анисья.— Вот к петрову дню приезжай.

— Либо приеду, либо нет... Дела-то заворачиваются большие, может, и я на что пригожусь.

Не глядя на жену, спросил:

— Справишься одна-то? Думаю, что справишься... Хозяйство невелико: Елька с куклами.

Он погладил дочь по голове, сказал необычное:

— Мила моя дочь.— И ушел из дому, закинув узелок за плечо.

Мать долго стояла посреди избы, потом бросилась к окну, но не окликнула отца, а только провела ладонью по лицу и посмотрела на иконы.

Она стала молчалива и неласкова, все ждала писем или родных, вздрагивала, когда казалось ей, что кто-то входит в сени или стучит в окно.

Но никто не приходил к ним и писем не приносили. Тогда однажды Анисья подослала Еленку в Кужимовку разузнать, не нашли ли Андрея, и трудно было понять, хочет ли мать того, чтоб Андрей был пойман, или боится этого.

Феша встретила Еленку сурово:

— Вас, Дерябиных, и в избу пускать страшно. Того и гляди, чего украдете.

— А у нас тятя на большие дела уехал, счастье искать,— сообщила Еленка.

Феша рассмеялась:

— Счастье-то увертливое.

Еленка удивленно переспросила:

— Увертливое?

— Ну да! Кому само в руки идет, а от кого мячиком отскакивает.

— Поймает,— сказала Еленка убежденно, вспомнив, как сильно, по-молодому, отец закинул за плечи котомку.

Ей много удалось разузнать о счастье, а представление о нем все-таки путалось. То оно огромным облаком спускалось с неба и заливало радостью землю, то оказывалось колючее, как ежик, и взять его в руки или хотя бы оторвать от него долю было невозможно, то маленьким мячиком катилось по земле, вертлявое и стремительное.

— Не всяк и увидит.

Феша не поняла, ввела Еленку в горницу, посадила за стол, на котором широким кругом разложены были карты, и зашептала ласково:

— Ты знаешь, где скворешник стоит?

Еленка радостно ответила:

— У нас в огороде качается...

— Да нет... Марина где живет, знаешь? Знаешь. Ну вот, хорошо. Сбегай к ней, да только не говори, что я подослала. Скажи, что... ну, хоть христосоваться пришла...

— Христосованье давно кончилось... — возразила Еленка.

— Вот дура. Скажи так, я тебе в карман орехов насыплю.

— А у меня кармана нет...

— Все равно насыплю в кулак. Ты узнай, там ли Савкин.

Лицо Феши вдруг сморщилось, покраснело. Из глаз покатились слезы.

— Да, у нее...— подтвердила она безнадежно,— где ему быть? С самых праздников дома не ночевал. Все у нее... Она и Ильку вашего опозорила! А ты узнай твердо. Орехов дам.

Уже темнело, когда Еленка направилась к Марине. В освещенных окнах дома метались тени. На улицу выносились пьяные крики.

Визжала гармошка, кто-то хриплым басом выл однотонно и скучно:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ...

Надсадно пела женщина, приплясывая так, что дрожали стекла.

Марина в пышном, ярком наряде стояла посреди комнаты, покусывая полные губы, и смотрела на Еленку мутными тяжелыми глазами.

Комната, куда попала девочка, была обставлена по-купечески. Вокруг стен уютно стояла мягкая мебель, обтянутая лиловым бархатом. На круглом большом столе в беспорядке разбросаны бутылки, стаканы, закуска.

Узнав золовку, Марина потянулась к ней целоваться.

— Христос воскресе, Елюшка!

— Дяденька Савкин здесь? — спросила та строго.— Его дома потеряли.

Савкин спал на диване, свесив большую руку и всхрапывая. Уже тихо Еленка присовокупила:

— Ты только Ильку нашего опозорила.

Трезвея, Марина спросила:

— Пишет он вам? Мне небось и поклон не шлет?

— Каждый день по письму, а то и по два,— врала девчонка.— Он другую скоро найдет.

— А-а! — протянула Марина.— Пора бы уж!

Из другой комнаты вышел Семен Бадрызлов, пьяненький, шумный. За ним выскочила женщина и, подтолкнув его к спящему Савкину, жеманно попросила:

— Разбуди его, Сема! А то Марине без пары тоскливо.

— А Талька наша тоже у тебя в гостях? — поинтересовалась Еленка.

Марина насмешливо прищурила глаза:

— Без Тальки нам веселей.

Еленка вышла на улицу, постояла в темноте у скворечника и решительно направилась домой.

— Феша мне орехов обещала, да от них зубы болят,— сказала она матери.— А об Андрейке она ничего не сказала, верно, не поймали еще.

Слухи об Андрее ходили разные. Говорили, что по лесу бродит много дезертиров, что они раздевают в лесу богатых, угоняют лошадей, что по ночам в поселке видят каких-то бродяг. Хозяйки крепко запирали на ночь дома. Кто-то видел в компании оборвышей и Андрейку. Анисья слушала эти сплетни со скорбным лицом и жаловалась:

— Отбился парнишка...— Но, оставаясь одна, падала перед иконами на колени и благодарно шептала: — Спасибо тебе, господи, живым держишь моего дурачка!

Как-то вечером вышла Анисья за ворота и посмотрела на дорогу.

Улица, отяжеленная сумерками, молчала.

Из темноты к Анисье подошла Талька в полушубке и старом розовом девичьем платье, с узелком в руках. Мать ввела ее в избу.

— Еленка, смотри-ка, кто пришел! Не зря я глаза проглядела.

Талька села на лавку у порога и спросила:

— Посоветуй, мама, как мне жить? Ушла я совсем от Бадрызловых... от побоев да упреков ушла...

Мать замахала на нее рукой:

— Что ты? Мы сами у горя на погибели! Отец-то что скажет...

— А хоть что пусть говорит! — злобно ответила Талька.

Еленка была рада, что мать сидит беспомощно у стола и плачет, а не гонит старшую дочь из дому.

Талька осталась. Но сказок она теперь не рассказывала и песен не пела; помогала матери стирать, никуда не выходила из дому, окна держала занавешенными, вскакивала и пряталась за печь, когда кто-нибудь входил в избу из посторонних. Взгляд ее стал неспокойный. Она часто плакала, причитая:

— Что же мне делать? Как жить?

XIX

Страду Дерябины проводили на покосе у Савкиных, желая отработать долг за приданое Тальки. Чтобы не тратить время на переходы, часто ночевали в лесу, в покосной избушке. Через луг был другой покос Савкиных, на котором косили работники, а по вечерам все сходились в избушке на отдых. Работников было трое. Лука, большой лысый старик, все о чем-то тяжело думал и любил повторять непонятные Еленке слова:

— Жизнь прожить — что море перейти: побарахтался да и ко дну.

Двух других работников звали Федором и Иваном. Иван хромой, светловолосый, кудрявый. Еленка сразу узнала его. Еще до войны она видела его в лесу, у костра. Он говорил непонятные слова, звал окружавших его людей куда-то и обещал им что-то. После закрытия завода он работал у Савкина в работниках. Здесь, на покосе, Иван держал гармошку, старую, изношенную и с бубенцами.

Как-то Еленка спросила:

— Наш Андрейка тебе савкинские ружья передал?

Иван быстро оглянулся вокруг, а потом сделал удивленное лицо и протянул:

— Ружья? Это которые стреляют? В первый раз слышу...

Когда к ночи зажигали у избушки костер, он каждый раз мечтательно вздыхал: «Эх!» и ковылял в избушку, чтобы достать гармошку из-под нар.

Играл он долго, наклонив голову набок, щуря глаза

на Тальку. Если в гармошке не хватало для песни ладов, парень начинал звонить в колокольцы, и песня не обрывалась. Он готов был играть всю ночь и не мигая разглядывал Тальку все время, а она, уставившись на костер, не поднимала на него глаз. Каждый раз Федор, третий работник, бесцветный и хмурый, напоминал гармонисту:

— Хватит названивать: завтра с утра литовкой махать.

Иван послушно вставал, с силой сжимал гармошку, отчего она жалобно, словно простуженная, скрипела, улыбался Тальке и вздыхал всей грудью:

— Эх!

Еленка так и назвала этого парня — Эх. Он долго хохотал, когда понял, что это относится к нему, и часто врасплох спрашивал, балагуря:

— Так Эх, говоришь?

Этот Эх и принес Дерябиным весть об Андрее. Посмеиваясь и лукавя, он сказал:

— Видел я парня в лесу, вашим назвался. Из Мотовилихи пришел. Передай, говорит, маме, что жив и здоров я. А Тальке скажи, что счастье-радость отыскиваю. Буду жив — найду. Не буду — пусть сами стараются.

По ночам работники храпели. Федор стонал и метался во сне, будто кто-то истязал его. Еленка жалась к матери.

Талька не спала, вздыхала в темноте.

С пруда к избушке ветер приносил запах тины, звенели комары, жалили лица. Храп Федора пугал, Лука возился и, как всегда, ворчал:

— Перевернись на другой бок, опять тебя черти давят...

Бормотание Федора на минуту прекращалось.

Мать становилась все беспокойнее. Неотступно следила за Талькой и однажды сердито выпроводила ее домой:

— Попроведай избушку нашу. Да и не приходи сюда больше, одни справимся.

Талька покорно ушла. Когда вечером к костру пришли косцы, Эх, узнав, что Тальки на покосе нет, ушел и лег на траву под сосну. Играть на гармошке он больше не стал.

По утрам косцы уходили рано. Сгребать сено еще

было нельзя, и, пока оно просыхало, Анисья варила завтрак.

Пахло росистой травой и медом. Сквозь прозрачные березы было видно, как вылезало из пруда солнце, красное и лохматое, словно царь Лешуня. Еленка смотрела ему прямо в лицо и прыгала по голубой от росы траве.

Солнце, солнце красное,
Красное, широкое,
Широкое, далекое,
Не пей воды со дна,
Со дна глубока!

Мать ходила к кошенине, пробовала сено рукой, чтобы узнать, высохло ли, возвращаясь, говорила:

— Обдуло кошенину!

Еленка недовольно ворчала:

— У тебя все «обдуло», не дашь кошенинке просохнуть.

Ей хотелось побегать по кустам, попрыгать в траве. Но мать выбирала для Еленки грабли полегче, и они шли грести.

Еленка уже поняла, что трудятся они даром; работать было скучно. Во время работы она пробовала играть, встречая мать на прокосе, говорила:

— Здорово, кума!

Мать должна была отвечать: «На рынке была», но Анисья проходила мимо молча, торопливо переворачивала валки. Еленка сама отвечала, почему-то басом: «На рынке была».

И снова, встречая мать, звонко спрашивала:

— Ты что, кума, глуха? — И торопливо учила Анисью: — А ты говори, мама: купила, мол, петуха.

И мать, думая о другом, бросала:

— Купила петуха!

Сено скучно шумело, сыпалось за ворот платья, когда его сносили охапками к копнам, кусало тело. Подкараулив, когда мать гребла за кустами, Еленка поднимала грабли вверх и зубьями чесала небо, чтобы вызвать грозу.

Если будет гроза, нельзя будет сгребать мокрую кошенину; Еленка отдохнула бы в избушке, а Эх поиграл бы на гармошке с колокольцами. Мать верила, что граблями можно сворошить, расцарапать небо, разбудить грозовые тучи, и ворчала на Еленку:

— Опусти грабли, дурочка!

Потом оглядывла поле, покрытое сухой рыжей травой в прямых прокосах, ласково добавляла:

— Сколько людского труда дождь испортить может.

Еленке ни разу не удалось исцарапать небо до дождя. Погода стояла сухая, жаркая, какую и нужно было для страды.

Иногда неожиданно Анисья запевала:

Скучно пташке сидеть в клетке...
Скучно ей при дорогой...

Пела Анисья громко,— не пела, а кричала, оглядываясь кругом, словно подманивая кого-то песней.

И вот на покос действительно пришел Андрей. Он крался по кустам и вначале окликнул тихонько Еленку, сделав знак, чтобы молчала.

— Принеси мне поесть,— шепотом попросил он.

Андрей стал совсем большим, на губах топорщился пушок; он был худ и желт, как больной. Чужой, незнакомый Еленке костюм велик и весь усеян мелкими частыми заплатками, непокорные волосы метались от ветра.

— Рубаху с белым горошком, видно, износил уж!— по-хозяйски упрекнула его Еленка.

Андрей серьезно ответил:

— Нет, лоскутки остались.— И тут же, склонившись, прошептал:— Сбегай, Елька, дядю Ивана ко мне позови. Скажи, что в лес зовут, он придет.

Еленка стремительно припустила на луг. Ее удивило, что Эх сразу бросил косу и, оглянувшись, пошел за ней. Но при их разговоре брат не позволил присутствовать Еленке. Они совещались недолго. Неторопливой походкой Иван уже отходил прочь, а Андрей, раздвинув кусты, жадно смотрел на поляну.

Еленка тихонько подкралась к нему, думая, что он нашел гнездо с птенцами и боится их спугнуть.

Но за кустами, на поляне, всего лишь была их мать, ходила с граблями, перебирала сухое сено. На нее напряженно смотрел Андрейка и шевелил губами.

Недаром вечерами мать поджидала сына, недаром подманивала его песней и терзалась, не зная, сыт ли он и где приходится ему спать.

Часто думала она, что земля — твердая постель, камушек — горькая подушка, а сине небо — холодное оде-

яло сыну. Она не увидела, а сердцем учуяла сына в кустах.

— Андрей!

Казалось бы, мать должна была поучить сына жить честно, не покрывать позором седые ее волосы, не воровать и не бегать от людей, как дикий волк, по лесам.

Мать могла бы зашибить бродяжку граблями, но у нее онемели руки. Да и не считала она сына преступником. Чувствовала, что тянется он к свету, к добру и к миру. Пока Андрей ел хлеб, принесенный Еленкой из избушки, мать стояла над ним и тихо плакала.

Наевшись, Андрей взял грабли и встал рядом с Анисьей, а Еленка, покрутившись около них, убежала по зеленому склону к пруду.

Мать снова запела. Голос ее взвивался, обещая радость, и песни следовали одна за другой, не смолкая.

Пела мать легко, словно махала белым платком, а Еленка бегала по цветам, сгоняя бабочек, рвала землянику и кричала на весь лес:

— Кто первая дева?

И лес глухо рокотал в ответ:

— Ева!

Наевшись земляники, Еленка стала рвать ее вместе с ветками. Андрей пришел и взял у нее грабли, пожалел ее, и Еленка решила нарвать ему целый букет ягод.

Солнце было на исходе, когда они кончили работу. От избушки падала уродливая тень.

Андрей сидел на траве и ел землянику, срывая каждую ягодку губами и задумчиво разглядывая, а Анисья собирала корзины и мешки из-под хлеба, чтобы унести домой, прятала в избушку грабли.

Только уходя, Анисья спросила сына:

— Ружья-то у тебя где?

Андрей ответил неопределенно:

— Я для дела брал...

— Одного бы хватило...

Андрейка внимательно посмотрел на мать, потом долго глядел в сторону на видневшийся вдалеке пруд, на лес, частый и темный сосняк, переводя взгляд с дерева на дерево, и, словно пересчитав их, удовлетворенно тряхнул головой.

— Нет, одного ружья мало...

Долг Савкину, казалось, рос с каждым днем. Рабо-

той на сенокосе Дерябины почти не убавили его. Савкины беспокоились и напоминали о нем Анисье через посыльных. Наконец Феша пришла сама, шумя шелковым подолом, как береза сухими листьями под ветром.

Приданое, ружья, каждое в отдельности,— все было подсчитано ею с точностью торгаша, до копейки.

— Разбойник ваш крал да скрипку мозолил, и нечего платить за его работу: он в долгу.

Анисья изумленно смотрела на Фешу: ее семье нужен был хлеб, чтобы жить. А работать для того, чтобы вернуть пустой долг, на голодное брюхо не было смысла. Феша оглядела избу, постучала пальцем о стену, о печь, соображая. Объявила:

— Придется избушку вашу описать.

— Под небушком поживем, ничего,— отозвалась мать.

Еленка удивленно смотрела на мать, не веря себе: мать смеялась.

Феша с опаской взглянула на сватью и уже неуверенно попросила:

— Ну, Еленку мне в услужение дайте. С паршивого козла хоть шерсти клок.— Она оглядела девочку с головы до ног.— Тальку бы надо, да опасно: от законного мужа ушла, с ней в доме позор. А то бы хорошо, лучше не надо!

XX

...Теперь на Еленку с утра до ночи кричали:

— Ставь самовар! Полей цветы! Дела не видишь?

Еленка и верно в первое время не видела дела. Исполнив одно, ждала, когда дадут другое. Ее переставляли с места на место, как куклу. Ею играли, и это, наверное, всем было интересно, кроме нее.

Утром надо было ставить самовар для работников, поить их чаем, мыть посуду. Затем просыпались хозяева, нужно было кормить их, стирать пыль со столов, мести или мыть полы.

Обед готовила Феша сама, а Еленку заставляла чистить картошку и лук, мыть крупу для каши работникам, крутить мясорубку, когда готовился обед для хозяев.

Еленка стирала вшивые рубахи батраков, пришивала к рубахам пуговицы, обшивала неуклюжими заплатами варежки, мечтая при этом:

— Разодену я работников, как куколок.

Если Еленка не находила дел и, присаживаясь к окну, смотрела через пруд в ту сторону, где стоял их домишко, Феша кричала:

— Не сидеть нанялась, замарашка!

При появлении Феши Еленка вскакивала во время обеда из-за стола. Иван качал головой:

— Эх, девчонку-то затыркали — не поест спокойно!

Работники часто помогали Еленке: приносили воду, дрова, поднимали на стол тяжелый самовар.

— Посадите ее на божницу да и молитесь! — ворчала Феша. — Не из сдобного теста, выдержит.

Заполучив даровую и безответную работницу, Феша стала проявлять свой настоящий характер, нетерпеливый и высокомерный.

Как-то она сказала Еленке:

— Какая я тебе Фекла Григорьевна? Барыней меня зови.

Спала Еленка за печью, в углу. Засыпала сразу, как только ложилась, но и ночью, если к Савкиным неожиданно вваливались гости, Феша будила ее и шипела всегда одно и то же:

— Вставай, дохлая! Сегодня «сам» дома!

Девчонка оказалась деятельной и покорной. Пока кипел самовар, она нарезала хлеб, колбасу, раскалывала сахар, Фекла уносила все это к гостям, а Еленка собирала на столе крошки сахара и сосала их.

Гости пели песни или заводили граммофон, спорили. Когда они начинали длинные и непонятные разговоры, Феша приказывала Еленке наглухо закрывать окна одеялами и шалями.

До нее доносились отдельные слова о Думе, о Керенском и Милюкове.

Однажды, когда Феша не прикрыла дверь в горницу, Еленка услышала, как Савкин прочитал:

— «В течение ночи германцы сбросили большое количество снарядов с удушливыми газами на пункты позади нашего фронта, в окрестностях Арраса».

Девочка поняла: это о войне. Там, где Илька. И это на него бросили германцы снаряды с удушливыми газами. Еленка зарылась в подушку, стараясь, чтобы ее всхлипывания не услышала Феша.

Илька. Когда он смеялся, в семье наступал покой. Илька хватал на руки всех враз — и ее, и Андрейку,

и Тальку, и кричал: «Горшков-то берите!» И тогда смеялась мать и даже отец — такой добротой веяло от брата.

Лежа на своем войлоке в углу, за печью, Еленка вспоминала мать. Иногда к ней в темный угол вползал свет луны. Где-то выла собака.

В один такой вечер кто-то запустил камнем в окно. Стекла со звоном рассыпались, камень, ударившись об одеяло, закрывавшее окно, глухо стукнул о подоконник. Граммофон остановился, гости притихли.

На улице кто-то кричал:

— Что же вы не пляшете?

И враз заговорило несколько возмущенных голосов:

— Им что — гуляют!

— Сыновья у них за царя не гибнут!

— Цены подняли, жить невмоготу!

— Разгулялись!

Зазвякали стекла в других окнах.

...Поздно ночью пришли в кухню работники. Снова Еленке пришлось вставать и кормить их. Они ели, не обращая на нее внимания. Только теперь слушала она другие речи.

— Посмотри-ка тезисы Ленина о войне! — кричал запальчиво Иван.

Федор хмуро возражал ему:

— Ну, говорил ты о них... И что же? Для революции оружие надо. А где его взять?

— Везде, где можно! Вон Андрей Дерябин нашел где!

— Тише, обормот! — оборвал Ивана Лука и погрозил Еленке пальцем: — Молчи!

В доме потушили лампы. Гости остались ночевать.

С этого дня у дома Савкиных часто прохаживался урядник.

Работники смеялись:

— Под охраной живем.

— Не тронь нас! Эх!

— Надежнее...—мрачно заключал Федор.

Самым тяжелым делом для Еленки было кормить хозяев: они были привередливы. Лицо ее вытягивалось, выражало животный страх, когда она, тихо двигаясь по горнице, убирала после обеда множество костей и посуды. Не успевая, она получала затрещины.

Но были у Еленки и свои радости: идя за водой, она смотрела через пруд, в Мигай, на серые камни,

на островерхие крыши, на дырявые чердаки рабочих халуп. Это утешало.

Как-то в зимний день ветер принес запах травы, гари и дымный пахучий туман. Мимо дома Савкиных проскакал верховой, за ним побежали с лопатами работники, но вскоре вернулись домой, ругаясь. Визжала Феша:

— Это беглые солдаты сено-то у нас сжигают!

А на другой день с неожиданной лаской спросила Еленку:

— Стосковалась по матери-то?

Девочка поняла, что Феша делает вид, будто добрая, и не ответила. Тяжелый ком горечи заполнил, сдавил горло.

— Сходи к ним,— продолжала притворяться Феша,— узнай, может, Андрей дома...

В сенях Еленку поймал Эх и шепнул:

— Сеструхе, Наталье Николаевне, низкий поклон передай.

Стояла глухая сугробная зима, блестел снег, ветер покалывал щеки.

Каждый день Еленка видела снег, но думать, что уже зима, ей как-то не приходилось. Дыхание захватывало от зимнего воздуха, от радости и от лучистого дня. Скоро она войдет в избу, помолится богу и скажет по-взрослому:

— Весело ли живете? Здравствуйте, время-то как бежит: опять уже зима пала...

По ту сторону моста Еленка увидела мать. В старой шубейке с вылезшим рыжим воротником, сжавшись от холода в комочек, стояла Анисья и смотрела на пруд, на богатую сторону.

— Мама!

Еленка бросилась вперед, обхватила колени матери и ткнулась в них с плачем. Анисья тоже плакала, мелко всхлипывая, а потом вытерла Еленке нос.

Словно ничего не изменилось в доме Дерябиных. Все так же стояли посреди избы два стиральных корыта. Над одним старалась Талька. В другом осела мыльная пена, видимо, мать, не в силах работать от тоски по младшей дочери, оставила его и убежала, чтобы посмотреть через пруд в ту сторону, где жила Еленка.

Но кровать, где спали когда-то Илья с Мариной, за печью, была тщательно закрыта яркой занавеской. Время от времени занавеска колыхалась, вздрагивала. Это бес-

покоило Еленку. Она подошла ближе, хотела отодвинуть занавеску в сторону, но мать поспешно притянула девочку к себе и, счастливо (Еленка не могла ошибиться: в глазах матери была радость!) смеясь, попросила:

— Рассказывай... все рассказывай... Как живешь!

Девочка с жаром рассказывала матери и сестре о том, как хорошо живет она теперь.

— У них даже граммофон есть. «Сам»-то все у Марины. Дома-то редко. Тебе, Талька, Эх-то поклончик шлет.

Талька быстро взглянула на мать и, порозовев, ответила:

— Спасибо. Ему поклонись...

Мать, всхлипывая, говорила о своем:

— Андрей-то весточку подал. Воевать собирается. Как я услышала это, так и слезы пролила. А от отца ни слова нет... Жив ли?

Еленка влезла к куклам, хотела поговорить с ними, но, вспомнив, что она уже большая, промолчала.

Мать у стола продолжала плакать.

— Не сладко живется... а все равно — терпи. Хозяйку слушайся, легче будет...

— Напрасно ты ее, мама, терпенью учишь,— возразила Талька.

— У нас, кроме терпенья, выхода нет,— строго оборвала Анисья.

Тогда из-за занавески порывисто вышел Илья похудевший, серый, в облинявшей гимнастерке защитного цвета и таких же штанах.

— Да, мама... плохие твои уроки! — сказал он и обхватил Еленку, поднял ее к потолку. Она защищалась как могла и кричала:

— Тебя же нету! Тебя удушливые газы...

Но Илья все держал ее, и в глазах его стояли слезы. Слезы были и у Тальки, и у матери. Мать шептала умоляюще:

— Елюшка, не выдавай... Молчи! Убежал он...

Девочка поняла и замахала руками, а для пущей убедительности крикнула с высоты:

— Отсохни у меня руки и ноги, если скажу кому!

Когда Илья спустил сестренку на пол, она вдруг заторопилась:

— Заругают... Пойду я...

Уходя, Еленка спрятала в рукав платья куклу.

Безропотно выполняла девочка все, что приказывали в богатом доме, молча угождала всем. Взбредет Феше в голову мыть пол в лавке — и Еленка моет пол в лавке. Среди зимы, в мороз, ее заставят вытрясать шубы, чтобы не завелась моль, и она, еле поднимая тяжелые дохи, трясет их на снегу. Или Савкин вздумает ни с того ни с сего париться в бане, и Еленка не смеет напомнить ему, что только в субботу она топила баню для всех и что он мылся в первом жару.

— Опять уселась! — кричала Феша.— Вымой-ка покрышки, кринки закрывать грязными стыдно.

Еленка вспомнила, как ей хотелось когда-то, чтобы куклы действовали самостоятельно. Может быть, и Феше хочется, чтобы Еленка не гнулась в ее руках, как сшитая из тряпок, а делала все по-своему. И она возразила:

— Крышки я вчера хорошо вымыла.

Феша больно нащелкала ее по щекам.

Руки девочки вечно были обожжены, исцарапаны. Она уже знала, что лучше ни о чем не думать, чтобы не вызвать новых обид. Лучше не думать! Были дни, когда девочка не произносила ни слова. А по ночам, когда удавалось наконец прилечь, доставала из-под войлока куклу и жаловалась:

— Мама, Феша-то велит себя барыней звать. А самовар-то тяжелый...

В тихой темноте она высказывала кукле свое горе и плакала.

— Щи я вчера пролила, Феша меня нащелкала.

Она представляла, как мать взяла бы ее обожженные пальчики в свои большие милые руки. Вхлипывая, Еленка говорила кукле то, чего никогда бы не сказала матери:

— Возьми меня отсюда!

Но Феша все меньше придиралась к прислуге, становилась покладистее и добрее и все чаще расспрашивала, не знает ли Еленка каких вестей об Илье. Однажды, угостив ее леденцом, осведомилась:

— Слухи ходят, что Илья уже здесь. Верно ли? Сходила бы домой, узнала. Говорят, с советчиками он... Да уж мне все равно, только Маринку бы от стыда укрыл. Постегал бы, конечно, для порядка да и... сходи, повидайся с ним...

Еленка в кухне сообщила Ивану:

— Домой меня барыня посылает, выведать велит, не пришел ли Илька,— и рассмеялась. Рассмеялся и Иван, а на дороге догнал ее на серой лошади, развалившись в ковровой кошеве.

— Садись, довезу! — крикнул он и, когда Еленка запрыгнула в санки, стремительно погнал к пруду.— Молчать ты умеешь...— не то спросил, не то подтвердил Иван.— Поедем. Что увидишь — забудь. Меня «барыня» послала сено проверить, как бы братья твои не сожгли.— Закинув голову, Иван захохотал. Снял с себя тулуп, закутал девчонку.

Они ехали по пруду около берега, на котором стеной стоял сосняк с шапками снега на вершинах. В глубине леса было сине и таинственно.

Впервые в жизни пришлось Еленке ехать зимней дорогой в удобной кошеве. Полозья весело пели, серая лошадь мчалась во всю силу, из-под копыт в лица седоков летели комья слипшегося снега, захватывало дыхание.

Пруд кончился... Поднявшись в горку по наезженной дороге, Иван снова пустил коня рысью. Теперь Еленке стало еще интереснее: сосны и ели точно протягивали к ней мохнатые лапы в белых варежках. «Зря я куклу с собой не взяла!..» — пожалела про себя девчонка.

Свернув с большака, Иван остановил коня, вышел из кошевы, привязал серого к сосенке и, приложив к губам ладони, закуковал. Еленка захохотала: «Такой большой, а дурит!» Но тут же смолкла: из лесу послышалось в ответ такое же кукование. Поманив за собой девчонку, Иван начал пробираться узкой тропой в глубь леса. Выскочив из тулупа, Еленка бежала следом.

На небольшой, хорошо утоптанной елани стояли какие-то люди и по очереди стреляли из ружья в газету, приколотую к березе.

Среди мужчин находилась одна девушка в беличьей полудошке, румяная и свежая. Еленка где-то видела ее, но сейчас не могла вспомнить.

Девушка сосредоточенно прицеливалась и наконец выстрелила. Береза сбросила с себя целую горсть снега. Выстрел прозвучал сухо и коротко.

Откуда-то из-за деревьев вышел Илья и произнес одобрительно:

— Вот теперь — в цель...

И девушка весело засмеялась от удовольствия и передала ружье Андрейке. Илья командовал:

— Прицел... Только не волнуйся, патроны надо беречь...

Андрейка, заломив на затылок ушанку, начал заряжать ружье. Еленке казалось, что целится он очень долго. Она со стороны видела, как дрожала его рука, и заволновалась сама.

— Стреляй! — приказал Илья.

Прозвучал выстрел. Илья сердито закричал:

— Опять промазал! Сколько тебя учить: не жмурься! Что ты в самом деле!

Опустив винтовку, Андрейка, чуть не плача, оправдывался:

— Да я еще не жду, а она выстрелит!

— Выстрелит! Глядеть надо и не торопиться. Воин! Свое правительство требовать будем... С такими стрелками многого добьешься! Курок легкий, а ты жмешь что есть мочи!

Андрейку отстранил высокий мужчина в полушубке. И снова Илья командовал:

— Заряжай! Прицел! Стреляй!

К нему подошел молодой парень с желтым чубом из-под шапки и в длинной, почти до земли шубе.

— Я выучил, Илья Николаевич, все устройство винтовки знаю... Спросите меня... И стрелять мне уже можно...

Илья обратился к девушке:

— Анна Петровна, спросите Петра об устройстве винтовки.

Девушка весело отозвалась:

— Есть! — и, приблизившись вместе с Петром к Еленке, начала: — Расскажи мне, Петя, что называется магазином...

И тут Еленка узнала ее. Это была учительница, к которой она когда-то забиралась в окно школы и подслушивала урок. С особым уважением глядела она теперь на братьев: вот с какими людьми приходится им встречаться!

Илья увидел наконец сестренку и гневно посмотрел на Ивана. Тот, обхватив ее за плечи, подвел ближе.

— Ты напрасно сердишься, Илюха. Я лучше, чем ты, знаю, как Еленка умеет молчать. Но она бредит

счастьем, и надо ей показать, как люди готовятся его добывать.

— Бредит! Как бы она нам тюрьмы не набредила! — Но Илья уже не сердился, а смеялся: — Нашел бойца! Ну, здравствуй, сеструха! — На всякий случай он крикнул на поляну: — К следующему занятию найдите другое место и подготовьте его.

...Феше Еленка сказала:

— Нету дома Ильи! Под окошком даже не оследился...

XXI

Однажды к Савкиным прибежал старик Бадрызлов. Снимая в кухне шубу, он в невероятном смятении закричал:

— Слыхал, Иван Денисыч? Царя свергли!

Савкин, потирая себе грудь огромной волосатой рукой, вышел навстречу гостю.

— Знаю.

Они прошли в горницу, но Еленка долго прислушивалась к их словам о Распутине, Временном правительстве, о народной милиции и Государственной думе.

На другой день Савкин вышел из дому с огромным красным бантом на груди. Феша сшила этот бант из красной ленты. Еленка видела, как кромсала барыня ленту, и вздрагивала: «Такую басу портит! Сколько бы косоплеток вышло!»

Под окном у Савкиных поставили большой ящик из-под товаров, к нему все подходил и подходил народ. Набросив шубейку, Еленка выбежала на улицу. Здесь все в этот день было необычно, празднично. Над толпой хлопали красные флаги. К лавке Савкина Иван по просьбе хозяина тоже прибил красное полотнище. И на груди у всех, а у иных и на шапках были красные ленты, у кого шелковые, у кого из тряпок. Даже Марина нацепила на грудь пышный бант и сновала меж людьми довольная, пела вместе со всеми:

Вихри враждебные
Веют над нами.

На ящик вскочил Савкин и крикнул:

— Я, как старшина, открываю митинг. Слово имеет от партии Народной свободы Семен Бадрызлов!

Еленке было смешно над тем, как Семен, вытаращив глаза, кричал: «Да здравствуют борцы за народное счастье!»

— И что это Талька от него убежала: соловьем поет!

Савкин подсадил на ящик какого-то тощего офицера в очках от партии социалистов-революционеров. Слова отскакивали от Еленки, словно мячики. Она не понимала их. Просто было забавно, что на ящике прыгают люди, как заводные куклы, и все кричат, что надо подчиняться Временному правительству, что-то о земле... и до полной победы над врагом... и да здравствуют борцы... Так кричал тот, в очках, так кричит и этот, от партии каких-то меньшевиков... Уж молчал бы, раз меньше-вик. Площадь шумела. Знамена переливались, искрились. А люди все пели и кричали.

Еленка удивилась и испугалась, когда на ящик сам, без приглашения, поднялся Илья. И очень обиделась, что на его шинели, на груди, не было красного банта.

— Лоскутка, наверное, не нашел. Уж не лез бы тогда на вид-то!

Марина ойкнула, перестала смеяться и уставилась на мужа. Илья снял шапку и сказал:

— Товарищи! Пусть вас не обманут вывешенные сегодня флаги и красные ленты на одежде! Может ли народ ждать что-нибудь хорошее от правительства, которое возглавляет князь Львов и которое состоит из капиталистов?

Савкин закричал, взмахнув рукой:

— Долой!

Ящик тесно обступили люди, которых видела Еленка на стрельбище, а Илья все бросал в толпу незнакомые слова:

— Революция только началась! А не кончилась! Да здравствует партия большевиков!

Еленка потеряла Илью, как только он спустился с ящика. Распевая песни, толпа двинулась по улицам.

В первых рядах шли Савкин, Бадрызловы и все богатые, которые приходили к Савкиным в гости.

Еленка осталась под окном одна и долго смотрела на трепещущее под ветром красное полотнище у лавки, желая понять, как этот флаг может обмануть народ.

Спустя месяц Савкин басил с тревогой:

— Народ сейчас опасен, силы нам надо много...

Еленка ничего не понимала. Больше всего ее пугали слова Савкина о том, что власть принадлежит теперь им, купцам. Еленка успела уже понять, что власть и сила и раньше были на стороне людей, которым она прислуживала, и теперь удивлялась их жадности: какой же власти еще им нужно?

Она спросила об этом за печью куклу. Но ничего не могла ответить за куклу себе и, недоумевающая, долго стояла там, в полутьме.

С куклой стало скучно, и слова и выдумки, казалось, кончились в этот год, а кукла была всего лишь старой тряпицей с намалеванным грубым лицом. Да и незачем было придумывать жизнь. Сама жизнь была интересна и загадочна.

Как только работники садились за стол, в кухню выходил «сам» и начинал разговор с Иваном. Они оба были избраны в Совет и не переставая спорили. Еленка хоть и не понимала, но уже знала слова, которые они бросали друг другу в лицо.

— Не дождетесь, не будет Совет Временное правительство поддерживать,— кричал Иван,— хоть и понапихали вас туда!

Савкин топал ногой в ответ:

— Ты — батрак, власти захотел? Я вот до революции старшиной был, а сейчас — председатель волостной управы. Народ уважает силу и богатство. Вы политику-то делаете, а хозяйственные дела в сторону.

— Да разве политику от экономики оторвешь? Ты вот на нас кричишь: хлеб доставайте! Кормите рабочих! А где достать? Ты небось да Бадрызлов припрятали хлебец-то да из-под полы за большие деньги продаете.

— А тебе еще хлеб выдай! Вы поставили рабочий контроль над производством... Так и здесь хочешь? Да кто вас пустит контролировать, если нет на то санкции из Петербурга?

Уходя, Савкин каждый раз приказывал:

— Уберите ящик из-под окон. Чего он торчит тут?

— Может, еще пригодится! — с усмешкой отвечал Иван, и ящик оставался.

— Не поймешь, какая партия что требует. Все партии перемешались! — чертыхались работники.

— Скоро разберетесь. Нашу линию — линию большевиков — только не путайте,— шумел Иван.

— Да много ли вас в Совете-то?

— А вот мы выборы новые готовим, своих протянем... Мы уже и теперь кое-где восемь часов рабочего дня добились.

Это Еленка поняла. И, когда ночью ее снова растолкала Феша, она проворчала:

— И что это в самом деле: Советы восемь часов для работы отводят, а не все сутки!

По вечерам, как и прежде, к Савкину собирались гости. Еленка и здесь слушала разговоры и порой смешила работников не понятыми ею словами:

— Революция — это чума. Это — стихийное бедствие. Надо давить ее, как заразу, безжалостно.

Подавая работникам с печи захлестанные варежки, девчонка шептала голосом Феши:

— Спасайте свое добро от революции!

Эха будто подменили в эти дни. Он все убегал куда-то, стал шумлив, многословен. Работники выполняли за него работу и ничего не говорили об этом хозяину. За столом, в кухне, он рассказывал, что дворцовый переворот произошел потому, что царь неспособен вести войну, а буржуазия хочет войны и власти.

Говорил Эх и о том, что против царя бастовал весь рабочий Петроград, что рабочие выпустили из тюрем всех политических, арестовали царских министров, войска перешли на сторону революционеров, что появились Советы рабочих и солдатских депутатов. Но только во главе многих Советов стали меньшевики.

— Ленин и другие большевики в ссылке, вот все и пошло не так... Временное правительство организовали втайне от большевиков. А Советы все равно живут! И будут жить!..

Работники жадно ловили каждое слово Ивана. Когда к Савкину приходили купцы, они посмеивались:

— Представители власти...

Как-то утром Иван сказал:

— Пойдем солдата смотреть: Палька Лямин с войны убежал.

После обеда, когда Феша спала, работники отправились в Мигай. С ними пошла и Еленка.

Стоял апрель. Дорога потемнела, снег осел, и Иван, по обыкновению балагуря, сказал:

— Еще одна зима-рокотуха прошла.

В тесной избе Ляминых было душно.

Посмотреть солдата собралось несколько мужиков, баб. Все чинно разместились на белых выскобленных лавках вдоль стен и у печи, а солдат сидел у стола, рядом с матерью, и хлебал из большой глиняной чашки похлебку.

Трудно было узнать в худом и оборванном солдате белокурого веселого парня Пальку Лямина. Когда-то у него был смеющийся рот, а теперь лицо его с ввалившимися глазами обросло рыжей щетиной и рот как-то странно подергивался, когда солдат начинал говорить. Глаза смотрели на всех безучастно, лениво. Только услышав о смерти Лизы Пряхиной, он, как рыба, попавшая на сушу, несколько раз глотнул воздух.

Старуха, раскинув на коленях шинель сына, обирала с нее вшей.

Кто-то из мужиков, глядя, как старуха часто давит ногтями, посмеялся:

— Душа в теле, а шинель вши съели!

— Царь с престола сошел, власти теперь над нами нету, ну, я и пришел домой, да не я один, много...— рассказывал солдат, лениво переводя взгляд с одного лица на другое, пожимался, часто выставлял вперед ногу в сером, разбухшем от сырости сапоге и снова прятал ее под стол: видимо, чувствовал себя неловко под взглядами любопытных.

— Я долго думал: в плен сдаться или домой уйти. Решился домой. На родине и камень — перина, — говорил он хрипло.

Одна молодуха с курносым лицом неожиданно завыла:

— А как же мы без царя-батюшки жить будем?

Мужики сдержанно засмеялись. Баба удивленно огляделась и смолкла.

Иван, смеясь, кивнул молодайке.

— Были бы рабы, а господа найдутся! — сказал он.

Кто-то лукаво напомнил солдату день мобилизации:

— Да-а! «Одного убью — семеро лягут!.. За русского царя и умирать не жаль!..» Ровно ты это кричал, Паля?

Солдат хотел что-то ответить, но в избу вошли два урядника, с шумом распахнув дверь. Они были без погон, в простых черных шинелях: костюм для «народной» милиции еще не придумали.

Все стихли. Солдат вскочил и одернул рубаху.

— Павел Лямин,— заговорил густым голосом молодой безбородый урядник,— ты арестован, как убежавший с фронта.

Солдат побледнел, губы его задрожали, но он стоял, вытянувшись и не отвечая. Старуха кинулась перед урядниками на колени.

Кто-то из мужиков прошептал:

— Вот тебе и «царя нет, воевать не для кого»!

Мужики тихо начали выходить из избы.

Второй урядник, погладив узкую черную бороду, вкрадчиво пояснил:

— Царя нет, есть Временное правительство. Война не окончена.

По улице солдат шел между урядников, все время теребя пуговицы шинели, пытаясь их застегнуть. Старуха бежала за ним в одном платье и голосила.

XXII

Феша все реже появлялась на кухне. Распоряжения отдавала по утрам и не терзала Еленку ежеминутными окриками. Все свободное время Феша раскладывала карты и, когда ей падала соперница, на чем свет стоит ругала Марину.

И вот теперь, когда Еленка почувствовала себя хозяйкой кухни, у нее установился образцовый порядок. Изнуряющие мелочи кухонной работы казались теперь легче; утром и вечером она кормила батраков, проявляя о них нежную заботливость. Усердствуя, не жалела для них масла и мяса из купеческих запасов. Работники как могли покровительствовали Еленке. Она не чувствовала себя одинокой.

— Ты, Эх, сегодня плот от берега отпихни,— приказывала она.

— А чем платить станешь, керенками или царскими? — смеялся Эх. Но все-таки брал под козырек и ковылял к пруду отпихивать от берега плот, чтобы маленькая хозяйка не утонула, доставая воду. Перед сном, ужиная в кухне, батраки часто вели приглушенные, непонятные Еленке разговоры.

— Не переделать жизни вам, советчики,— говорил Федор мрачно.— Нет, не переделать! Сколь раз попытки делали люди, а что вышло? Вон в пятом году сколь крови потеряли! Все равно их верх был!

Иван восторженно кричал:

— А теперь наш будет! Эх! Что теперь в Петрограде делается! В Москве! Ленин из ссылки вернулся... Подумаешь, так кровь кипит! Большевики на Первом съезде Советов что сказали? «Долой войну, долой министров-милитаристов!» Советы рабочих и солдатских депутатов не допустят издеваться над народом.

Федор качал головой:

— Все одно Советы твои без власти — как комолая корова: шишкой не боднешь!

— Подождите! А слова «Вся власть Советам!» слыхали?

— За такие слова тебя в тюрьму или в солдаты! Не посмотрят, что ты на полутора ногах... И что тебе, паря, не хватает? Живешь ты на месте, место у тебя хорошее, хозяин между двух баб путается, в дела не вмешивается, платят тебе исправно, каждый день каши дают... Чего тебе еще?

Иван, забываясь, кричал все громче и громче, стараясь убедить товарища:

— Мне надо, чтобы ты, дурак, легче жил, чтобы Елька наша солнышко видела! Чтобы все, кто не знает, что значит быть сыту, жизни понюхали!

Заломив руки, Иван твердил:

— Эх, братцы! И жизнь настанет! Человек будет трудиться спокойно для счастья и мира!

Каждый раз он говорил на кухне что-нибудь новое:

— Слыхали? Вторая уральская партийная конференция открылась.

Или:

— В Перми забастовали швейники! Во — люди! На конференции решили требовать: к черту контрреволюционеров!

Федор опасливо поглядывал на дверь в горницу.

— Умерь голосок, паря, а то раньше времени в тюрьму угодишь!

Лука слушал их споры молча и незаметно подсовывал лучшие куски Ивану. Раз Еленка спросила, зачем он так делает. Старик смущенно рассмеялся:

— Увидела, сорока! А ты будто не видишь, молчи! У Эха твоего мысли дерзкие, сил ему в жизни много потребуется, ну и пусть ест на здоровье, сил копит!

К осени в доме стало тревожнее. Говорили шепотом, появились непонятные, чужие слова. Только слово

«Совет» было ближе, роднее. Когда-то Еленка слышала, как Талька просила мать: «Присоветуй, как жить!»

Мать тогда ничего не могла присоветовать дочери.

— Привыкай! Я сама у горя на погибели! — ответила она только.

А вот теперь в бывшей волости сидят люди. Сидят и думают, что присоветовать каждому.

Эх вел непонятную жизнь. Иногда Еленка не видела его целый день, а ночью он вваливался в кухню и требовал есть.

Усталый, непроспавшийся, он весь как-то светился, загадочно говорил, ухмыляясь:

— Наша теперь власть. Добилися!

Одной ночью к работникам в кухню вошел «сам».

— Ваша власть, так что же вы мосты не почините? — как-то странно подергиваясь, спросил он.

Эх хмуро ответил:

— Не до мостов!

— Хозяева! И вообще собственность еще существует, а раз так, то вы должны работать на нас, как бы вы нас ни «любили».

Савкин теперь отсиживался дома, лавку закрыл, испуганно вскакивал, когда кто-нибудь входил; лицо его побелело, обросло густой щетиной. Часто шептался он с Фешей, с ненавистью и боязнью следил за каждым шагом работников.

Однажды Феша приказала не кормить Ивана:

— Пусть его Совет кормит, нам его набивать не за что!

Савкин, выйдя в кухню следом за «барыней», робко заметил:

— Не надо так... сразу... немного еще потерпим.

Феша убежала в горницу, но тут же вновь вышла и отдала новое распоряжение:

— Пока покорми еще советчика-то... Недолго уж терпеть нам осталось.

Еленка поняла, что они боятся Ивана. Боятся и ненавидят.

— Ешь пока, советчик у горя на погибели! — сказала ночью Еленка ему, ожидая, что работник, как всегда, будет смеяться над ее словами. Он же выслушал серьезно, тряхнул головой и убежденно ответил:

— Ничего... выдюжим!

Было непонятно, Еленке ли ответил он или скрытым своим думам.

Озабоченно Иван продолжал:

— Поднялась свора! Из всех подворотен лай! Наши сколачивают рабочие отряды... дыхнуть не дадим!

Феша озабоченно носилась по дому с узлами, прятала их, сдирала кружева со столов и с окон, со стен — ковры.

Она уже не наряжалась в шелка, а в заплатанной, затасканной юбчонке шлепала стоптанными войлочными туфлями по опустевшим комнатам и вздыхала громко:

— Вот война до чего довела! Обносились все!

К Савкину часто прибегал по ночам встревоженный Бадрызлов.

— Бежать... бежать... Я сегодня всю муку спустил,— сообщал он, злобно теребя на жилете цепочку от часов.

Савкин, скрестив на толстом брюхе большие руки, утешал:

— Временно, все временно.

— Как знать?

— А я говорю — временно: нам помогут! Каждого выпорем ремнем так, что двуглавый орел на з... отпечатается. Раздавим!

Слово «раздавим» Савкин произнес с ненавистью, оно просвистело, как удар плеткой, в пустом воздухе.

Работники уже ничего не делали для Савкина. С утра торопливо уходили из дома по своим делам. И как только они исчезали, Феша начинала вытаскивать какие-то узлы во двор и укладывать в пустые телеги. Она похудела, металась по опустошенным комнатам от окна к окну. Подойдет к одному, постоит, посмотрит на улицу, переходит к другому. Раз у нее вырвалось:

— Как уедет мой-то с Мариной, а меня здесь оставят...

Без конца ворожила, раскладывая карты на голом обеденном столе.

Одним утром она сказала Еленке:

— Отказываю я тебе, Елюшка, — самим нечего есть, да советчики еще навязались!

Она не заказала в этот день обеда, и девчонка изнывала от праздного томления.

В полдень, как всегда, она поставила самовар. Но он долго не закипал. Феша закричала:

— Я тебя научу господ уважать!

Бить Феша умела. Она брала голову девочки за подбородок одной рукой, а другой, самыми кончиками пальцев, хлестала по щекам. Получалось очень больно. Но сегодня Еленка знала, что это в последний раз, и не плакала. Только щеки у нее разгорелись, как от радости.

— Ты не в горячке хвораешь, тебя уважать-то,— вдруг отрубила она.

Вскипел самовар. Еленка сняла с себя фартук, который принадлежал Феше, свернула его аккуратно и положила на стол. Связала свой узелок. Подумав, она сунула в узел куклу: в жизни все может пригодиться.

В воздухе кружились редкие хлопья снега.

От ворот отошел Эх, держа под мышкой гармошку с бубенцами. Работники провожали его молча, а Эх беспрестанно оглядывался и кричал:

— Зря остаетесь! Нам там надо быть, с флагами, в отряде! Сегодня мы присоединяемся к всеобщей забастовке. Она первого сентября прошла...

— Ну, прошла так и прошла!

— Нет, дорогие, не понимаете вы. До вас первое сентября не сразу докатилось. А мы и сейчас свой голос до всего народа донесем,— горячился Иван.

— Ну, иди доноси. А мы пока еще не разберем, чей голос чище,— ответил Федор.

— Вот сбреют ваши флаги, а вас в тюрьмы! — добавил Лука.

— Ничего,— звонко, радостно кричал Эх,— хуже, чем есть, не будет! Пошли?!

Ящик под окнами пригодился. Снова собрался народ. Снова на ящик взбирались один за другим люди, только речи звучали другие. Первый поднялся на него Илья. Еленка не видела еще брата таким. Он смотрел гордо. Голос его звучал уверенно, сильно.

— Мы требуем! — говорил он.— Долой каторжные законы против солдат и рабочих! Долой смертную казнь! Будь проклята контрреволюционная диктатура! Да здравствует пролетарская революция! Мы видим уже приближение ее. Скоро грянет час!

Увидев Еленку, вышедшую со своим узелком, из которого торчала взлохмаченная голова куклы, Лука

вдруг торопливо ушел во двор, а Федор с любопытством оглядел девочку и сказал про себя:

— И у этой все лицо воспылало. Тоже небось к красным отчалила?

— Прощевай! — крикнула ему Еленка.

На горе она обернулась, махнула Федору рукой и побежала по крутой обледенелой тропинке к мосту.

По мосту к Мигаю шла толпа рабочих.

«Опять в солдаты людей погнали»,— решила Еленка.

Но никто не ревел над толпой уходящих, никто не кричал вслед наказов чаще молиться и слушаться начальства. Шли люди серьезно, словно сами знали, что им делать. Шли нога в ногу, с ружьями за плечами, а в голове толпы шумело красное полотнище.

Эх тоже встал в ряд, переваливаясь, словно утица, пошел вместе со всеми, восторженно оглядывая товарищей и восклицая:

— Эх, братцы!

Еленку опередил Лука, крикнул на ходу:

— И я хочу в жизнь выплыть! Пошли за счастье драться!..

В голосе старика, как и у Ивана, слышалась решимость на что-то большое и отчаянное.

Еленка сразу все поняла: счастье родилось на земле, люди успели уже проведать об этом и вот идут навстречу ему.

Только не было той тишины, как в сказке. Еленку обгоняли все новые мужики и парни; навстречу толпе из Мигая тоже торопливо бежали рабочие и становились сзади, образуя новые ряды. Еленка слышала их тяжелые шаги, смутный говор. Во дворе одного дома раздался женский крик:

— Иди, иди! О семье-то не думаешь!

Из ворот выскочил красивый мужик с русой кудрявой бородкой. За поясом у него был заткнут топор.

Из окон смотрели женщины, дети, слышались их возбужденные голоса:

— Пошли!

— Слышь, и бабы с ними!

— Дай им, господи!

Из переулка навстречу Еленке выбежала Марина, испуганная, растрепанная, шаль сползла набок, под незастегнутой шубейкой виден был розовый капот. В обеих руках она несла по тяжелому белому узлу.

— Уехали Савкины?

— Нет еще, собираются... Ты уж барыню-то мою возьми,— попросила вдруг Еленка,— а то она каждый день ревет, боится, что ее здесь оставите...

Марина поставила узлы на снег, поправила волосы, шаль, застегнулась. Никогда еще Еленка не видела у нее такого злорадства на лице. Марина смотрела в сторону дома Савкина и шептала:

— Там увидим! Там увидим!

И вдруг села на узел, беспомощно хватая воздух руками: в толпе шел Илья, одетый в шинель. Серая кепка заломлена на затылок. Он тоже увидел Марину, побледнел и, отвернувшись, прошел мимо.

Еленка побежала следом.

От одного дома к толпе сильным мужским шагом шла девушка, совсем еще юная, полные губы были у нее плотно сжаты, как иногда сжимала Клавка Пряхина, когда хотела поставить на своем. У дома стояла старуха и молча, по-деловому, крестила девушку в спину.

Большой мужской голос из середины толпы начал песню:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

И взрослые бородатые мужики подхватили песню серьезно, как молитву:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Еленка увидела Андрейку. Он не таясь шагал вместе со всеми, часто сбивался и смотрел под ноги товарищей, чтобы направить шаг, а потом снова вскидывал голову и потряхивал плечом, на котором висело ружье.

— Андрейка! — закричала Еленка. Брат не слышал за песней крика и шел, кося глаза то себе на ноги, то на дуло ружья за плечом.

— Андрейка! — крикнула снова Еленка и рванулась вперед, но вдруг увидела, что потеряла куклу.

Она двинулась обратно, крутилась под ногами встречных, разглядывая смятую дорогу, жалобно шепча:

— Затопчут ведь ее до смерти!

Но тут же огляделась: не слышит ли кто ее слов,

рассмеялась, отмахнулась от заботы о кукле, побежала за народом, который наконец нашел счастье.

В сказке земля должна была притаиться, когда рождается счастье, но соловей мог ошибиться. Большая толпа людей пошла все-таки к счастью, так сказал Лука, и это было видно по лицам идущих, по их блестящим глазам, по затаенной решимости даже умереть, если это будет нужно, чтобы защитить счастье.

Песня летела к горе, к рабочим избам. Рокочущие низкие голоса гудели:

Все, чем держались их троны, —
Дело рабочей руки...

Сейчас песня пролетит мимо дома Дерябиных. Навстречу, наверное, выскочат мать и Талька, встанут в ряд и пойдут с народом, чтобы не пропустить свое.

Еленка побежала за толпой, звонко оповещая улицу о необычайной радости для земли:

— Счастливый родился! Счастливый родился!

1939—1951 гг.

ВАРВАРА ПОТЕХИНА

Часть первая

I

Густая белая пыль лениво сочилась между пальцами ее босых ног и обволакивала крупные потрескавшиеся ступни. Огромное солнце разомлело от зноя и стояло в небе неподвижно.

Идти тяжело. Накаленная сухая пыль жгла ноги. Варвара бережно поддерживала руками большой отвислый живот, обтянутый тесной, всползшей кверху юбкой. Перекинутые на согнутый локоть, связанные шнурками башмаки мешали идти.

По обе стороны дороги тянулся голый пустырь, на котором то тут, то там возвышались вросшие в землю камни.

Варвара остановилась, вытерла рукавом белой кофты пот с лица, запекшиеся губы и, оглянувшись назад, увидела рыжую облезлую собаку. Собака тоже остановилась, глядя на женщину печальными глазами, потом, тихо и тонко подвывая, вновь поплелась за ней, опустив хвост.

Серая дорога поднималась на пригорок. Уже видны были березы и тополя, затем деревянные кресты и зеленые холмики кладбища. Варвара шевелила губами. Вот она придет сейчас на могилу матери и, растягивая слова, выплачет жалобу с горечью и с наслаждением:

— Мама... мамонька... узнай, как мне жить-то без тебя сладко...

Ей было семь лет, когда умерла мать.

Маленькая Варька не понимала тогда тяжелого смысла смерти. Ее гладили, ощупывали ласковые руки старух, над ней выли и, вздыхая, шептали:

— Беда... Сирота теперь... Куда теперь? — И выталкивали вперед, ближе к гробу.— Да посмотри-ка ты на мать-то... в последний-то...

Варьке тоже хотелось завыть тонко и длинно, как эти причитающие над ней женщины; она плакала над гробом матери по-детски — сладко и искренне, разнежившись от теплого участия людей: чем больше она хныкала, тем печальнее качали над ней головами старухи.

После похорон дядя, брат матери, большой и бородатый, взял ее за руку и сказал:

— Ну, пойдем...

Варька боялась его черной бороды и впервые заплакала от страха за себя.

С тех пор сирота ни разу не видела участливого взгляда. Любка, дочь дяди Захара, била Варьку, когда та хотела поиграть с ней или посмотреть картинки в букваре. Варьке редко удавалось перелистать эту заманчивую книжку.

Иногда ночью, сидя на постели в своем углу, она брала рваный головной платок, свертывала и качала на руках, как любимую куклу.

— Баю... баюшки... баю...

Подчас девчонка забывалась и мечтала о том, что скоро все будут любить ее, и тетка Анфиса, жена дяди, вдруг притянет ее к себе и скажет ласково, как мама:

— А ты поиграй...

Однажды утром Варька доверчиво прижалась к коленям тетки, но грубый подзатыльник отшвырнул ее в сторону:

— Ты что слоняешься, дармоедка?!

Ей в руки постоянно совали вязку, штопку или ведро помоев. Она хотела есть и тянулась за куском хлеба, но дядя больно бил ее по руке.

— Хватит! Навязалась на нас... Больше всех жрешь!

И скоро Варвара стала злым и недоверчивым заморышем. Выглядывая из-под нависших на глаза грязных черных косм, она научилась видеть и понимать все.

В пятнадцать лет она поняла, что дядя, называясь опекуном, ловко ее ограбил. Раз Варвара спросила:

— А что мне от мамы осталось? — И увидела, как дернулась дядина борода. Девчонка ждала, что он прибьет ее, и уже готова была отказаться от всего.

Задыхаясь от гнева, дядя ответил:

— Жрешь у меня... чего тебе еще? Изба вон осталась...

Но иногда угрызения совести начинали мучить мужика. Он вспоминал, как отвел корову Варькиной матери на базар, как присвоил богатый травой покос и перевез в свой чулан сундуки сестриного добра и, наконец, как много он заставляет работать на себя эту черную скуластую девчонку. Тогда, покупая к празднику обновы дочери, он покупал на юбку и ей.

Варька многому научилась. Научилась предупреждать каждое желание тетки, научилась не попадаться на глаза заносчивой сестре, боясь ее щипков и насмешек. Ненавидя Любку, она угождала ей и молча завидовала. Однако она не забывала и себя: научилась припрятывать куски хлеба и незаметно съедать их потом, научилась не до конца продаивать коров, чтобы потом отдоить для себя остатки молока. Научилась жить и приспособляться.

Спала Варвара в холодных, еле отапливаемых сенях. Как сторожевая собака, спала чутко, готовая каждую минуту вскочить на зов хозяев или на тревожное мычание коров.

В конце каждой зимы, когда у крестьян выходил свой хлеб, они шли к ее дяде за займом. Варвара развешивала пыльную ржанину, подсчитывала долги. Както обнаружилось, что девушка, плохо зная счет, прикидывала мужикам лишнее. Долго в семье Беляева корили и высмеивали ее:

— Ни на что же у тебя ума нет, Варвара! Муку швыряла ни за грош ни за копеечку! Да нам весной за каждый фунтик отработают, раззява!

Вместе с должниками девка косила траву, жала и молотила хлеб и в то же время убирала за скотом. Ее миром был двор: куры с криком бегали за ней, коровы мычали, завидя ее, лошади тихо и просяще ржали. Варвара знала, что все делала хорошо. Без нее уже не могли обойтись в богатом доме Захара Беляева. Так прожила она семнадцать лет.

Некрасивая толстая Любка, засидевшаяся в девках, иногда, придя ночью с гулянки, тащила батрачку к себе в постель и рассказывала о парнях, о поцелуях, волнуя ее мечтами о неизведанном счастье. Лежа с открытыми глазами, прислушиваясь к доносившимся с улицы задорным припевкам и к гармошке, Варвара создавала себе заманчивые картины тихого счастья, своего счастья. За всю жизнь она не пережила ни одного самого невинного наслаждения, а бесстыдные рассказы сестры открывали ей целый мир.

На косьбу, на полотье, уборку и молотьбу сходилось к дяде много людей. Но больше всех ждала Варвара на работу Андрея Дорохова, высокого парня, сына вдовы. Золотистые кудри свисали у него на лоб. К осени они серели, точно отцветали. Глубоко утонувшие

голубые глаза Андрея глядели на всех с любопытством и озорством.

Широкоплечий и сильный парень будто не замечал женского внимания к себе и все чаще и смелее поглядывал на одну Варвару. А когда однажды на молотьбе он участливо подхватил у нее тяжелый навильник соломы и сказал при этом что-то ласковое,— глаза у девушки заблестели и работать спокойно она уже не могла.

Никогда не слыша таких слов, не видя участия к себе, Варвара была переполнена глубоким чувством благодарности и преданности; скоро научилась бегать украдкой по ночам туда, где поджидал ее кудрявый и ласковый парень. Он мог от нее требовать все. Скоро Варвара поняла, что беременна, однако не сказала об этом Андрею, боясь отпугнуть его и не веря, что кто-то может любить ее.

Как-то вечером она рассказала Любке о своем счастье, но сразу поняла, что свои чувства надо скрывать. Сестра начала тщательно выслеживать ее, никуда не выпуская из дому. Она готова была сама не выходить на песни подруг, только бы не позволить Варьке быть счастливей ее.

О позоре сироты узнали все. Когда удалось ей вырваться из-под слежки, она не нашла парня на обычном месте: он больше не приходил.

Что ее ждало — Варвара не знала. Когда Беляев увидел, что племяннице стало уже трудно работать, он ее выгнал из дому, грубо, как потаскушку.

Варвара бродила по заросшему кладбищу, не находя могилы матери; долго стояла в тени тополя, не зная, где выплакать свое одиночество. Сняв с руки запыленные башмаки, села на чей-то зеленый холмик.

Было душно. Знойный ветер обжигал лицо. Слова терялись, путались, и складной жалобы, которую можно было проплакать, пропеть на могиле, не получалось.

Листья деревьев слегка шелестели, солнце мигало сквозь них, и маленькие яркие пятна играли на крестах и на дряблой поблекшей траве.

В другом конце кладбища, за березняком, слышалось блеяние овец да внизу, на дороге, порой громыхали телеги. Корова, отставшая от стада, резала зубами высокую траву невдалеке.

Варвара почувствовала вдруг, что устала, как в первый день косьбы: ломило спину, горели и ныли ноги, хотелось пить и сильно колотилось сердце.

Она легла, положив под голову руки, и быстро уснула, раскинувшись на чужой могиле.

Солнце закатывалось, когда Варвара проснулась. Стремительно села, подогнув под себя ноги, вытирая распухшие губы шершавой ладонью.

Накрапывал дождь. Редкие капли глухо ударялись о траву, тревожно шумели листья тополя.

Она поднялась, подвязала платком голову и пошла с кладбища.

Из-за могилы выскочил все тот же рыжий пес и запрыгал вокруг, пытаясь лизнуть ей руки.

— Куда мы с тобой теперь, Полкашка? А?

Они пошли под дождем — он впереди, она сзади, тревожно всматриваясь в серые, придавленные тяжелыми мокрыми крышами избы, там, под горой.

Подойдя к деревне, Варвара, остановилась:

— Ты не ходи за мной... Не ходи, Полкан...

Она пошла узкой извилистой тропой, все время оглядываясь. Собака плелась за ней.

— Тебе говорят... Пшел к дяде! Сама в голод иду... Пшел, ну!

Собака нерешительно остановилась. Не оборачиваясь Варвара скрылась за поворотом.

Ее избушка, стоявшая на краю деревни, покачнулась, одной своей половиной глубоко вросла в землю. В ней жила семья старого партизана Семена Пикулова, у которого два года назад сгорел дом.

Проходя мимо, Варвара взглянула в окна. Можно было и не бояться входить в собственный двор, однако руки ее, взявшиеся за скобку калитки, дрожали.

В избе женщина остановилась у порога и тихо проговорила:

— Здравствуйте...

Ей никто не ответил.

Долго стояла она, не зная, как сказать этим людям, что пришла совсем и что им придется подыскать другую квартиру.

Ее оглядывали с откровенной враждебностью. Пикулов сидел на кровати. Желтые клочья волос обрамляли его лицо, прикрывали черную, в трещинах шею. Он часто и беспокойно теребил бородку, вперив глаза в Варвару.

Старшая дочь Пикулова, Зоя, худенькая, с бледным лицом девушка, укачивала ребенка, неумело держа его. Светлые косички распались по плечам, широко раскрытые голубые глаза выражали жалостливое любопытство.

Лукерья, жена Пикулова, маленькая остроносая баба, вышла из-за печи и, вытирая руки синим фартуком, спросила:

— Что, выезжать нам прикажешь, хозяюшка?

Варвара поняла, что они знают о ее ссоре с дядей, и обрадовалась: ничего не придется объяснять. Отсюда ее уже не выгонят. Она прошла вперед и села на лесенку у печи.

Изба была темная. Черный потолок низко нависал на стены. Кое-где между бревнами торчала клочьями пакля. Узкие два окна скривились над самой землей. Одно стекло было разбито, его заменяла розовая подушка. Пол грязен.

«До чего загадили, господи...» — подумала Варвара и запоздало ответила:

— Живите пока... потеснимся...

Лукерья неопределенно гмыкнула и скрылась за печью.

Мужик неожиданно притопнул на ребятишек ногой:

— Тише, проклятые! — В наступившей на миг тишине сердито спросил: — Чем же ты кормиться будешь? В колхоз подашься?

Нет, в колхоз она не пойдет! Если дядя Захар вошел туда, так она не пойдет... Батрачить больше не согласна!

Чем кормиться? Этот вопрос уже тревожил Варвару. Она хорошо понимала свое положение.

— Жива буду — не умру...

Однако в этом доме, в своем собственном доме, слово «кормиться» показалось Варваре угрожающим. Хотелось жить, как все, обзавестись хозяйством; все свое: свой огород, своя корова, своя посуда, свои половики и большая кровать,— все для того, чтобы быть счастливой.

Варвара вышла во двор. Реденький забор покосился над густой зарослью крапивы и репейника. Между двором и небольшим огородом стояла конюшня, и оттуда в сломанную дверь неслось зловоние. Тесовая обшивка сарая худа, доски висели над проходом, угрожая каждую минуту свалиться кому-нибудь на голову. Дождь хлестал по грязным вывороченным половицам, по гнилому навесу и крыше, затянутой бледным зеленоватым мхом.

Женщина села на крыльцо и закрыла лицо руками. Среди разноголосого гама в избе было слышно, как гремела посуда — готовились к ужину.

Варвара вдруг почувствовала, что голодна, и не могла уже думать ни о чем, кроме того, что хочется есть. Язык тяжело двигался во рту и казался распухшим. Она соскочила с крыльца, но села вновь и прислушалась. «Не пойду... может, позовут...» Гвалт детей прекратился. «Что они могут такое есть?» Варвара осторожно подошла и затихла перед закрытой потрескавшейся дверью, затем быстро распахнула эту дверь и перешагнула порог.

Семья сидела за столом. Никто, казалось, не заметил Варвару. Она села на лесенку у печки, потом перебралась ближе к столу, на край большой лавки, и с тоской оглядела избу, стараясь изо всех сил скрыть свое единственное желание — поесть. Она вдруг увидела, что Пикуловы много и жадно едят. Мужик мелко жевал хлеб, размоченный в чашке; быстро двигались его бледные губы, открывая крепкие десны; по-хозяйски собирал он на столе и на коленях крошки и совал их в большой рот.

«Во что и лезет!» — Варвара чуть не вскрикнула возмущенно и протестующе. Остро, мучительно ненавидя этих людей, она громко попросила:

— Напой меня, тетенька!

Лукерья проговорила, словно жалея слова:

— Садись почайпей с нами...

— Не-е-т... Я не хочу... Вот пить хочу...

Квартирантка поднесла ей большой, из черного железа ковш с водой. Варвара пила медленно, наслаждаясь тем, что женщина стоит около нее и теребит от нетерпения грязный фартук. Наконец Лукерья оторвала ковш от вытянутых губ, раздраженно спросила:

— Куда ляжешь-то?

— Не знаю...

Лукерья швырнула на пол возле печи какую-то вонючую кошму.

— Ложись уж...

Варвара легла, отвернулась к стене и молча заплакала.

На хозяйской кровати долго возились, чесались, укладываясь, шептали. Варвара знала, что говорят о ней. «Завтра же нужно искать квартиру... навяжется...» — ворчала Лукерья.

В избе было душно. В стекло с тихим и тонким стоном билась муха. Шумели тараканы.

Когда хозяева уснули, Варвара тихо поднялась, вышла через открытые двери в сени и осторожно пошарила руками по полкам. Она нашла горшок с гречневой кашей. Плотно сжатой пятерней отдирала кашу, присохшую к стенкам горшка, и набивала ею рот. Так же осторожно вернулась в избу и, свалившись на кошму, уснула.

II

Через несколько дней, оставшись одна в пустых стенах своего дома, она обшарила углы и щели, выискивая, не завалилась ли где нужная вещь — посуда или одежда. Бегала по свалкам мусора, извлекала оттуда тряпки, старые башмаки, негодные шнурки — все находило место в ее доме. Она отыскала даже обломок зеркала и повесила его в простенок. По утрам, причесываясь, разглядывала свое отражение. Лицо на стекле не вмещалось, и, поводя головой, Варвара видела то брови, сросшиеся над переносьем, то строгие серые глаза, то прямой тонкий нос и упрямо сложенные губы; в углах губ скорбные складки.

Женщина находилась в каком-то исступлении: приобретать! Жить, как все!

Старуха Чувелева, соседка Варвары, попросила ее выстирать белье. Варвару не испугала огромная куча грязных тряпок, но удивила: столько всякого добра накопили люди! Вышитые нижние юбки, цветастые наволочки и холщовые рушники!

Зинаида, сноха старухи, высокая женщина с большими красными сережками в ушах, то и дело посматривала в корыто и приговаривала:

— Пену у тебя съело. Без пены — не стирка!

Старуха косо следила за снохой и громко вздыхала:

— Стыд! Стирку и то с найма с такой невесткой!

Варвара поняла, что мира в доме соседей нет.

Огрубевшие, потрескавшиеся руки ее побелели, промылись, взбивая пену. Зинаида не заметила, как прачка припрятала в рукав кусок мыла. Она без умолку говорила о том, что много обнов покупает ей муж. Осмелев, Варвара засунула под кофту холщовый рушник, рассуждая про себя: «У них много, а мне руки вытереть нечем...»

Но все-таки несколько дней она боялась встречаться с соседками.

У нее не было самого необходимого, и иногда по ночам она залезала в чужие дворы и тащила все, что попадало: ведра, доски, кринки, юбки, веревки. Чем больше прибывало вещей, тем сильнее чувствовала Варвара, что у нее нет ничего, что ей нечем жить.

Соседи, возмущаясь частыми пропажами, крепко запирали калитки, спускали собак, однако Варвара сама знала, что ходить на поживу в один двор несколько раз не следует, шла в другие улицы, тихо пробовала скобки ворот, прислушивалась и осторожно входила. Ее ни разу не поймали с поличным, но люди, видя, как пополняется ее хозяйство, начали подозревать. К шаткой репутации девки, бесстыдно нагулявшей живот, все чаще и чаще прибавлялось недоказанное, но справедливое слово — воровка.

Варвара делала чудеса из всего, что попадало в дом: сколоченный из досок топчан, стол — все было прочно, на долгую жизнь. Чисто выстиранные тряпки, которым надлежало заменить скатерть и одеяло, скрывали неуклюжую работу, и женщина могла гордиться — все было сделано ее руками. Она ходила в лес, собирала хворост, сосновые шишки и, согнувшись, тащила к себе огромные связки, приготовляя топливо на зиму. Под навесом двора уже выросла порядочная груда сучьев.

Жажда счастья закалила ее.

С утра работала Варвара у кого-нибудь из соседей — стирала, мыла избы, убирала огород. И никто не подозревал, что этой крепкой женщине трудно склоняться под тяжестью большого живота,— так легко она делала все, что ее просили.

Под вечер возвращалась с небольшим узелком хлеба или картошки: наедаться она научилась в людях, а заработанное откладывала в запас. Иногда удавалось припрятать что-нибудь под кофту. Расправляя на коленях тряпье, она не унывала от того, что оно слишком старо.

С ней никто не водился. Смеясь над собой, она говорила:«Привыкай, собака, за задком бегать!» Только соседка, Лизавета Косякова, дом которой стоял справа, забегала к Варваре запросто, как равная к равной, жалея ее:

— Замерзнешь зимой в опорочках-то...

Лизавета была председателем артели и любила рас-

сказывать Варваре, как вдовы организовались, как вступил в колхоз единственный мужик Семен Пикулов, как смеялись вначале, а потом влились к ним бедняки. А вот недавно пошел в артель и зажиток.

Варвара сначала подозрительно встречала, слушала Косякову, стараясь понять, что нужно Лизавете от нее, не допуская мысли, что люди могут бескорыстно интересоваться друг другом.

Лицо Лизаветы беспрестанно двигалось, приветливо лучилось частыми морщинами. Казалось, она когда-то давно долго и счастливо смеялась и от того ее смеха навсегда остался на лице неизгладимый след.

Однако Варвара не верила в людскую доброту. Когда Косякова прикрывала глаза и махала рукой, как бы изнемогая от смеха, Варвара враждебно думала:

«Из кожи лезет!»

Она узнала в жизни одно: некому верить, не на кого надеяться, кроме себя. Раз спросила Лизавету:

— Ты что ко мне забе́гала? Тебе от меня чего надо?

Та не обиделась.

— Ежом живешь! — произнесла она, как-то боком хитренько оглядывая Варвару и тихо посмеиваясь.— Чего от тебя взять? Не обокрадешь...

Неутомимая и настойчивая, придя с дневной работы, Варвара искала себе дела по дому. Ее двор уже потерял вид унылой нищеты. Развороченный гнилой пол обновился и сиял заплатами белых тесин, назойливой крапивы не было, забор стоял прямо и прочно, каждая доска во дворе была неуклюже, но крепко приколочена.

Варвара предусматривала все. Терпеливо сшивала разноцветные лоскутки в одеяло, рылась в накопленном тряпье, выбирая на пеленки для маленького: ей надо было подумать и об этом.

О том, как прокормить ребенка, будущая мать не думала. Она боялась только одного — родить девочку. И ясно представляла сына, мальчишку-помощника, похожего на Андрея. В яркой розовой рубахе, веселый и ласковый, он возьмет метелку и, отстранив мать, будет подметать во дворе.

Порой она ненавидела своего ребенка, думала о нем, как о враге, как о неизбежной беде. Ждать осталось недолго: спину чаще и решительнее ломило. Теперь одиночество пугало Варвару.

В один ноябрьский день она выбежала из избы и,

ухватившись за прясло, разделявшее ее ограду с соседской, крикнула:

— Алексеевна, выдь-ка!

Из избы торопливо выскочила во двор Чувелева — высокая и сухая старуха.

— Что, девонька, уж не отходила ли?

От страха за себя и от доброй растерянности старухи Варвара заплакала:

— Потерялась я, Алексеевна... Боюся... Не оставь ты меня.

— Господь с тобой! Не бойся, девонька, хорошо опростаешься... Не оставлю!

Старуха все-таки опоздала. Когда пришла к Варваре, та ползала на четвереньках по избе, стиснув зубы и закрыв глаза. Как слепой котенок, она тыкалась головой в стену, покорно поворачивалась и ползла в другую сторону.

Алексеевна спокойно открестилась в угол и потом уже подошла к извивающейся на полу женщине:

— Ну-ка, совсем растрепалась баба! Вставай-ка!

Старуха сбросила с топчана тряпье и уложила Варвару на голые доски.

— Лежи! То-то вы все: гулять надо, а родить лень!

Варвара увидела над собой лицо Зинаиды. Та оглядывала роженицу, словно ощупывала, накрывала ее широко раскинутые ноги платком, тихо и глупо спрашивала:

— Ну, как? Ну, скоро?

Варвара мотала головой и все громче стонала. Алексеевна суетилась, делая какие-то приготовления и покрикивала на сноху:

— Завесь окно!

— На что, мамонька?

Старуха хорошо знала свое дело и мягко учила сноху:

— Ребенок воровски зачат, воровски и родиться должен...

Зинаида покорно исполняла приказы свекрови. Потом усаживалась к Варваре. Подкараулив такую минуту, когда женщине было все равно — жить или умереть, спросила:

— Варюха, чей у тебя ребенок-то? Я никому не скажу!

Роженица ничего не могла ответить и, обессилев, еле водила языком по распухшим губам.

Алексеевна, засучив рукава, то и дело крестилась, шевеля сухими губами. Зинаида торопила:

— Да скорее, мамонька!

— Молчи ты, дура...— прикрикнула та на нее и умоляла Варвару:— Девонька, ты помогай мне, упирайся!

— Фельдшера бы...— слабо простонала женщина.

Старуха зашипела на нее:

— Бесстыдница! Это чужому мужику свои телеса казать?

Зинаида хихикнула:

— Да у нее же своего-то нет!

Варвара вздрогнула от брошенного смешка и почувствовала, будто с головы до ног у нее сняли кожу.

Вскрикнув, потеряла сознание. Когда очнулась, старуха показала ей завернутое в синюю тряпку красное сморщенное тельце и празднично, тепло улыбнулась:

— Кого ждала, девонька?

Варвара протянула руку к темному свертку.

— Сына бы мне, бабушка, помощника!

— Ну и хорошо. Значит, угодила я тебе... сын...

Теперь целые дни и долгие зимние вечера Варвара не выходила из дому. Иногда, закутавшись в рваную широкую шаль, выбегала во двор за дровами или за снегом.

Поставив глиняный горшок и загребая голыми руками мягкий голубой снег, смотрела через забор во двор Чувелевых. Как-то, увидев там Алексеевну, крикнула:

— Алексеевна! Может, знаешь где работу какую-нибудь? Я уж последние сухари догрызаю...

Старуха в раздумье жевала губами. Варвара, мелко дрожа от холода и перебирая ногами в рыжих стоптанных башмаках, с надеждой смотрела на нее.

— Подожди, может, что я для тебя и добуду...

И скоро Алексеевна принесла ей толстые мотки суровых ниток.

— Жалею я тебя... Вот, вяжи да вяжи. Одну свяжешь, и другую добуду.

Варвара обрадовалась работе и сразу начала разматывать пряжу.

— А сколько!..— заикнулась было она, но, увидев, что смутила соседку, смолкла.

— Ты свяжи, а потом уж о цене спрашивай! Не утаю: мне чужого не надо... Двадцать пять рублей за мережу... десять вперед дают. Что еще надо? Жить-то тебе все равно нечем...

От долгого сидения к вечеру начинало ломить спину, плечи ныли и не давали спать. Нитки до крови резали

указательный палец левой руки, на котором она затягивала узлы, но Варвара упорно не вставала с места.

Она высчитала все свои доходы от этой зимы. Каждый день женщина брала себе урок: связать не меньше четырех аршин. Раз люди могут столько вязать, то и она сможет. На одну сеть она клала двадцать дней, а в зиму рассчитывала связать пять мереж, по восемьдесят аршин каждая,— выходило не менее ста двадцати рублей.

Сто двадцать рублей! Эта сумма пугала и завораживала. Варвара ушла в кропотливую и скучную работу, отрываясь от нее, чтобы только покормить ребенка. Но, прижав к груди жадный маленький рот, она и тут нашептывала свои вычисления:

— Дом поправим, Коська, крыша-то валится... С весны огород засадим... курочек заведем. Хлебушка-то мы с тобой шутя заработаем!

Алексеевна завидовала Варваре. Как-то, меряя мережу растянутыми в сажень руками, проговорила:

— Ладно ты вязать стала... И-и-и! Пожила бы я одна-то, девонька: сама себе хозяйка! Никто тебе не мешает, никто не указывает.

Ей нравилась тишина Варвариной избы. В ней не было той бестолковой суетни, какая часто бывает в семейных избах. И сама Варвара, казалось, берегла движения, все делала с расчетом принести пользу своему хозяйству.

Старуха принесла Варваре деньги за первую связанную сеть и, пряча белесые глаза, сказала:

— Будь они прокляты... только двадцать рублей дают за мережу-то... На вот, получай остаток.

Варвара мяла в руке две синих бумажки и не могла сразу найти, что сказать Алексеевне. А та как ни в чем не бывало тараторила:

— Золотые у тебя руки, девка... Дурак твой мужик — бежит от таких рук... Да ведь твои бы руки в хозяйство!

Варвара все-таки выговорила:

— Бабушка... может, они прибавят... Дом я хочу поправить.

— На что тебе дом? — удивилась Алексеевна. — Ни скота, ни живота, а дом... Что ты! Я тебе, может, еще мережу принесу и овсянки с ведро раздобуду — вяжи знай.

Теперь Алексеевна просиживала у Варвары со своей пряжей целые вечера.

Тихий свет маленькой лампы на столе скрадывал жалкую бедность Варвариной избы. Бледные тени заполняли пустые углы, комната приобретала теплый уют. Варвара с Алексеевной работали, думая каждая о своем, редко перебрасываясь словами.

Но иногда тишина их вечеров нарушалась приходом бездельной и шумной Зинаиды.

Громко захлопывая дверь, она еще с порога выкрикивала:

— Ну что, как, отшельница богова?

Жадно оглядывая избу, она смеялась:

— Уф, Варюха, и пожила бы я твоей-то жизнью: кого хочу, того и пущу!

Алексеевна, с жалостью причмокнув губами, строго качала головой:

— Эх, порядки нынче не те. Я бы из тебя, сношенька, человека сделала бы!

Они начинали переругиваться. Зинаида не уступала свекрови ни в одном слове.

Старуха быстро уходила; она не любила снохи и часто предупреждала Варвару:

— Не верь ты, девонька, Зинаиде. Ты ей своей работой-то глаза режешь — продаст она тебя.

Зинаида любила смущать Варвару неожиданными и вызывающими словами.

Смотря на Костю, она говорила:

— Ну, Варюха, это уж Андреева капелька-то! Весь вылитый Андрей.

Однажды Варвара сказала:

— Ты не царапай! Оставь Андрея в покое!

— Не царапай? Значит, все еще саднит?

Молодуха села напротив и, подперев голову, с любопытством следила за ней.

— Ведь не скроешь, Варюха! Как взглянешь на твоего Костю, так и увидишь — вылитый отец. Он и сам не посмеет отпереться.

И, подвигаясь ближе к Варваре, прошептала:

— Видал он его? Ходит он к вам?

Варвара удивлялась, как можно сидеть без дела целый вечер.

— Что ты мелешь? Ты хоть бы кружева вязала!

— Ну уж, была охота!

Свекровь и сноха понимали друг друга в одном: у них была непримиримая ненависть к колхозу. Варвара знала, что в доме Чувелевых неспокойно от шумных ссор: Петр, муж Зинаиды, тянул в колхоз, а женщины зло и настойчиво отбивались.

— Худоумный! — рассказывала молодуха. — Совсем одурел: с нашим хозяйством в колхоз идти! Да я всем курицам головы отрублю, если вздумает скот забирать!

Круглые яркие сережки в ушах Зинаиды качались, били по щекам, переливались. «Как они уши-то не оттянут!» — думала Варвара, поглядывая на них.

Чувелевы приводили в пример кого-то и еще кого-то, кто вошел в колхоз без лошади и без коровы, и дрожали от мысли, что лишатся своего добра.

— Там только на даровщинку надеются!

Перед глазами Варвары вставал дядя Захар, важный и почтенный хозяин; она вздрагивала, вспоминая свое батрачество, и вступать в колхоз также не хотела.

— Беднякам-то там, наверное, несладко... в батраках, наверное, ходят.

Лизавета Косякова, порой заглядывая к соседке, приносила в глухоту избы свежесть зимнего вечера.

— Заплеснеешь ты вся! Сидит и сидит, поизбенька,— упрекала старуха. — Я, бывало, в твои-то годы вырядюсь, алую ленту в косы вплету, иду так — кость поет! Добьемся мы лучшей жизни! — У нее были и другие, непонятные Варваре мысли и надежды. — В колхоз вступать тебе надо! Одна не проживешь... Плохо только у нас в колхозе-то: дурных людей много...

Неизвестное пугало, отталкивало. Кроме того, в колхоз недавно вступил и Захар Беляев, и всякий раз, как Лизавета говорила об артели, Варвара настороженно шептала:

— Плохо-то я уж нажилась... Теперь бы хорошо пожить... — И добавляла: — Одна песня у волка, да и ту бедняк перенял.

— Вот и будем стараться...— горячилась Лизавета.— В одно-то сердце легче...

Она приходила к Варваре с рукоделием: вязала чулки или пряла золотистую твердую кудель. Уходя, чисто подметала ладонью просыпанную на пол труху. После нее Варвара металась, не зная, за что взяться.

— Все наверх лезет, — смеялась над Лизаветой Зинаида. — В коммунистки записалась, как молоденькая,

треплется каждую ночь по собраниям, тоже что-то бает... ну да бай не бай, только рот разевай, будто смыслишь.

Однажды, забежав к Варваре мимоходом, Лизавета бестолково размахивала руками, хватаясь ими то за горло, то за плоскую грудь, словно задыхалась.

— Двух кобылиц подсекли у нас...

— Кто?! — закричала Варвара.

— Напакостил да ушел, — рук-ног не оставил... — Помолчав, Лизавета произнесла значительно, для себя: — Стало быть, колхоз кому-то мешает... Стало быть, правда в колхозе есть!

Варвара подумала:

«Правда в колхозе? Да уж до правды ли вам, когда живность переводить начали». Но при следующей встрече с Лизаветой она спросила:

— Не нашли, кто гадит? Эх вы, хозяева! Собралась в колхозе шантрапа лежебокая, на чужие рученьки надеетесь!

— Тут война, девка! Кто кого. Не от лени это, а от ненависти.

В словах старухи, как всегда, было много непонятного. «Какая может быть ненависть? — рассуждала Варвара. — Колхоз — дело полюбовное, хочешь — вступай, не хочешь — мимо проходи!»

В минуты отчаяния и тоски Варваре хотелось петь. Она поджидала Зинаиду и, как только та приходила, тихо просила:

— Давай споем, Зина.

Под песню вязалось быстрее. Тонкая нитка не так больно резала пальцы, и хорошо было думать о своем, связывая жизнь с трогательными словами песни. Варвара стряхивала сеть с узкой замусоленной дощечки. Сеть рассыпалась, белой паутиной закрывала колени. Начинала песню Зинаида:

О-о-ох...
Ох, ночосна,
Ночосная темна...
Ох, темная ноченька-а...

Варвара легко взмахивала сильным грудным голосом и подхватывала слабый голос соседки:

Маленько мне-ка спалось...
Спалось, родимая...
Сон-то мне привиделся,
Да мне нехорош...

Руки Варвары опускались вместе с мережей на колени. Закрыв глаза, она под песню вспоминала свое короткое счастье. Раз, забывшись, неосторожно спросила:

— Как-то он живет теперь? С кем ночки проводит?..

Зинаида оторвалась от песни, настойчиво пытала Варвару:

— Все-таки сердце-то у тебя горит на него?..

Женщина не ответила. Сидя с закрытыми глазами, вспоминала она Андрея. Он тоже, говорят, вступил в колхоз. И то, что в колхозе состоят Андрей Дорохов и Захар Беляев, злило женщину: «Такие разные, а ищут клада на одном месте!»

III

Запасенных с осени сучьев на зиму не хватило. Дрожа по ночам, Варвара отогревала сына своим теплом, дула на маленькие ручонки, прижимала ребенка к себе как можно плотнее.

Работать по вечерам стало трудно. Пальцы, покрасневшие и скрюченные от холода, теряли нитку и не могли завязывать узлы. Варвара собрала и сожгла все доски, какие были припасены у нее, и наконец, когда во всем дворе нельзя было найти ни одной завалявшейся щепки, пришла к Алексеевне:

— Одолжи ты мне, бабушка, на истоплё. Закоченели мы!

— А когда ты отдашь, девонька?

Из комнаты выскочила взлохмаченная Зинаида:

— Что это? Было бы под чего ей давать? Где она возьмет отдать-то нам?

— Я отработаю, Зина, или вот деньги получу — отдам.

— Да иди ты! Деньги получишь? Когда они у тебя бывали?

Варвара молча ушла. Кто отказывает, тот никогда не поймет, как тяжело просить! Ей не к кому было больше обратиться: Лизавета Косякова жила немногим лучше ее.

Ночью Варвара вышла из избы и осторожно перелезла через забор во двор Чувелевых. Было тихо. Снег под башмаками женщины хрустел, когда она подходила к поленнице под навесом, набирала дрова и пере-

кидывала их через забор; поленья, коротко стукаясь друг о друга, тонули в мягком сугробе.

Этих дров, пожалуй, хватило бы дня на три. Варвара уже занесла было на забор ногу, когда из сеней неожиданно выскочил Петр. Женщина не помнила, чем он бил ее, больно и хлестко, сплеча. Удары отдавались по всему телу. В голове рвались одни и те же слова: «Стыд-то! Стыд!» Прикрывая руками лицо, она тихо, без слез всхлипывала.

Потом ей смутно виделось, как около нее прыгало свирепое лицо Зинаиды, а с крыльца что-то оскорбительное орала Алексеевна.

Очнулась Варвара в том же сугробе, в который были брошены дрова. Под ней сохранилось два полена. Такие толстые два полена! Пожалуй, хватило бы им с сыном обогреться ночью. Но Варвара озлобленно швырнула поленья одно за другим обратно во двор соседей.

— Нате! Возьмите! Не надо мне ваших дров!

И, прихрамывая, поплелась к себе; всю ночь просидела на кровати, не раздеваясь, плача и тихо жалуясь в холодную темноту.

Утром, чуть свет, к ней в избу вошли нищие — девочка и подросток. Обувь на них заледенела и стучала, как деревянная. Худая одежда свисала с узких плеч. Черные глаза подростка таили недоумение и упрек.

Переступая замерзшими ногами, дружно затянули:

— Милостыньку, Христа ради!

— Сколько же тебе лет? — обратилась Варвара к мальчику.

— Семнадцать...

Женщина удивилась: на вид ему можно было дать лет тринадцать, не больше.

— Что же ты не работаешь?

— А где? К зажитку идти — платят, как маленькому... А мне — мать прокормить надо... — ответил парень.

Девочка без конца тянула:

— Милосты-ыньку...

Необычный гнев поднялся в сердце Варвары:

— Бог подаст! — выдавила она. — Ждите, подаст! Добры люди подадут! Они подадут! А мне кто подаст?! Мне кто поможет? — Ее хриплый голос сорвался на визг. Перепуганные нищие, стуча и скользя башмаками, торопливо выбежали из избы.

В изнеможении Варвара села на скамью и громко заплакала, не в силах понять — от беспомощности или от стыда.

«Нищих выгнала... Ноженьки-то у них скукожились... обогреться не дала...» — теснились мысли в голове.

Это были дети Дуни Рак. За домом Варвары, в самом лесу, через ложок, расположилась последняя улица деревни, которую называли в народе Рачьей. В один ряд тянулись пять старых маленьких, как бани, домишек. За ними, около кладей дров, летом росла земляника. По вечерам сюда собиралась молодежь и до полуночи плясала кадриль, пела короткие и яркие, как вспышки, частушки.

Все пять домов были заселены кем-нибудь из многочисленного семейства Лузиных. Не то по наименованию улицы, не то еще по каким причинам всех, живущих здесь, называли Раками.

Дуне Рак, матери нищих детей, было шестнадцать лет, когда ее выдали замуж. С замужеством для нее ничего не изменилось, кроме прозвища: раньше ее звали Бryндой, теперь стали звать Рачихой.

— Рачиха! — кричали ей вслед.

Муж Дуни скоро умер. Еле прожила вдова с двумя детьми тревожное время гражданской войны. Работать не могла: болели ноги, часто опухали, как от водянки. Дети ходили по миру.

Почти ежедневно Дуня напивалась. Пьяная, брала балалайку, оставшуюся от мужа, и, брякая и приплясывая опухшими ногами, шла по улицам.

За ней бежала толпа детей. Хохотали, кричали непристойности, случалось, бросали в нее камнями.

— Рачиха опять загуляла! — судачили бабы. А та оглядывала всех дикими пьяными глазами и визжала:

— Сердце ревет!

На балалайке Дуня играла бойко. Поднимала ее на голову, тренькала какие-то напевы. Не прерывая игру, перекидывала балалайку за спину. Подбирая подол так, что были видны ее красные голые икры, садилась верхом на балалайку, дико выкрикивала, приплясывала, пела. Песни ее были всегда неожиданны и похабны. Толпа хохотала и прыгала вокруг нее.

— Еще спой, Дуня.

Вспомнив сейчас все это, Варвара успокоилась.

— И правильно я ребят выгнала: мать у них весело

живет, на вино деньги находит... а у меня куска хлеба нет.

Варвара попалась. К тяжести ее положения прибавился стыд. Соседи сразу припомнили все. Ей нельзя было показаться на улицу.

— Думает, на дураков напала!

— На мальчишке и рубашонка из моей юбки сшита!

На нее показывали пальцами, плевали вслед. Под возмущенный ропот соседей, сжав зубы, опустив голову и озлобленно выглядывая по сторонам, как затравленная собака, шла она в сельсовет.

Председателем был Павел Бурцев, высокий мужик с корявым лицом, которого Лизавета часто поминала и называла упорным. В серых глазах его было столько решимости и силы, что люди, разговаривая с Бурцевым, не видели, кроме глаз, ни горбатого носа, ни тонких властных губ.

До гражданской войны он батрачил. Широкие плечи его уже согнулись, а он не сумел еще обзавестись семьей и хозяйством. Варвара вспомнила, как дядя Захар злился:

— Посадили в председатели Павла Бурцева, последнего батрака, а он и думает, что человек!

Женщина непонятно чему обрадовалась и опустила запылавшее лицо. Но, услышав голос Лизаветы, успокоилась.

Перед Бурцевым стоял Семен Пикулов, беспокойно размахивал руками и ругался:

— Ему все говорили, что семена гореть начали, сушить их надо. Так он: «Я сам знаю, меня не учи!».

Бурцев возразил:

— Следили бы!

Пикулов привскочил, смешно дернул себя за бороду.

— Следили бы! Приняли его в колхоз, думали — человеком будет! — говорил он, задыхаясь от ненависти и обиды. — Семена испортил, а теперь в стороне... Весь ум, видно, в бороду ушел! Известно, Захар Беляев виноват не будет! — Черная, в трещинах шея Пикулова напряглась.

Варвара, услыхав имя дяди, вздрогнула и подвинулась ближе, но тут председатель, глядя на нее, спросил:

— Тебе что, гражданка?

— Дров бы...— выпалила Варвара.

— А ты кто? Беднячка?

Она молчала. Лизавета шепнула Бурцеву:

— Варвара это, Потехина...

Заволновавшись под пристальным взглядом председателя, женщина решила, что он знает о том, как хотела украсть она дрова у Чувелевых, и сейчас обязательно заговорит об этом.

— Что же ты, Варвара Потехина, не в колхозе? — спросил он.

Облегченно вздохнув, она живо откликнулась:

— А какая мне польза там? Батрачить-то что в колхозе, то и на воле — одно стоит...

Бурцев качнул головой, точно его ударили по затылку, набросился на Пикулова:

— Вот какова ваша работа! Плохая работа: до сих пор бедняков за собой повести не можете.

— Какая же Варвара Потехина беднячка, — серьезно возразил тот. — Я вот — бедняк, по чужим квартирам шатаюсь, а у нее — дом, хоромы.

Громко рассмеялась Лизавета. Варвара поняла, что слова мужика не следует принимать всерьез.

Возвращалась из сельсовета она радостная: люди говорили с ней, как с равной, обещали привезти сегодня же дров, обещали помощь от комитета бедноты.

Она и не знала, что существует такой комитет бедноты, и теперь почувствовала себя сильной.

Навстречу шел Захар Беляев. Варвара рванулась в сторону, чтобы спрятаться от тяжелого взгляда дяди, как привыкла это делать раньше, но, вспомнив, какую поддержку приобрела, пошла прямо, не сворачивая и не опуская головы.

Беляев приветливо развел руками:

— А-а, племянница, здравствуй!

От неожиданности Варвара побледнела и отступила, освобождая тропу.

— Что испугалась? Я не с худом, — говорил между тем Захар. — В сельсовете была?

Женщина вскинула голову.

— Да, о делах поговорить ходила, мало ли?..

— Ты бы ко мне зашла, посоветовалась бы... Я не с худом к тебе... — Он забегал вперед, путался под ногами, мешал Варваре идти. — Я все здесь могу! Трудно тебе будет — и подмогну когда! А лишнее болтать тебе

не резон: я тебя, как ком земли, разотру и по ветру раздую. К коммунистам бегала? На меня жаловалась?

Варвара остановилась, пораженная мыслью: ей так и нужно было сделать — рассказать председателю обо всем: об украденных у нее луге и корове, о тяжелом батрачестве у этого жадного мужика.

Почувствовав свою силу и правоту, она вызывающе сказала:

— Ну что же, и ходила, и нажаловалась!.. — и прошла мимо Захара. А он, все шагая за ней, грозил:

— Помни, по ветру раздую...

Варвара почти бежала от него, а он свистел и улюлюкал вслед:

— Ого! Я все о тебе знаю! Соседи-то ревут от тебя! Воровка!

На крыльцо сельсовета вышел Бурцев. Поглядев вслед убегавшей Варваре, спросил:

— Ты что, Беляев, собак, что ли, травишь?

Тот вытер платком лоб, смущенно ответил:

— Зачем собак? С племянницей вон покалякали маленько. Никакой благодарности в бабе. Жила у меня восемнадцать лет, жрала как прорва, а даже спасибо не скажет!

Мир с Чувелевыми скоро восстановился. Как-то в избу к Варваре ворвалась Зинаида и с рыданием начала хватать и тискать Варварины руки. Та недоверчиво подумала: «К чему опять подъезжает?»

Из бестолковых жалоб поняла, что Петр вступил в колхоз, и прикрикнула:

— Потише ты, ребенка испугаешь, завыла!

Она не забыла той ночи, когда, избитая ими, еле доплелась от забора до избы. И сейчас не расспрашивала, не соболезновала, только безучастно качала головой.

— Мало еще тебя жогнуло, учись!

— И что мне делать-то, Варюха? Ох, Варюха!

Варвара вырвалась из цепких Зинаидиных рук.

— Идти за мужем! Вот что тебе надо делать. Или от работы вспотеть боишься? Отцепись ты! — Она взяла кричащего ребенка. — Ко мне-то зачем пришла? Чем я помогу? Или за тебя в колхоз пойду? Мне ты помогла? — Варвара презирала сейчас эту расхлюпавшуюся бабу и с чувством превосходства высказывала

ей все, что думала. Сунув в рот ребенка грудь, Варвара вплотную подошла к примолкшей Зинаиде:

— Думаешь, реветь над тобой стану? Мне для себя слез не хватает!

Пораженная твердостью соседки, Зинаида испуганно шептала:

— Да не сердись ты, Варюха! Все еще за дрова сердишься? Привыкла ведь я к тебе.

Она стала по-прежнему приходить в этот дом, как будто ничего не произошло.

Скоро появилась и Алексеевна, сухо, не глядя на Варвару, спросила.

— Ну, сколько связала?

— Вторую сеть начала.

— Ну-ну! Путай еще...

Старуха поседела и сморщилась еще больше. Невестка присмирела, не озорничала, шевеля губами, она бесконечно долго раскладывала в ворожбе карты.

Чувелевы повеселели, когда Петра избрали в правление колхоза.

— С умом везде на виду будешь, — говорила теперь Зинаида о муже.

Лизавета относилась к новому члену правления сдержанно.

— Так, ровно ничего мужик. Вот только скот свой забил, не привел в колхоз. За одно это можно было не принимать его в хозяйство, но мало нас... коммунистов в селе два человека: Бурцев да я... У меня, бывает, и руки опустятся... Ну а тот — орел... все вынесет... скрипит, да едет... упорный... людей нет... машин нет. В иных колхозах трактора уж завели, а у нас пока полтора плуга да две с половиной лошади, — задумчиво и печально закончила она.

IV

Варвара жила молча, терпеливо. Не жаловалась людям, одиноко плела свои мережи и любовалась сыном. У него была нежная ямка на подбородке, он ползал по голому полу, стучал железным кольцом западни за печкой, путался в подоле матери. И Варвара не горевала оттого, что ей нечего есть, кроме хлеба и воды. «Ну, вот и еще день проволокла!» — думала она по вечерам, полагая, что за этим счетом дней есть где-то жизнь большая и счастливая.

— Огород бы засадить! — мечтала она.

Весной, когда хозяйки вышли с лопатами в огороды, Варвара заметалась по соседям в поисках картошки. У нее ничего не было взамен, и ей отказывали.

Только Лизавета принесла небольшую корзину картофельной шелухи.

— Вот посади. Люди говорят, вырастает... попробуй.

Пригорок под окном зазеленел яркой травой. Ласточки скользили по воздуху под самым окном, поддразнивая и маня. Легкий ветер швырял их ввысь.

Безотчетная улыбка не сходила с лица Варвары. Впервые в жизни заметила она, как ярка молодая зелень и какими длинными блестящими нитями падает с неба дождь.

Варвара начала копать огород. Заступ легко вонзался в мягкую землю. Варвара любовно ухлопывала и гладила гряды, разбивала комья. Ребенок сидел в борозде, и мать кричала ему с конца гряды:

— Может, и вырастет что, Коська!

Однако половина гряд осталась незасаженной. Это мучило женщину, лишало сна. В голове созревал отчаянный план: кто узнает, если ночью она побродит по соседским огородам и выроет посаженную в грядах картошку?

Вырыть нужно будет осторожно, чтобы никто не догадался, пока не появятся всходы. А там? Да, может, вырыли куры. Все может быть.

Было страшно. Варвара вздрагивала, вспоминая, какой тупой, тяжелой болью раздавались удары Петра по всему телу. Вспоминала и стыд, разъедающий сердце.

Она все-таки почти решилась на это воровство: кто виноват, что у нее нет другого выхода! Люди! Это они с детства бросили ее.

Однажды, когда Варвара возилась в огороде, к ней пришел Захар Беляев.

«Зачем это пожаловал?» Варвара остановилась и глядела на дядю в упор.

Тот заговорил участливо, как ни в чем не бывало, указав на Костю:

— Что он в такой грязи у тебя? — Пройдя по узкой борозде, старик обтер сопливый, запачканный землей носишко ребенка. — Ну, что ты встала как дура? Картошки я тебе вон принес. Думаю, у меня осталась, а

у племянницы, наверное, и огород пустопорожний ныне. Вот и принес...— Он вернулся к калитке, наклоняясь, развязал мешок, по-хозяйски ссыпал картошку на маленький клочок травы, стряхнул и свернул мешок и снова повернулся к ребенку, который ползал в борозде.

— Ты, Костя!

Тот поднял на окрик глаза и что-то залепетал.

— Подожди ужо! Леденец я тебе принесу. Ух, ты!

Варвара продолжала стоять, сложив на груди руки.

Беляев говорил и говорил, добродушно помаргивая:

— Племянница ты мне, ну, думаю, дай завезу мешочек на посадку. А ты... нас совсем забыла... Ты заходи. Любка у меня и то уж засомневалась: что-то, говорит, тошно стало, здорова ли уж Варвара-то, право...

У ног женщины лежала крупная картошка. Если перерезать каждую картофелину, то можно будет кое-что оставить и на еду.

Варвара опустилась на землю и, ползая на коленях, начала торопливо собирать обросшие длинными ростками клубни.

— Приду, дядя! С Коськой! — крикнула она, мало понимая, что кричит.

Быстро прошло время. Варвара с нетерпением ждала всходов в огороде и плакала от умиления, когда показались из-под земли темные робкие листочки картофеля. Целые дни женщина проводила на грядах, пропалывая мелочь, окучивая картошку, расправляя каждый завернувшийся листок куста.

Это был ее собственный огород. Она отдалась заботам о нем и совсем запустила сына. С утра совала ему в руки тряпку с разжеванным хлебом и, посадив в одну из борозд, забывала о нем.

Ребенок ползал по огороду, не раз терял соску, находил и снова совал в рот замусоленную, грязную тряпку. Его ручонки доверчиво тянулись ко всему, и он неистово орал, когда схватывался за жгучую свежую крапивку, искал мокрыми глазенками мать, но та, не слыша его криков и не разгибая спины, полола и полола. Похныкав, он умолкал, свалившись на кучу дряблой травки, выдернутой Варварой. Бывало, и засыпал под солнцем, сжав в кулачке соску.

Зато по вечерам, возвращаясь в избу, Варвара вознаграждала Костю за весь день, плакала над ним и целовала его, разминая ссохшуюся от грязи рубашон-

ку. Он искал руками у нее под кофтой и тихо просяще вскрикивал.

Так ее застала раз Лизавета. Варвара пела. Видимо, жизнь изменилась к лучшему.

Раз во поле возле речки
С дружком ягодки брала...

Умные глаза старухи пробежали по избе. Особых перемен не было, разве грязи прибыло. Летом баба живет не в избе, а в поле да в огороде.

Лизавета села на табурет рядом и, как бы продолжая начатую с Варварой жизнь, протянула руки к ребенку.

— Ну-ка, дай его мне... Ух ты! Какой мягкий! Всю мать высосал. Что ты его долго сосишь? Пора на подножный корм!

Варвара, застегивая кофту, тихонько сообщила:

— Молоко-то ведь ничего не стоит мне, вот и кормлю.

— Да что он такой грязнущий у тебя? Смотри-ка рубаха-то сломаться может!

— Некогда мне... не управляюсь!

— Ну, уж и плакать сразу. Не пособилась с одним-то.

Лизавета опустила ребенка в широко расставленные Варварины колени и, быстро двигаясь по избе, заглядывала в каждый угол, в каждую щель.

— Тараканов-то расплодила...

Затем по-хозяйски застучала горшками и говорила, говорила обо всем враз — и о Косте, и о Варваре, и о себе.

— Давай-ка вымоем его! Вода теплая есть. Зря ты голову клонишь! Я вон восьмерых набабила, да не плачу. Пять лет вдовой поднимаю... а ты одного сплодила да и голову гнешь!

Она задушевно смеялась, и Варваре было так тепло и надежно, что хотелось плакать.

Лизавета вновь взяла Костю на руки и, подкидывая к потолку, приговаривала:

— А ты, парень, расти, д-да! Ух ты! Расти, говорю, да мать жить учи!

Костя взвизгивал и смеялся от удовольствия, взмахивал руками.

— Приготовь-ка таз. Что? Нету у тебя? Ну, давай ведро, в ведре его, беззубого, выкупаем...

В ведре с водой ребенок истошно заорал, но быстро утих и, распустившись, упал на спину, еле пошевеливая в воде маленькими пальчиками.

— Ишь ведь, поглянулось! Ох, жить ты не знаешь как, баба! А ты на людей выходи — легче будет. Вот давай-ка... пойдем со мной в колхоз, на полотье. Заплатят тебе, харчи там же, и людей увидишь... Во-от, а теперь мы его завернем. Спать крепко будет. В этой же воде и рубахи вымыть можно... Ишь ведь, разнежился, лень рукой шевельнуть. Эй ты, Костя!.. Ну, так заходить за тобой, что ли?..

Через день старуха повела Варвару на поле — к работе и людям.

— Вот я какую ядреную завербовала! — подмигнула она полольщицам. — Ну, девонька, становись рядом со всеми.

Смущаясь под взглядами женщин, Варвара робко склонилась и начала работу.

Лизавета, оставив ее на поле, ушла.

Среди полольщиц Варвара приметила Анисью Дорохову, мать Андрея. Большая и толстая, та поминутно останавливалась и, потряхивая заткнутым за пояс подолом, наполненным травой, тяжело отдувалась. Отвислые щеки были покрыты сетью мелких красных жилок, выпуклые глаза часто скользили по Варваре с недоумением и злобой. И Варвара не находила в себе прежнего желания стать ее снохой. Освободившись от первого смущения, она забылась в работе, шла легко, оставляя за собой женщин.

— Упаришь ты нас, работяга! Не угнаться за тобой! — смеялась Лукерья Пикулова. Другие недовольно ворчали:

— Ей больше всех надо!

От дальних полольщиц доносилась песня, трогательно простая, манящая.

Ох, милый, брось да будем врозь,
Не будем больше ссориться...

Варвара вспомнила Андрея: «Тоже небось где-то работает на поле, колхозник...»

Не будем друг друга любить —
Напрасно беспокоиться...

Дерзкая мысль мелькнула в голове Варвары: «Что, если принесла бы я ему своего Костю да и сказала: корми, твой выродок-то?!»

Быстро взглянув в сторону Дороховой и поймав на себе ее сердитый взгляд, женщина вздрогнула: что было бы с Костей, если бы она и в самом деле подкинула его отцу?

Замерло сердце при воспоминании о сыне. «Небось заливается плачет один-одинешенек, никто и слез не вытрет...» Женщина неистово вытягивала длинные коренья пырея из земли и озлобленно мяла в подоле. Проклятая жизнь!

От Варвары не отставала одна Зоя Пикулова. Опаленное солнцем лицо девушки не могло скрыть ни радости, ни горя. По-детски припухлые губы доверчиво улыбались, голубые глаза влюбленно следили за Варварой.

За ними тянулась Лукерья. Маленькая, проворная, она работала бодро: то начнет песню, то бросит прибаутку, то громко чему-то рассмеется. Зоя весело перекликалась с матерью и все смотрела на Варвару, точно собираясь что-то сказать и не смея.

Только когда длинный однообразный день померк и Лизавета начала скликать работниц домой, девушка спросила:

— А ты, тетенька Варвара, не вступаешь в колхоз?

Варвара недовольно поморщилась: «Каждый человек в душу лезет!» — поджав губы, сердито отвернулась.

На пути к дому какие-то два пьяных парня загородили ей дорогу в проулке. Варвара старалась обойти их стороной, они не пропускали, прыгали возле нее, обнявшись и скаля зубы:

— А-а! Варвара Николаевна!

— Прими нас на ночку! Вместо Андрея!

Наконец Варвара прорвалась, побежала под свист и гогот парней, красная от возмущения и обиды. Волосы ее упали на спину тяжелым темным свитком. Обернувшись, она погрозила парням кулаком.

Во дворе ее увидела Зинаида Чувелева и крикнула через плетень:

— Парнишка твой ревет, хрипом изошел! — И вбежала следом в избу, заговорила по-дружески: — И что это ты, Варюха, на целый день уходишь! Не разорваться же на работе!

Мальчишка, всхлипывая, лежал у матери на руках. Та гладила его светлую головку и думала, недружелюбно поглядывая на Зинаиду: «Оборок-то нашила,

небось носить тяжело!» — вслух сквозь зубы произнесла:

— Колхозница, а дома сидишь, на поле не покажешься!

Зинаида тряхнула сережками:

— Не нужда мне — муж прокормит!

Варвара отвернулась. Ее некому было кормить.

V

Она стала приходить каждый день на картофельное поле. Здесь забывалась, заласканная теплом, шорохом ветра в сухой траве.

Лукерья говорила, завидя ее:

— Ну вот и хорошо! Попривыкнешь!

Почему-то всякий раз Варвара попадала рядом с Анисьей Дороховой. Старуха то и дело останавливалась, пила воду, разговаривала с товарками. Полола она грязно, оставляя за собой множество торчащих из-под земли мелких корней. Как-то Варвара, не удержавшись, сказала:

— Поли ты как следует!

От неожиданной ее дерзости Анисья оторопело выпрямилась и выпустила подол. Тяжелая, жирная трава засыпала ноги. Распинав ее, старуха шагнула на Варварину полосу:

— А ты что? Хозяйка?

Полольщицы с любопытством повернули к ним лица.

Анисья визжала, брызгая слюной. Щеки ее еще больше покраснели, смешно вздулись. Старуха решила свести с Варварой счеты за все: за свой страх, что эта девка с нагулянным ребенком может навязаться на сына, за то, что в поле она идет впереди.

Вывернув губы, Анисья грубо передразнила Варвару, подняв голос до необычайной высоты:

— «Поли как следует»! Я те так прополю, не возрадуешься! На Андрюшку моего висла! У Никулиных веревку украла! Гонит и гонит впереди всех! Ты что, выслужиться хочешь? Все бы поле обхватила, жаднющая!

Лукерья поспешно встала перед Дороховой, стараясь помешать ссоре:

— Что ты к бабе пристаешь, ведь и верно, что не полешь, а только траву мнешь!

Старуха на миг смолкла и, словно найдя то главное, чем можно уколоть больней, обрадованно закричала:

— Да ведь ты — никто! Мы — колхозницы — на своей земле стараемся. А ты — никто здесь! — И, успокоенная тем, что она, Анисья, хозяйка на этом поле, еще раз пригрозила Варваре, потрясая подолом: — И не распоряжайся! Никто ты здесь!

Ее брань прервал далекий окрик:

— Паужна-ать!

Это оставленная у становища повариха сзывала на обед. Полольщицы оживились, бросили работу и, отряхиваясь, поджидали друг друга.

Лукерья ласково оглядывала поле.

— Сколько сработали, страсть! Одному лето целое ползать — не выползать!

Варвара слушала и думала о том, что ее манит теперь многолюдное поле. Весело было идти и видеть рядом, и впереди, и сзади людей, занятых одной работой. Ее поразила какая-то смутная мысль. Однако женщина никак не могла ухватиться за нее: мысль была необычная и ускользала от сознания.

— Одной-то огород вскопать и то тяжело,— сказала она, помолчав.

Дорохова злобно рассмеялась:

— А ты вошку — в сошку, блоху — в борону да и пахала бы!

Лукерья поддержала Варвару:

— Бабы, гуртом, в одно-то сердце, мы гору сдвинем!— Подтолкнув женщину локтем, доверительно добавила: — Вступай в колхоз...

Анисья визгливо, почти крича, возразила:

— А что в колхозе хорошего? Даже хлеба себе заработать не можем... У меня в колхозе телка и та уши опустила...

Высоко и насмешливо затянула Зинаида, все-таки пришедшая на прополку:

Я в колхоз иду, не плачу,
Плачет вся моя семья.
Плачет бедная коровушка,
Лошадушка моя...

Пикулова резко обернулась на песню.

— И что вы, бабы, языки чешете? Кто вас научил словам таким? Ты, Анисья, от злости раньше времени поседела, как пес, на ветер взлаиваешь...

Несмело вступила в разговор Зоя, волнуясь и шагнув вперед, к Анисье:

— Надо руки свои молотить научить, как язык молотит, больше пользы будет...— и почему-то прильнула к Варваре, коснулась ее плечом, защищая или прося защиты.

На становище Дорохова собрала около себя женщин, и вытирая потное лицо подолом, шептала:

— Вишь, в колхоз Потехину-то манят. А ведь она, пожалуй, и пойдет, Варвара-то! У нее хватит стыда! Ей что: люди — Иван, и я — Иван; люди — в воду, и я — в воду, все, как у людей! Набирают в колхоз-то голь одну.

Варвара смотрела на костер, на мохнатый от сажи таганок, молчала, как будто не о ней расшумелись колхозницы.

В конце дня мимо них верхом на серой лошади проехал, качаясь в седле, Захар Беляев. Бороду его трепал ветер. Женщины закричали.

— Эй, полевод! Заезжай помогать!

Лукерья с необычной для нее злобой произнесла:

— Колхозник поганый, первый раз в поле выехал!

Захар улыбался женщинам, шутил с ними и хотел было остановить лошадь, но, увидев Варвару, нахмурился, снял фуражку и, поклонившись, поехал дальше.

Вечером, когда Варвара дома отмывала в ведре покрытые землей руки, Захар вошел в избу и еще от порога крикнул:

— Здорова будешь, племяненка!— Подхватил переступающего у кровати ребенка: — А-а, Костя! Ну, иди, иди ко мне!— Вытащил из кармана облепленный пылью липкий леденец и, торжественно глядя на мать, сунул конфету в руки мальчишки.

Тот что-то лепетал, подпрыгивая.

— Вот так! — приговаривал Захар.— Кто ты мне будешь? Двоюродный внук? Хе-хе. Ну, как живешь, племяненка?

— Живу вот, дядя... Да проходи вперед-то.— Варвара подтолкнула ему табуретку.— Садись!

Захар, оглядев избу, протянул:

— Бедно же ты живешь...— И тут же понял, что не должен был этого говорить, спохватился: — Ну-ну, живи! В колхоз, говорят, хошь?

— Да не знаю, дядя, как посоветуешь?

— Попробуй попросись...— он озабоченно покачал головой.— Что-то отказывают безлошадным-то. Не принимают. И без коров тоже вот не стали принимать. Требуется корова, да еще навозоспособная... Понимаешь? Навозоспособная! Много надо колхозу-то.

Варвара слушала его настороженно, не понимая, смеется он или говорит серьезно.

— А ты почему, дядя, в колхоз вступил, разорился?— спросила она.

Тот суетливо достал кисет, долго рылся в нем, свернул цигарку. Словно не слыша вопроса племянницы, заговорил о другом:

— С Лизаветой ты тоже дружишь зря. Никудышная она бабенка, Лизавета-то... Все, верно, выведывает у тебя, а?..

Через несколько дней Захар принес Варваре пару цыплят и смеялся, когда Костя с громким криком ползал за ними. Птицы смешно взлетали к окнам, в страхе бились о стекла.

Варвара преданно смотрела на дядю:

— Уж я отблагодарю...

Она дождалась, когда Беляевы начали косьбу, и, взяв Костю, пошла к ним.

Во дворе с лаем бросился навстречу Полкан, но, узнав ее, радостно завизжал, запрыгал вокруг. Влажными блестящими глазами осматривала Варвара двор: в нем ничего не изменилось, она знала здесь все, до каждого сучка в половицах.

В стайке громко жевала корова. «Навозоспособная корова,— вспомнилось ей.— А почему же дядина корова не в колхозе?».

Беляевы сидели за столом. У Анфисы и Любки при виде Варвары вытянулись лица. А та, точно не замечая их смятения, шутливо спросила:

— Работников вам не надо? Помогать мы с сыном к вам пришли!

Захар выскочил из-за стола и, широко распахнув руки, двинулся навстречу, взял Костю, подкинул вверх:

— Мать, да ты смотри, каков у нас внучек-то? А? Да возьми ты его!

Поняла ли Анфиса действия мужа или правда вдруг обрадовалась племяннице, но поднялась, подхватила ребенка, начала его тискать, неистово целовать.

Боком, из-под рук, оглядывали мать и дочь Варва-

ру: какова-то стала? Что-то независимое и сильное появилось у нее в углах губ и в серых глазах.

Оставив ребенка на попечение Анфисы, сестры отправились с косами на плечах в поле.

Варвару всегда увлекала косьба. Она уверенно и широко взмахивала рукой. Трава с хрустом покорно ложилась в ряд. Женщина тщательно обкашивала кусты и пни, часто наклонялась, чтобы сорвать алеющие в траве ягодки земляники для сына.

Косить становилось трудно, солнце жгло голову, плечи, черные пауты жалили спину и руки, одежда казалась тяжелой. Любка сбросила с себя кофту, осталась в одной рубахе, прилипшей к телу, часто подходила к туесу с водой. Косила она плохо: ненужно много наклонялась вперед, казалось, падала на косу, волоча ее по земле, ряды прокосов были неровные, нечистые.

Вспомнив, как раньше берегли эту толстую девку от тяжелой работы, надеясь на батрачку, Варвара засмеялась:

— Литовка у тебя жалостливая — цветочки не режет.

Неожиданно из-за берез вынырнул верховой на гнедой игривой лошадке. Варвара сразу узнала в нем Андрея Дорохова. Тот же высокий рост, те же широкие плечи, та же серая кепка, осевшая на голове. Светлые густые кудри Андрея сейчас потемнели от пота, да узкое длинное лицо было опалено.

Он соскочил с лошади, разглядел работающих, быстро, рывком поклонился.

Варвара косила по-прежнему спокойно и сосредоточенно. Любка, следя за встречей, не могла понять, о чем спрашивает приезжий.

Опираясь на косу, Варвара кивнула на кусты осинника:

— Там он косит, дядя-то.

Захар показался из чащи и сердито спросил:

— Зачем пожаловал?

— Нарядить тебя послали, Захар Иваныч. Ругаются колхозники: член правления, говорят, а себя обкашивает, в колхозе не работает...— Андрей подошел к своей лошадке и, подтягивая подпругу, глянул на Варвару.— Мало людей-то у нас, нанимать приходится. Нехорошо выходит, Захар Иваныч. Поедем...

Беляев вдруг набросился на дочь:

— Ты что оголилась? Стыда в глазах нет!— И зашагал к балагушке, крикнув на ходу:— Чащобку-то эту выкосите сегодня!

Любка бросилась искать кофту. Андрей все возился с подпругой, заглядывая под лошадь и чему-то улыбаясь. Когда Варвара ближе подвела прокос, спросил:

— А ты как опять сюда попала?

Любка, натянув кофту, бежала к ним.

Варвара лишь шевельнула губами и пошла дальше. Вскочив на спину лошади, Андрей громко свистнул и галопом помчался за Захаром.

Любка, так и не узнав, о чем поговорила Варвара с милашкой, с завистью старой девы до вечера поминала имя Андрея.

— Какой большущий-то... небо ест! Ручища-то! Как небось обхватит!

Варвара продолжала косить, как будто ничего не произошло; вечером не забыла обойти пни, на которых лежали сорванные ягоды.

— Это ты для кого собрала?— ревниво допытывалась Любка.

— Мне, кроме сына, некого ягодками с ладони накормить, — отозвалась женщина.

Варвара не знала, достаточно ли заплатить Беляевым за все одним днем работы, подумала: «Может, и хватит» и больше не появлялась к ним.

Видимо, не все женщина делала правильно. Лизавета в этот раз пришла сумрачная, по-чужому, чинно уселась на табуретке. Ее строгость пугала.

— У меня, Лиза, Костя-то уж ходить начал! Костя, Костя, ну, иди ко мне... иди!— Варвара присела на корточки и поманила сына. Мальчик, неуклюже передвигая ножонками и растопырив от неуверенности пальцы, зашагал к матери.

— Растет, — отозвалась Лизавета.— Харчи у твоего дяди, видно, легкие...

Варвара не понимала, при чем здесь Беляев, и смотрела на гостью, ожидая, что та скажет еще.

— Ну, чего глаза-то вылупила, как ворона на ястреба? Опять батрачишь на свою роденьку? В колхоз тебе надо!

— Не пойму я, Лиза, ты говоришь — в колхоз, а дядя — что безлошадных там не принимают, а ведь он в правлении, знает...

— Он это сказал тебе? Ну же, ну! — заволновалась Лизавета.— Плюнь ты на него, не слушай. Вступай, примут!

— Подожди, Лиза, стыдно к зиме-то вступать. Весной уж.

— Ну ладно, много мне понятно стало про твоего дядю, да подожду, помолчу, что дальше будет.

Новости жизни колхоза проходили мимо Варвары, не трогая сердца. Только имя Бурцева женщина отмечала для себя и настораживалась.

— Не он, так мы ничего бы не знали. Всех кулаков твердым заданием обложили... Уполномоченный к нам опять нагрянул, пистолетом трясет. Все хлеб ищут,— говорила Лизавета.

— Ну а Бурцев-то?— спросила Варвара.

— А он по выбору с обыском-то идет... Уполномоченный-то все бегает, все бегает, а этот как столб... «Не дам, говорит, середняков твердым заданием облагать, и все!» Ивана Никулина отстаивает! Уполномоченный кричит: «Перед райкомом, говорит, ответишь! Билет партийный выложишь!» А он — ни в какую! Ничего не боится. «Не по-ленински, говорит, середняков раскулачивать!» По деревне идет, кулаки шипят! Беднота низко кланяется!

— А он?..

— Да что ты заладила: он да он! Я и говорю, как он... Столб! Никакой силой его не сдвинешь!— И снова, уже в который раз, Лизавета подводила разговор к одному и тому же: — В колхоз тебе надо... Ты хоть пока так с нами поработай... Заходить за тобой завтра?

Так жила Варвара. Ее звали работать, и она шла работать. Не было минуты, которую бы она провела праздно.

Вступать в колхоз беднячка не решалась. «Неизвестно, какая там будет жизнь,— думала она.— Вдруг да и бедняков начнут твердым заданием облагать?.. Все равно работаю для колхоза».

— Ты никогда и ничему не радуешься...— тормошила ее Лизавета.— Смотри, как хороши травы у нас нынче уродились!.. Рыбы в пруду мечется — страсть. В прошлом году сколь денег колхоз на рыбе заработал!..— говорила старуха, как будто все принадлежало ей: и земля, и небо, и воды. Да и другие женщины частенько говорили между собою:

— Рожь славная у нас поднимается...

— Пшеничку нам нужно попробовать посеять...

Все они имели право на каждую травку, на каждый колосок! Только одна Варвара не могла сказать: «наша трава», «наш хлеб», «наш пруд». У нее никогда не было такого богатства.

Каждую весну трава выползала почти из-под снега, поднималась, наливалась соком, но все это было не для нее. Женщина могла только сорвать мимоходом яркую ромашку и, спрятавшись от людей за кусты, отрывать от цветка один за другим ослепительно белые лепестки: «Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет...».

Лепестки кружились в воздухе, медленно опускались к ногам, в траву. Однако и это было бесполезно: не любит. Не к чему ворошить сердце.

Подоспела жатва.

Люди радовались своему хлебу. Даже Зинаида Чувелева и та говорила:

— Убрать бы нам рожь, так сыты были бы!

Пикулова, идя вместе с Варварой на поле, переставляла ноги осторожно, чтобы не помять склонившиеся над тропой колосья.

— Была у тебя такая рожь? — поддразнивала она.

— Была! Во сне выше да гуще этой снилась!

— То-то, «во сне»! Ходишь по родне-то, батрачишь!

— Хлеб-то подмяла, что есть-то будешь, колхозница! — рассмеялась Варвара.

Ржаное поле колыхалось сразу же за селом. Женщины, окружив Чувелева, шумели, распределяя, кому становиться за жнейкой-самосброской вязать снопы, а кому идти на небольшое пнистое поле, где не может ходить жнейка, и серпами снимать рожь.

Чувелев беспомощно отмахивался от колхозниц, пятился по поляне вниз, к желтой стене ржи. Женщины кричали:

— Кому мед, а кому опара!

— Все бы не дураки — вязать-то!

Семен Пикулов, складывая снопы вчерашней вязки на телегу, посмеивался:

— Три бабы — базар, семь — ярмарка! Давайте-ка работайте!

Сам Пикулов был работящий и спорый, все ему удавалось.

Варвара с удовольствием следила, как он ловко затягивал воз, и думала:

«Вся семья у него в работе горит, а из бедняков не выберутся!».

Жнейка, распустив крылья, уже заходила с угла в рожь. Яркий синий хвост, блестя от солнца, судорожно припал к земле. Крылья, стрекоча, гнули рожь на ножи и выкидывали готовые для вязки горсти.

Женщины растерянно смотрели вслед Чувелеву, который бежал от их назойливых криков.

— Кто со мной жать? Пошли! — решительно сказала Пикулова.

За ней бросилось человек десять. Остальные двинулись за машиной.

Варвара не понимала, как можно спорить из-за выбора работы: вязать снопы — работа пресная! Жать было интереснее: впереди бесконечно далеко раскинулась высокая рожь, тонкий стебель гнулся под тяжестью колоса, а сзади все прибывало голое ощетинившееся жниво.

Варвара уверенно захватывала серпом горсть за горстью ломкие хрустящие колосья. Рожь покорно никла в руках. На меже шелестели рябины, еще не обитые ветром.

Женщина опьянела от этого шелеста, от тихого мягкого шепота ржи, загорелась, задорно крикнула назад:

— Не отставай!

Издалека неслось жужжание жнейки.

Зинаида, подойдя к Варваре, с мольбой сказала:

— Отдохнем! Пусть спины отойдут.— И посмотрела в небо: — Скоро ли уж домой-то...

В вышине величаво плыло солнце — яркое и палящее. Варвара подумала: «Как на барщине! На работушку иду да на солнышко гляжу — не пора ли домой...».

К жницам одна за другой подходили подводы: колхозники отвозили снопы к скирдам.

— Эй, бабы! Расселись! Давай нагружать!

Женщины, смеясь, закидывали Андрея, стоящего на телеге, снопами. Парень был большой и сильный, к тому же холостой, некому ругать за игру с ним.

— Подкати-ка меня до кустика! Не обманешься! — кричали ему.

Сухой колос бил Андрея по лицу. Варвара носила снопы, тщательно укладывала их на телегу. Воз был

готов, осталось затянуть его веревками, но Андрей перекладывал верхние снопы с одного места на другое, несколько раз кидал через них веревку и вновь вытягивал ее обратно.

Лошадь не могла сразу взять воз, рвалась из оглобель в стороны, дрожала от напряжения.

Варвара уперлась в серую перекладину телеги, взглянула на Андрея и рассмеялась:

— На этой лошади только песни возить!

Солнце соскользнуло вниз и начало уж тонуть в темной полосе леса, когда люди кончили работу.

Варвара, ползая по жниву, собирала в подол оставленный колос, чтобы отнести домой для кур: все равно пропадет зря.

Незаметно подошедшая на поле Лизавета указала на нее остальным.

— Всем бы не грех подобрать колос-то, бабы!

Женщины торопливо начали подбирать колосья, совали их в ближние суслоны.

Варвара недоуменно выпрямилась и, поджав губы, тоже сунула колосья в суслон.

А Лизавета ласково глядела на нее и тихо говорила женщинам:

— Зря вы сторонитесь Варвары... Работящая она, хорошая...

Придя домой, Варвара до поздней ночи подшивала длинные карманы к юбке. Набив карманы тряпьем, она примерила юбку и покрутилась перед обломком зеркала, чтобы узнать, как будет выглядеть, если набить карманы колосом. О Лизавете она думала неприязненно: «У-у, жадная! Все равно мелкий-то колос у молотилки стопчут».

На другой день Варвара не так увлекалась жнитвом, как вначале, всецело поглощенная стремлением как можно больше насовать колосьев в длинные карманы.

Колосья кусали тело сквозь рубаху. Почесываясь, Варвара оглядывалась по сторонам и совала и совала в карманы руку. Они были глубоки и все казались пустыми. Она уже срезала серпом горсти колосьев, ломала и мяла в руке, чтобы не топорщились, и впихивала эту труху в юбку. Когда объявили отдых, Варвара тщательно заткнула юбку за пояс, замаскировав складками и сборками необычную полноту.

Ей показалось, что все подозрительно осматривают ее.

«Господи, пронеси»,— думала она как в лихорадке. И, дрожа от нервного возбуждения, затянула низким голосом:

Жалко с Машенькой расстаться,
Да жаль душою умереть...

И облегченно вздохнула, когда женщины подхватили:

Да ты скажи, что умираешь,
Да я во гроб с тобой пойду.

Дома Варвара вытряхнула труху из карманов и сказала Косте:

— Дураки они... Все равно мелочь-то пропадет.

VI

Костя рос худым, болезненным.

— Подожди, сыночек, скоро мы будем хорошо жить. Зимой я от тебя никуда не уйду... Играть будем,— обещала Варвара.

Но когда зима наконец освободила ее от беготни, Костя совсем почти не говорил, не смеялся и смотрел на мать большими пугающими глазами. Варвара трясла его и тревожно спрашивала:

— Брюшко болит у тебя?

— Не-ет...

— А ты бы поиграл, Косточка... Смотри-ка! — Она надувала щеки, била по ним кулаком. Получался короткий взрывчатый звук.

— Видишь, как я умею...— смеялась Варвара.

Закутывая вялого, равнодушного сына в тряпье, она выходила во двор и, прохаживаясь с ним по узкой снежной тропе, тихо приговаривала:

— Ты у меня вырастешь большо-ой. В школу побежишь, а вечером придешь домой, я тебя и спрошу: «Ну, Коська, про что вам сегодня учительница рассказывала?». А ты мне и скажешь: «Мамка, сегодня нам учительница про людей книжку читала».

Костя несколько оживлялся и, тихо улыбаясь, выглядывал из тряпья.

Однажды, когда Варвара сидела с Костей на крыль-

це, пришел Захар Беляев и остановился перед племянницей, широко расставив ноги и озабоченно кусая бороду.

— Ну-ка, пойдем в избу...

Взгляд его был неустойчив. Варвара вошла за ним в избу, прикрыла дверь. Захар беспокойно кряхтел, отдувался и, словно с трудом решившись, грузно шагнул за печь, наклонился над железным кольцом западни, открыл, заглянул в подполье.

— Ты держишь здесь что или нет?

— Что держать-то мне?

Захар сел на скамью, опираясь руками о колени, втянул в рот жесткие волосы бороды и, не глядя на Варвару, начал:

— Я вот привезу тебе мешков пять-шесть, схорони! У тебя в голбце-то сухо? — стремительно сорвавшись со скамьи, снова открыл западню и спрыгнул вниз.

— Ну вот... а у меня погреб занят, а в голбце вода,— кричал он из подполья.

Варвара просто отозвалась:

— Ну что же, вези. А что у тебя в мешках-то, дядя?

— Да так... овес...— Захар вылез из ямы, отряс ладони, избегая смотреть в глаза племяннице.— Еще с третьего года у меня сохранился.

Вечером Захар привез к Варваре воз тугих мешков.

— Так здесь сколько же?— недоумевая, спросила она.

Напрягаясь под тяжестью мешка, Захар прохрипел:

— А я еще прикинул... маленько!

Мешки падали на тесовый пол подполья один за другим. Захар спрыгивал за каждым, укладывал их в поленницу. Варвара успела заметить, что мешков — целая стена. Беляев закрыл западню на крепкий замысловатый замок. Можно было обидеться на это. Но Захар втащил в избу еще небольшой мешок и произнес, задыхаясь:

— И тебе овса я прихватил... куры-то живы?

Женщина затаила дыхание, презирая себя за то, что приняла и эту подачку. «Ох, Варвара, живешь ты, как сосулька... пригрей — ты и растаешь».

— Только ты не болтай... а то еще и укокошат тебя ни за что. Ты помалкивай! Вон Бурцев, комитетчик проклятый, старается... Я колхозник, а меня твердым заданием обложили... Я вот написал куда следует.

Без стука в избу вошла Лизавета. Увидев гостя, нахмурилась.

Захар спросил вкрадчиво:

— Чего испугалась? Что ты ровно бегаешь от меня?

— Гусь свинье не товарищ!— не задумываясь, ответила старуха.

Варвара заметила, как растерялся Захар, когда Лизавета указала рукой на нее:

— Ты ей что про колхоз наплел? «Навозоспособная корова...» Придумал ведь. Нечего нам с тобой в прятки играть! Видим мы друг друга вдоль и поперек. Она кто тебе? Племянница? Нет, не обдуривай! Батрачка она твоя!

— Трезвонь! — крикнул Захар. — Лишь бы сама Варя не корила меня. Она ведь знает, что жила у меня, как своя...— Увидя, что та опустила голову, продолжал еще напористее: — Как своя, она жила у меня, как дочь... А ты трепись! Язык-то у тебя, как овечий хвостик, болтается.

Варваре все время казалось, что эти двое, Захар и Лизавета, ведут какую-то непонятную борьбу за нее. Старуха посмотрела на Варвару почти с презрением:

— Эх и телок ты безмозглый! — и ушла, с силой хлопнув дверью. Варвара молчала. Захар суетливо и задушевно заговорил:

— Не водись с Лизаветой, не якшайся, никудышная она. Сама видишь: везде лезет. Кто из наших баб в коммунистках-то ходит? Она одна... Бегают с Бурцевым Пашкой, хороших хозяев твердым заданием облагают. Оно и понятно: заводы надо в городах восстановить, чем-то ведь пролетариат кормить! — Помолчав, пытливо спросил: — Тебя за что облаяла? Председательша! Кидается на всех!..— Подошел к западне, потрогал замок ногой в тяжелом подшитом валенке. — Мешать будут тебе мешки-то... я увезу их. А ты пока не болтай: вон зла сколько в людях... Укокошат.

Овес, оставленный Захаром, был как нельзя кстати. Хлеба, заработанного осенью в колхозе, на зиму не хватало. Глядя на вялого ребенка, Варвара с содроганием думала: «Как дотянуть?». И все чаще и чаще мысли ее возвращались к туго набитым мешкам, там, в подполье. Если из каждого отбавить по фунту, пожалуй, наберется с пуд! Зиму можно не горевать!

Варвара тщательно закрывала по ночам избу и вска-

кивала при каждом постороннем звуке. А западня неизменно тянула к себе.

Женщина зажигала лампу, садилась на западню и теребила замок. Можно взять зерно так, что дядя и не заметит! Но замок! Она ненавидела этот замок, тихо лязгающий от каждого прикосновения. Выдернуть его вместе с кольцами не решалась.

Дядя заглядывал часто и смотрел все подозрительнее, смущал сердитым, сверлящим взглядом. Как-то Варвара попросила:

— Убрал бы, дядя, мешки-то: покою нет с ними!

Тот неопределенно что-то промычал.

Иногда Беляев приносил каравай черного непросеянного хлеба. Варвара, глотая этот хлеб, соображала:

«Вишь, кормит подачками... А что, если просто взять и открыть голбец и не закрывать больше! Пусть знает! Что он сделает?».

Садился Захар всегда на одно и то же место, на скамье у стола, громко разговаривал с Костей. Но и Косте говорил всегда одно и то же:

— Ну как, брат? А? Поправляешься?

Мальчишка ходил еще неуверенно, падал, ушибался и плакал.

Варвара сурово говорила ему:

— Не реви... это ли еще бывает!

Она скрывала радость, хмурилась и старалась совсем не глядеть на сына, когда тот, пытаясь сохранить равновесие и пуская пузыри, шагал от печи к ней. Не протягивала навстречу руки и сурово думала: «Пусть дойдет сам».

Беляев твердил:

— Верь не верь, а он мне как свой, Костя-то! — и сплевывал в ноги. Курил он много. Горький махорочный чад стоял в избе все вечера. Склонившись над мережей, Варвара думала: «Ну что его черт носит ко мне?».

Его вопросы казались нудными и пустыми.

— Дрова-то ты сама колешь?

— А то кто же?

— Может, мне пойти наколоть?

— Что и скажешь, дядя!

— Молоком-то лакомишь ли Костю?

Варвара вздыхала:

— Редко мой Костя молоко видит!

— Надо! Мал он у тебя растет. Надо молоком его... молоком.

Женщина стала часто рвать нитки, и на мереже появилось много узлов.

— Где я возьму молока-то...

Подачки старика раздражали ее, да и весь он был ей противен.

«Пришел опять стонать надо мной!» — думала Варвара каждый раз, когда он, закрывая за собой дверь, неизменно крякал, стаскивал с рук варежки и кричал:

— Х-хе! Холодновато! Ну, здоровы будете!

Вспоминая, каким он был раньше, она смеялась про себя: таким приторно-добрым, как сейчас, Захар не был даже со своими.

Но раз, выкручивая каравай из серой мешковины, он прохрипел:

— И жрете же вы!

Варвара подняла голову от мережи, спросила:

— Разве я когда-нибудь просила у тебя?..

Захар понял, что сказал лишнее.

— Да я же просто это, просто, ты не думай!

Варвара знала, что он боялся ее. Боялся, ненавидел и не всегда успевал спрятать эту ненависть в заросших бородой глазах. Варвара видела однажды, как вскочил он с места и свирепо посмотрел на Костю, когда тот подполз к западне и начал играть замком.

В другой раз Захар принес что-то, завернутое в газете, и сверток мягко перегнулся у него на протянутой руке.

— На платьице я тебе...

Варвара вскочила, оттолкнула руку Захара:

— Не возьму! Уйди лучше, не задабривай!

Сверток шлепнулся на пол. На развернутой газете ярко засиял блестящий, как шелк, голубой сатин.

Кряхтя, Захар согнулся над ним и прохрипел:

— Возьмешь, голодранка! С руками вырвешь! Ты такого и не нюхала! Возьмешь! — Его скрюченные пальцы дрожали.

Варвара, захлебываясь гневом, бросала в лицо Захара обидные слова:

— Нужна тебе, ты и липнешь! А так — с голоду подыхай на глазах у тебя, не почешешься помочь мне!

Захар положил сатин на стол и неожиданно мягко выдохнул:

— Вот и разругались мы с тобой! А зря, Варя! Ты верно сказала, что нужна мне. Ну, ведь и я тебе нужен! Нам с тобой прямой смысл в ладах жить. Возьми на платье-то, что, зря я расходовался, что ли? А я пойду... Ты забудь...— Ища ее взгляда, добавил:— А о голбце-то молчи... Теперь уж и говорить тебе вредно будет: оба влепимся!

Вскоре после его ухода к Варваре заглянула Лизавета, шумно сбросила полушубок и объявила:

— На весь вечер к тебе, принимай гостью!

Варвара затопила печь, чтобы вскипятить котелок воды. Лизавета смеялась:

— Даже самовар для меня зажигаешь!— Развернув лежавший на столе сатин, чмокнула губами: — Где ты только достала? Я уж давно сатинету не ношу, все ситец дают.

За чаем Варвара рассказала о ссоре с дядей, умолчав о мешках.

— Выкину я его сатинет.

Гостья, прихлебывая чай, настороженно, точно подкарауливая слова, прищуривалась.

— Напрасно... Выкидывать сатинет не надо. Будет бабий праздник — и нарядишься.— И, черпая из котелка свежую чашку чаю, значительно продолжала: — Сильно мир-то ему не верит, Захару-то... На конном дворе работал — сняли. Перевели в полеводы. На конном дворе теперь твой прежний сполюбовничек Андрей Дорохов. Лошадей любит страсть как!..— Выглядывая из-за котелка, Лизавета спросила: — Какая это у тебя заварка-то? Запашок хорош. Гордая ты, Варвара. Все мне про тебя узнавать от людей удается, сама небось не выскажешься! — В голосе Лизаветы звучала обида. За паром, поднимавшимся от кипятка, лицо Варвары, казалось, трепетало, подергивалось. Уклончиво она произнесла:

— Не привыкла я...

— В колхоз тебе надо, — повторяла Лизавета. — Бедны мы пока, ничего у нас нет... Бедны, да дружны! Вступишь — на одну силу у нас больше будет!

Когда ждут помощи, это ко многому обязывает! Варвара смущенно спросила:

— А если вступить, так к кому обратиться-то? — и вздохнула с облегчением, точно свалила с плеч тяжелую ношу.— В колхоз я надумала вступать... Примут?

Как-то в дом к Варваре пришел Бурцев. Двери в избу были ему не по росту, он пригнул голову под притолокой и, весело улыбаясь, произнес:

— Где живет бедняк — спрашивать не надо: по наличникам найдешь. Здравствуй, Варвара...— Помолчав и еще шире улыбнувшись, непонятно для чего добавил: — Потехина...

Это было вечером. Сумерки незаметно вплывали в маленькие окна, затягивали избу легкой синевой.

Варвара сидела, оцепенев, в тревожном ожидании. Непрошеный гость, сидя напротив, торжественно опустил большие жилистые руки на колени и говорил о том, что происходит в деревне, какое наступило трудное время, как необходимо всем объединиться. Комячейка мала, молодежь не организована, и опираться не на кого. Варвара отчетливо увидела на его ладонях затвердевшие мозоли.

— ...План хлебозаготовок дали завышенный, деревня наша бедна, не справится... Лучше бы повысили цену на хлеб, тогда добровольно в хлебосдачу его повезут... и уполномоченных к нам гонять не нужно,— продолжал Бурцев задумчиво.— Понимаешь, приду домой, спать лягу, а глаза закрыть не могу — все думаю: неужели я неправильно поступаю? Нет! Не отошел я ни в чем от программы нашей партии... А ее Ленин продумывал... Значит, правильно?

Смягченное лицо его оставалось напряженным и суровым. Встретив взгляд Варвары, Бурцев на миг смолк, поднял с колен тяжелые руки и снова опустил их. Помедлив, он протянул ей вчетверо сложенный листок бумаги:

— Подпиши... я заявление от твоего имени написал в комитет бедноты, чтобы корову тебе выделили.

Варвара не поверила: этого не могло быть, чтобы ей дали корову.

— Кому до меня дело? — осведомилась она, отталкивая бумажку.— Да и неграмотная я... не знаю, в каких буквах имя мое стоит...

— Кому до тебя дело? Всем дело, кто узнает, как ты живешь! Но ты не молчи, говори, что тебе нужно. Кто молчит, тому и эхо не ответит!

Бурцев взял заявление, бережно свернул и снова спрятал в карман.

— Кто-нибудь за тебя распишется...

На следующий день он вновь пришел к ней в дом.

— Хочешь, газеты я тебе почитаю?

Варвара промолчала.

У него был низкий голос. Варвару клонило ко сну. Боясь уснуть, она широко распахивала глаза и выпрямлялась. Порой Бурцев опускал газету на колени и смотрел на женщину.

Теперь каждый вечер она ждала его. Он до хрипоты читал, рассказывал о жизни других колхозов.

Сколько раз намеревалась Варвара спросить, зачем он ходит к ней, что ему нужно. «Вдруг да Андрюша обо мне вспомнит... завернет на сына посмотреть... Что подумает? — мелькнуло как-то у нее в голове. Тут же она рассердилась на себя: — Придет! Жди!»

Посещения Бурцева стали тяжелы. «Ходит, читает надо мной, как над умершей... а может... по мужской нужде ходит ко мне? Вишь ведь, глазами-то окатывает. Надеется небось, что легко достанусь...»

Но потом узнала Варвара, что Бурцев часто так ходит по домам, читает вслух, беседует с людьми, и удивилась тому, что это не успокоило ее, а обидело.

Скоро во дворе Варвары появилась статная телка, красная, с чуть приметными подпалинами на шее, с блестящей шерстью, с чистыми глазами. Женщина назвала ее Зорькой. Зорька бегала по двору, бодая комолым лбом воздух.

Ее нужно было кормить. Она только то и делала, что ела.

Корм, выданный комитетом бедноты, скоро вышел.

«Проживу! С коровушкой и без колхоза проживу»,— думала Варвара и рыскала по дорогам, собирая сено, потерянное при перевозке. Каждый воз, зацепляя за кусты или пни, оставлял клочки сена, а иногда и целые охапки.

Земля и небо кружились в снежном вихре. Ветер поднимал и рассыпал пылью сугробы. В белой завесе было видно, как сосны по бокам дороги торжественно раскачивали верхушки. Мутное солнце еле пробивалось сквозь вихри.

По дорогам бродили коровы. Варвара отгоняла их от кустов и торопливо собирала сено в мешок.

Мимо шли воз за возом то с дровами, то с сеном. Притаившись за кустами, Варвара пережидала, когда

обоз пройдет, а потом плелась следом в надежде, что клочок сена свалится с воза.

— Что, комитет-то бедноты, видно, не всех бедняков кормит? — услышала она раз насмешливый голос.

На возу, развалившись, ехал зажиточный односельчанин Иван Никулин. Рыжая борода его тоже казалась пересохшей на солнце травой.

— Я вчера у Петрунихи на повороте клок сенца потерял, ты бы сгоняла подобрала...

Мужик насмехался: Петруниха — это сенокосная елань, верст шестнадцать от деревни.

— Ты лучше сена бы мне одолжил...

— Подо что? Чем расплатишься?

Варвара молчала: расплачиваться ей было нечем.

Свесив голову с воза, Никулин оценивающе оглядывал ее.

— Под работу одолжу...— решился он наконец.— Весной на поле у меня отработаешь.

Не столь давно Варвара это считала бы справедливым. Но теперь она кое-что успела узнать.

— В кулаки метишь? — спросила она хрипло. Пропустив воз мимо, злобно прошептала: — Никому не покорюсь... прокормлю сама. Мне бы только до травы дожить...

Когда Бурцев снова заговорил с ней о вступлении в колхоз, Варвара рассмеялась:

— Это вступить да коровушку вам отвести! Да за каждой чашкой молока для ребенка низко кланяться? Да еще и куриц? Я, может, скоро и без колхоза жизнь увижу!

Тот глядел на нее все с бо́льшим любопытством. Сердил ее этим взглядом. Однако что-то смутно и радовало Варвару. Впервые в ней увидели человека, равного всем.

Бурцев рассказывал о людях, с которыми она сталкивалась, словно заново открывал их:

— Пикуловы — это свои... Недаром кулачье Семена ненавидит... Дом вон сожгли у него... Как еще люди спаслись...

Варвара помнила этот ночной пожар, удивлялась, что сгорел один-единственный дом в деревне. Но ей и в голову не приходило, что дом могли поджечь по злобе. Кто же?

— Кто? Если бы мы знали!

О людях Бурцев говорил с любовью. Варвара смеялась про себя: «Мало они тебя, видать, обманывали».

В этот день, уходя, он сунул ей горячую крупную руку и сообщил:

— В райком я сегодня должен... вызывают... С уполномоченным опять поспорил... взбучка будет.— На ее взгляд он ответил грустной улыбкой. Понимала Варвара, что не все еще Бурцев говорит, не все еще она знала в его жизни, видела только, что носил он новые думы, тревожные и радостные.

Весь следующий день Варваре было отчего-то неспокойно.

Она нетерпеливо ждала вечера: может, по пути из райкома Бурцев зайдет, как всегда, на огонек.

Зажгла лампу и не задернула, а, наоборот, шире распахнула на окнах занавески.

И в это время услышала с улицы истошный крик:

— Убили! Убили ведь!

Варвара порывисто задернула занавески, точно стараясь спрятаться от страшной мысли. А с улицы неслось тревожное, как набат:

— Убили-и!

Заплакал Костя, сидя на полу, у печи. Не выдержав, Варвара выбежала на улицу.

На дороге, против дома, отчетливо выделялась на снегу черная толпа идущих за санями людей.

Растолкав всех, Варвара склонилась над розвальнями, стараясь узнать, кто лежит в них так неподвижно. Рука натолкнулась на мохнатую шапку с кожаным верхом. Спустилась ниже и нашла холодный лоб, глубокие холодные корявины на нем...

Сзади, в молчаливой толпе, кто-то громко произнес:

— И пореветь-то за бобылем некому.

Слова прозвучали в морозном воздухе отчетливо, с укором.

Варвара громко заплакала. Ее оттеснили в сторону, к сугробам, лежавшим по краям дороги, и прошли мимо. Рядом остановилась Лизавета, заворчала:

— Не вой. Что люди-то подумают...

Варвара смолкла.

— В спину стреляли, проклятые! За твердое задание убили... Ну, погодите! Узнаем...— пригрозила Лизавета, уходя.

Костя смотрел на мать испуганными глазами. Губы его вздрагивали. Может, он плакал громко, может, просил о чем-то — она не слышала, тупо уставясь в угол избы.

VII

Шел снег, густой туманной пеленой застилая улицу. Рыхлые серые хлопья порхали вокруг лица, щекотали ресницы. Подтаявшие было дороги вновь покрылись пушистыми сугробами.

Встречные появлялись возле Варвары неожиданно, беззвучно и так же исчезали за белой завесой снега. Она брела по занесенной дороге, ни о чем не думая, не рассуждая. Ее гнала одна мысль: «Не зря же все говорят мне, что в колхозе прожить легче будет... И Бурцев говорил это... а он всем добра хотел».

В комнате председателя никого не было. Стулья и столы небрежно сдвинуты к стене, пол завален зерном; только была оставлена тропка от двери к окну. Варвара сидела на окне и ждала, всматриваясь в рассыпанное перед ней зерно.

— Должно быть, пшеница, — прошептала она и, склонившись, захватила с пола горсть зерна.

У нее шевельнулась тяжелая жалость. Костя никогда еще не ел душистого пшеничного хлеба, рос на колючей овсянке.

Не отдавая отчета, как в беспамятстве, видя перед собой только бледное лицо сына, его гримасы, когда он глотал овсяный горький хлеб, женщина склонилась к зерну и горсть за горстью наполнила им карманы.

Она не могла теперь оставаться здесь, бросилась к двери, но навстречу вышла Лизавета и остановила ее радостным возгласом:

— Пришла! Заявление-то заготовила? Ну-ка, где оно?

Пока Варвара рылась в кармане, отыскивая бумажку, Лизавета склонилась к рассыпанной пшенице и подгребла ладонью с тропки несколько зерен. Затем, все так же сидя на корточках, бросила взгляд на Варвару.

— Видела? Пшеничку семенную раздобыли! Разводить будем! Артельщики-то ожили, смотреть семена-то бегают... ждут...

В ее голосе звенела радость, точно вкладывала она в слова всю силу надежды.

— Свою пшеничку разведем,— бормотала Лизавета, вновь склонившись к зерну. Варвара неловко сунула ей заявление и выбежала из комнаты.

Дома она задумалась. Как никогда, ярко представила большое колышущееся поле.

Снова вспомнился Бурцев, его прищуренные глаза. На этот раз они смотрели с укором. Женщина успокаивала себя: «Он для меня не то что пшенички, коровы не пожалел...» А Бурцев все смотрел на нее неотступно.

Она не могла уснуть в эту ночь. Стараясь чем-нибудь оправдать себя, шептала:

— Не для себя пожадничала... Мальчишка овсянкой уж горло исцарапал.

Протянув в темноте руки, как слепая причитала:

— И как это я зорю-то утреннюю встречу? Как людям в глаза погляжу?

Утро безжалостно приближалось. Увидев посветлевшие окна, Варвара снова забылась в причетах, терзая себя бессмысленными словами:

— Ты пришла бы, родимая мамонька, выучила бы, указала бы, как тянуть жизнь сиротскую...

Над головой висела ее стеганая кофта, стоило протянуть руку.

Варвара достала из кармана небольшую горсточку зерна, поднесла к окну, ближе к свету. Это была какая-то необычайная пшеница: толстые крупные зерна с нежным пережимом посередине лоснились и блестели. Варвара вновь и вновь видела перед собой склоненную фигуру Лизаветы, ее ликующий взгляд, смуглую руку с неуклюжими пальцами, которые подгребали на тропке зерно, ногтями выцарапывая его из трещинок в половицах.

Колхозники старались развести пшеницу. Берегли каждое зернышко! Варвару мучил стыд, сознание, что она хуже всех.

Неожиданно к ней зашел Семен Пикулов. Неуклюже потоптавшись у порога, стянул с головы старую кепку. На лбу, как венчик, остался от кепки красный рубец.

— Приняли тебя в колхоз...— сообщил он.— За телушкой и за курицами меня послали...

Варвара тяжело поднялась. Прокашлявшись, Семен повторил:

— Послали вот...

Как в бреду, женщина вышла за ним во двор, поймала кур. Они были совсем ручные, сами бежали на зов. Пикулов обмотал веревкой шею телки, взял из рук хозяйки птиц и направился со двора. Куры сплошно кричали. Телка шла спокойно, доверчиво, и это больше всего потрясло Варвару.

В тихой улице разносился трескучий шум веялки да крик удаляющихся птиц. Хотелось завыть, громко пожаловаться на свое одиночество, на неумение разобраться в том, что происходит.

На крыльце Чувелевых показалась Зинаида. Она сразу поняла все и недоуменно уставилась на соседку.

— Неужто в колхоз вступила?

Стараясь скрыть злые слезы, Варвара отозвалась:

— Может, так и надо... Не с голыми же руками в колхоз идти. Если перед вступлением все коров начнут забивать, с чем тогда большое хозяйство начинать?

— Ну и дура!

Какая-то тень прошла по лицу Варвары. Она сдержала дрожь в губах, стараясь их раздвинуть в улыбке.

— Все будут умниками, так голодом насидимся... — В избе при виде рассыпанной на столе пшеницы Варвара вспомнила, что она хуже всех, что ей не следует никому показывать своего горя...

Собрав зерно и снова рассовав его по карманам, она вышла из дому.

В правлении Лизавета распределяла работу на этот день между колхозниками. Комната, где сохло зерно, была пуста.

Скованная страхом, боясь, что ее поймают с поличным, Варвара несмело огляделась и начала высыпать пшеницу, выворачивая карманы.

Она остановилась в полутемной прихожей, у печки, и стояла до тех пор, пока мимо не прошли мужики.

За ними спешила Лизавета, с кем-то споря. Варвара сдавленно заметила:

— Что это пшеницу-то никто не сторожит? Люди всякие есть и растащить могут... по карманам рассуют, никто не увидит.

Председательница, недоуменно взглянув на нее, пробежала было мимо. Но ее вернул Пикулов. Он сказал ворчливо, чему-то радуясь:

— Верно говорит баба, чего ты отмахиваешься, в самом деле? Растащат пшеницу! — И, успокаивая Варвару, добавил: — Поставим, обязательно здесь поставим караул.

Приближалась весна. Дороги сбились, снег лежал взбухший, потемневший. То дул влажный и теплый ветер, и тогда с крыш начинало капать; в низинках сохранялся хлюпкий, как холодец, снег, а на буграх виднелась рыжая прошлогодняя травка. То вдруг наступала ясная морозная погода, сырые выбоины на дорогах покрывались тонким хрупким льдом. Иногда же падал свежий снег и лежал нетронутый и чистый до новой оттепели.

Колхоз жил настороженно. Говорили теперь только о пахоте, о машинах и лошадях, о людях и о семенах. Больше всего колхозников тревожили семена.

— Нахватали земли-то не по силам!

— Ни семян, ни рук!

Захар Беляев уверял:

— Вывернемся, государство поможет!

То же самое говорил кладовщик колхоза, вдовец Никита Дренов, сосед Беляева. Когда-то и у него было неплохое хозяйство, земля, две лошади. Но умерла жена. Ходили слухи, что он забил ее. Варвара этому верила. Живя у дяди, она не раз слышала во дворе соседей женский плач и стоны. После смерти жены хозяйство Дренова захирело.

Дренов часто приходил в правление. Мигая красными, точно вывороченными, ресницами, вытягивал длинную худую шею, беспокойно поводил лицом. Низкий лоб и короткий приплюснутый нос делали его неприятным. Казалось, он выжидал чего-то, прислушивался ко всему. Узкие черные глаза бегали по сторонам. Порой настороженная улыбка, как судорога, мелькала по лицу, по мокрым губам. Варваре всегда хотелось отвернуться, не глядеть на него. Носил Дренов все один и тот же латаный пиджак серого цвета, пестрядинные штаны и лапти. Непрерывно курил, свертывая одну цигарку за другой, черпая табак в залоснившемся красном кисете.

— Ясно, поможем! Государство нас должно ублаготворить! Всем помогает!

— Скорее уж нам председателя Совета дали бы. Говорят, рабочего пришлют с завода,— говорил Пикулов.

— Своих-то не найдем? — сердито спрашивал Беляев и поглаживал бороду.

— Уж не тебя ли? — кричал ему Пикулов.— Ты направишь! Все тянешь с государства! А государству кто помогать будет?

Захар внушительно отвечал:

— Государство, говорю я, обязано нам помочь. В колхоз всех принимают: и состоятельных, и бедноту, так должно помогать! Кто бедноте даст, кроме государства?

Этот долгодневный спор неожиданно решила Варвара. Когда в правлении осталась одна Лизавета, она решительно сообщила:

— У меня семена есть, пятнадцать мешков!..— Голос ее сорвался.

Лизавета смотрела на нее, как на сумасшедшую, даже махнула на нее рукой:

— Не пустомель зря!

— Сейте, коли семена нашлись! — настаивала Варвара, волнуясь все больше.

Старуха поняла наконец, что Варвара не шутит, поняла также, о каких говорит семенах, и побледнела: вон ведь что!

В правление забежал Пикулов справиться, как идет сев. Варвара смотрела на них потемневшими глазами, уверенная, что поступает правильно, и упрямо твердила:

— У государства много ртов есть просят. А мы можем на своих семенах выехать.

Пикулов протянул:

— Вон ты какая! Сняла бельма-то! — Неожиданная гордость и удивление прозвучали в его голосе, точно он впервые увидел и оценил эту женщину.

Пикулов с Андреем Дороховым приехали за семенами. Оба с любопытством оглядели избу и Костю, игравшего на полу. Семен, подойдя к западне, с силой рванул замок.

Андрей долго стоял над ребенком, наблюдая, как тот перебирает какие-то чурбашки.

— Костей назвала?

Варвара не ответила.

Андрей точно и не ждал от нее ответа, торопливо

нырнул в открытую западню. Оттуда вырвался густой хлебный запах.

Мужики выкидывали белые мешки. Андрей по-свойски кричал:

— Помогай, что встала!

Варваре было приятно, что кто-то властно и требовательно может покрикивать на нее.

Семен, выбрасывая из подполья новый мешок, произнес, торжествуя:

— Вот мы и с семенами! — Так необычно было слышать его смех. Он кудахтал, словно заикался, и никак не мог произнести самого сокровенного, о чем думал много лет.

Они перетаскали и уложили на подводу мешки. Андрей, отрясая с себя белую пыль, буркнул Пикулову:

— Ты вези... я догоню...

Варвара, сидя у окна, гладила рукой стол, думала, а может быть, и ждала. Андрей не знал, о чем говорить, указал на западню:

— Что не закроешь?

Бросив взгляд на его кудри, смокшие от пота, Варвара вздохнула. Он сам закрыл пустую яму, подошел к мереже, надетой на гвозде у косяка окна.

— Кому вяжешь?

— Не знаю... Алексеевна меня подрядила.

Обрадованный, что есть о чем говорить, не касаясь того, что лежало между ними, Андрей вскрикнул:

— А-а! Так ведь Чувелева колхозу вяжет!

Варвара спросила нехотя:

— Сколько же вы платите ей?

— Тридцать.

Только сейчас Варвара оживилась:

— Тридцать? А ведь я от нее только по двадцати за мережу получаю...

Опять наступило тяжелое молчание. Андрей все смотрел на Костю и растерянно улыбался.

— Сын...

Варвара вздрогнула, такой гордостью сияли его глаза; она взяла мальчика на колени, оберегая руками, враждебно сказала:

— Не твой сын-то, мой!

Андрей молча сел рядом, робко протянул к Варваре руки:

—Я о тебе думал...

Она все вспомнила вдруг: унижение и тоску, обманутое свое доверие, сиротское детство Кости.

— Хорошо думал! Полтора года и не спрашивал, как живем! — Голос ее дрожал.

— Мать меня за тебя ругает...— чуть слышно прошептал Андрей.— Мать-то одна. Надо ее уважить. Ты подожди, я ее все-таки перетолкую.

— Ну-ну, уважай. Мне теперь печали мало... Можешь и не перетолковывать, не стараться!

— Слыхал я...— намекнул было Андрей, но Варвара так грозно глянула на него, что он смолк.

— Что слыхал? — настаивала она.

— Да так... всякое. Над Бурцевым, говорят, как жена, голосила...

— Напели же тебе в уши-то. А что? — с вызовом спросила она.— Нельзя?

Андрей взглянул в ее застывшее неумолимое лицо и заторопился:

— Взвешивать мешки надо... ждут...

— Не держу.

Теперь Варвара каждый день приходила в правление и сидела, прислушиваясь к разговорам о глубокой пахоте, о сроках сева и нормах выработки.

Иногда женщина и делала что-нибудь: для нее ничего не стоило подмести пол или протереть окна — сущий пустяк. Но люди не понимали, ради чего торчит она здесь целыми днями. Мужики шутя кричали:

— Садись, покурим, Варвара!

Она бросалась на каждый зов Лизаветы, готова была сделать все, что потребуют; но боялась только встретиться с дядей, даже не пошла на то собрание, на котором Беляева исключили из колхоза. А вскоре он уехал в район, пригрозив, что «там добьется правды».

Варвара изнывала от безделья, казалась несчастной. В минуты отчаяния и тяжелого раздумья около нее тихо и незаметно появлялся Никита Дренов.

— Что-то, смотрю я, дальше хуже, дальше хуже. Шел в колхоз на легкую жизнь, а оно вон как! Хоть воруй! — говорил он.

Видя жалкое и виноватое лицо кладовщика с редкой седой бороденкой, его напряженный прислушивающийся взгляд, Варвара жалела его:

— И как только ты живешь, Никита?

— А что?

— Смотри, грязи-то на тебе!

— А что? Нашему брату ко всему привыкать надо!

Он совсем не интересовался, как растут его дети, и, когда Варвара упрекала за это, отвечал:

— Вдовец — деткам не отец, сам — кругла сирота... Вот иди ко мне жить, всех нас и обмоешь! — шептал он. Варвара не понимала, смеется он или говорит серьезно.

Иногда она чинила его детям одежду, сидя в правлении. Получая от нее работу, Дренов всегда покашливал, жаловался на жизнь вдовца.

— Как же ты мне ответишь, Варвара? Может, пригреешь меня... Мы с тобой по закону бы все сделали — хоть вокруг аналоя, хоть в Совете бы записались...

Говорил он с ней всегда вкрадчиво. И слова были такие, точно он тосковал о жизни.

— Вот пшеничку ныне посеяли... Может, и поедят колхозннчки пшенички... с лебеды-то оно — зáрно. Только сомнительно: разве земля в колхозе пшеничку родит? Земля хозяина любит!

— Земля любви требует...— отозвалась Варвара, смутно понимая, что о разной любви и о разных хозяевах земли говорят они.

У Дренова потемнели глаза и задрожали губы.

— Ну что ты в земле понимать можешь! Ее у тебя никогда не было! — прохрипел он.— Я хоть думал о ней! Всю жизнь ее на мечте держал... и теперь держу... И будет! Добьюся землицы! — Устало свесив голову, как бы не замечая больше около себя женщины, протянул: — И сколько раньше у больших хозяев земли было! Глазом не возьмешь! И вся-то она была мягкая, выхоженная, как баба...

Лизавета уже несколько дней лежала больная.

Чувелев, заменяя ее, посмеивался:

— Знает наша председательша, когда захворать: за всходы, пролежит подольше, отвечать не будет...

Чувелеву нравились люди, охотно выполняющие поручения. Он говорил:

— Работай знай, Варвара! Мы всю твою избенку хлебом завалим!

Но, оставшись с Варварой наедине, заместитель председателя тоже начинал жаловаться:

— Трудно большое хозяйство вести: семян недостает, амбар новый поставили, а хранить в нем нече-

го — что посеем, то и по трудодням разойдется да на хлебосдачу.— И повторял: — Знает Косякова, когда заболеть. Выкраиваю, выкраиваю мучицы, чтобы машин завести,— ничего не выходит. Семян, не знаю, хватит ли... Обложили кулаков твердым заданием, а нашли семян только одну яму. Напрасно Бурцев, покойная головушка, Никулиных защитил, у них, наверное, семена есть...

Чувелев терялся от забот, думая, что необходим везде, в каждом углу, что без него люди пропустят в работе самое главное, то бежал на конный двор и кричал там: «Лошадей-то подкуйте!», то срывался и несся в амбар, где сортировали семена, и там также кричал, запоздало распоряжаясь, внося в работу беспорядок и суетливость.

Но иногда на заместителя председателя находили минуты самодовольства.

— Сепаратор я для молочной фермы без Косяковой раздобыл, — хвастал он.— Телят теперь у нас целое стадо.

Может, он и в самом деле мечтал сделать колхоз зажиточным, но не знал, где взять для этого сил и средств.

Варвара уже не могла проходить мимо недостатков в работе. Вот распорядился Чувелев выдать муки нерадивой колхознице, которая все лето пробе́гала по ягоды и грибы, а зимой гоняла на попутных машинах в город продавать картошку. Не успела та закрыть за собой дверь, как Варвара накинулась на Петра:

— Зря муки ей дал, Петр Степаныч... не стоит она того...— И испугалась своей смелости. В то же время непонятная гордость охватила ее: она может вмешиваться, со всеми говорить как равная.

Дренов вновь появился около, точно следил. Варвара всюду встречала его настороженные глаза. В последнее время он не переставая улыбался враждебно и тонко, подкарауливая что-то.

В другой раз Варвара услышала разговор, что земля в колхозе используется не полностью, ее не успевали распахать.

— Вот пустошь рядом с кладбищем хорошо бы обсеять... земля унавожена... только руки приложить, вычистить от камней,— вступила в разговор Варвара.

Чувелев удивленно выслушал ее, сказал:

— Подожди... Артель наша еще молодая: всего три года живет! Еще ползунок. Понемногу все к рукам приберем...— И тут же, непонятно на что рассердясь, заворчал:— Не суйся ты, баба, не в свои дела...

Не соглашалась Варвара и с тем, что колхозники не имели постоянной работы. Сама все чаще старалась пройти мимо скотного двора, поймать мычание своей Зорьки. Вот здесь бы ей работать! Однажды она попросила:

— Дай ты мне, Чувелев, одну работу, а то гоняют меня, гоняют: сегодня — пахарь, завтра — кузнец!

Чувелев, пообещав, забыл.

Со смутным чувством тревоги возвращалась она как-то домой.

На пруду, недалеко от берега, на мелкой зыби качалась лодка.

В ней, сидя друг против друга, смеялись Зоя Пикулова и Яша Никулин. Парень опустил весла. Лодка дробилась и дрожала в зеленой таинственной глубине.

Варвара подумала: «Меня никто и на волне не укачивал...»

И словно подслушав эту жалобу, с берега окликнул ее Андрей:

— Поедем, на лодке покатаю!

Варвара отказалась. Тогда Андрей, поднявшись на дорогу, сказал:

— Поговорить бы надо... Захар ведь приехал...

Варвара вздрогнула и пошла от него к дому. Дядя Захар приехал! Как-то встретится он с племянницей?

Шевельнулось чувство жалости к дяде и вины перед ним. Но тут же всплыла перед ней картина: Беляев, расширив руки, выгоняет ее из дому, как скотину, и кричит при этом: «Не думаешь ли ты, что я тебя всю жизнь кормить буду!»

— Я приду к тебе? А? — тихо спрашивал Андрей, идя за нею.— Сегодня?.. Обо всем и поговорим.

Варвара слабо возразила:

— Мать еще твоя узнает, будет греха-то...

Вспомнилось ей, как два года назад ждала она Андрея в условленных местах, по овинам, под стогами сена на поле, за домами, у реки, замирала от каждого шороха, таилась от всех, как вор.

Весь вечер Варвара лихорадочно чистила в избе, мыла Костю.

Было поздно. На улице простучала трещотка. Стук пролетел мимо, в ночную мглу, и больше не повторился.

Варвара уложила Костю спать и уселась за мережу, вскакивая от каждого звука на улице.

«Да разве он придет? Нужна я ему!» Она перестала уже ждать, но вдруг вскочила и, швырнув на стол сеть, подбежала к дверям: кто-то подошел к сеням и, помедлив, громко стукнул в закрытые дверцы. Варвара вышла в сени, тихо спросила:

— Кто? — Не дожидаясь ответа, неслышно сняла щеколду, распахнула дверь. Ее свалил удар по голове. Она упала в открытую дверь на людей — их было двое. Они втащили Варвару за ноги обратно в сени и, заткнув рот какой-то тряпкой, начали пинать, топтать ногами. Женщина, глухо мыча, извивалась под ударами, языком старалась выпихнуть изо рта тряпку. В горле стояла сушь, темнело в глазах, красные полосы прыгали над ней, сливались в один мерцающий круг; круг этот нависал, давил. Откуда-то послышался приглушенный знакомый голос:

— Добивай.

Кто-то низко склонился, дыша ей в лицо, и, вырвав тряпку, сунул в рот холодное горлышко бутылки. Жгучий запах керосина захватил дыхание. Глотая вонючую жидкость, Варвара потеряла сознание.

Она очнулась, укачиваемая Андреем.

— Варя... Варя...— Андрей нес Варвару на руках в избу и твердил: — Что они с тобой сделали?

И снова забылась. Сколько лежала так, она не знала, то теряя сознание, то приходя в себя. Около нее всегда сидела Лизавета.

— Кто? Узнала? Захар? — допытывалась она.

Не ответив, Варвара простонала:

— Пить дай...

Разливая по груди воду, поглядела на Лизавету побелевшими от страдания глазами. Потом, положив голову на подушку, стараясь улыбнуться, прохрипела:

— За семена он...

Лизавета натянула ей на грудь сбившееся одеяло. В глазах Варвары запестрило от цветных лоскутков.

— Где Костя?

— Он в покое... Ты много-то не разговаривай! — И кому-то другому Лизавета прошептала: — Смотри за ней, я пойду... надо заявить...

Варвара сделала слабое протестующее движение рукой и забылась. А когда вновь открыла глаза, в избе был полумрак. Около нее дежурила Зинаида Чувелева. Подкараулив ее вздох, быстро заговорила:

— Может, ты поешь, Варюха... молоко вот...— и протянула бутылку, но больная отрицательно покачала головой. Откуда-то сзади поднялся Андрей.

— Ты бы выпила верно, Варвара... Всю живность из тебя выхлестало, чем жива-то будешь? Пей!

В горле болело. Она с трудом высосала несколько глотков и, отодвинув бутылку, улыбнулась своему бессилию:

— Как маленькая...

Андрей притих у изголовья, тихо гладя ее волосы. Варвара порывисто прижала его ладонь к своей голове и закрыла глаза.

Руки ее то быстро перебирали волосы, поглаживали лицо, то одергивали на груди рубашку.

— Перед смертью охорашивается,— догадывались женщины и плакали.

Приходил Семен Пикулов, подолгу сидел у кровати и говорил, говорил. Варвара запомнила только слова:

— Старый-то мир ведь я расшатывал!

В бреду Варваре казалось, что купается она в керосине, а на берегу Семен Пикулов борется с каким-то мохнатым сильным зверем, раскачивает его во все стороны и кричит: «Долой! Старый мир нам не нужен!» Она кричала, звала на помощь Лизавету, Бурцева, Андрея.

Когда Варвара окончательно пришла в себя, ей сообщили, что Беляев арестован.

— Видела я, как везли его,— сообщила Лизавета.— Морду-то в бороду спрятал, стыдно...

Каждому, кто навещал Варвару в те дни, нашлось чем вспомнить Захара.

— Я как-то у него на покосе грабли сломала. Три дня потом эти грабли отрабатывала.

— Чего там! Укараулит, когда в лавке какого товара нет, и начнет нашептывать: «Соли, слышал, нету у тебя. У меня где-то немножко сохранилось. Приди, отвешу... Отработаешь...»

— До-обрый! Только соль-то его больно соленой оказывалась.

Пикулов твердил одно и то же:

— Зашевелилось, кулачье...

Много говорили о классовой борьбе, о сознательности людей. Под негромкий разговор Варваре хотелось спать.

Она тихонько, разнеженно посмеивалась:

— Скажут... какая-то классовая борьба! Просто дядя племяннице нос расквасил...

Но скоро в дом Варвары принесли другую новость: Захар Беляев из-под стражи убежал, шляется вокруг деревни. Кто-то видел его у примятой копны. Андрей встревожился:

— Я останусь у тебя, Варя, ночую... а то вдруг...

Варвара отрицательно качала головой:

— Никого я не боюсь. Одна ночую...

А оставшись одна, всю ночь слышала шаги вокруг дома и приглушенные голоса. Узнав, что это Зоя Пикулова и Яша Никулин, успокоилась.

Снова и снова обращалась она мысленно к Бурцеву: «Значит, правильно я поступила с семенами, если мне одну с тобой смерть приготовили?..»

Окна пропускали звуки с улицы. Вот до Варвары донеслись поцелуи, тихий смешок Зои и слова:

— Этак мы с тобой все прокараулим. Захар влезет опять к тете Варваре... как тогда мы на свет глядеть будем?..

«Так это они меня стерегут! — догадалась Варвара, и теплое, нежное чувство к людям взволновало ее.— Не одна я... не одна!»

VIII

Стояла жаркая пора жатвы, когда Варвара поднялась с постели. В колхозе сняли рожь, приступили к уборке пшеницы. Все казалось ей новым: дома, улицы как бы уменьшились, дороги стали короче. Люди же были добрее, доступнее.

Придя на поле, она жадно оглядывала белые волны пшеницы и говорила:

— В три дня осилим! — Но идти, как всегда, впереди не могла: руки дрожали, теряли колос. Соседки жалостливо советовали:

— А ты тихонько, Варвара! И отстанешь, так не беда!

— Не обязательно норму жать.

Колхозницы были недовольны установленной нормой для жатвы. Больше всех ворчала Анисья Дорохова:

— Десять соток! Выдумали! Нам и половину не согнать!

Старуха действительно не брала и половины.

Случайно обернувшись, Варвара увидела, как она прятала срезанные колосья в карман юбки. Однако поймав на себе долгий взгляд Варвары, не вынимая из кармана руки, начала почесываться:

— Как в этой жатве тело зудится, беда!

Варвара знала, отчего «зудится» тело Анисьи, и, возмущенная, выпрямилась. Ей казалось, что старуха обворовывает ее, Варвару Потехину.

Анисья быстро-быстро заговорила:

— Костя-то, Варвара, все время у нас проживал. Затеют вечером с отцом возню... А уж ко мне привык!

Варвара уже знала, что Костю держали у отца. Непонятно для чего, она окликнула бригадира — Лукерью Пикулову:

— Луша! Эй...

Анисья торопливо выкинула из кармана колосья на жниво и, проворчав что-то, продолжала жать.

Зной и тишина стояли в воздухе. Не шевелился ни один колосок, ни одна былинка. Слышалось лишь тяжелое дыхание работниц да гудела мошкара, вившаяся над полем.

Зинаида Чувелева, завидя бригадира, затянула:

— Никогда больше не пойду на жатву... люди ягоды носят... я тоже не хуже людей.— Ее сережки покачивались в ушах. Показывая красные, нажаленные осотом и жабреем руки, Зинаида кричала: — Видишь, пшеница-то какая сорная!

— Расплавятся у тебя сережки-то когда-нибудь на солнышке,— серьезно сказала ей Варвара.

Чувелева побагровела и закричала что-то еще, но ей никто не отвечал, и она смолкла.

— Ты меня гаркала, Варя?— спросила, подойдя, Пикулова.

Варвара оглянулась на старую Дорохову, которая жала теперь не разгибая спины, потом окинула взгля-

дом неподвижное, блестевшее под солнцем море пшеницы, простиравшееся без края далеко вперед, и выраставшие сзади суслоны на голом жнивье, как кон золотых бабок, сбегавший под уклон к лугам, и вздохнула:

— Хорошо бы в неделю нам сжать хлебушко...

Дорохова выпрямилась, с благодарностью взглянула на Варвару и снова склонилась к полосе.

Рассвирепевшая Зинаида, подпрыгнув к бригадиру, протянула припухшие руки:

— Видишь?

— Я тебе такие же покажу...— сердито отозвалась та.— Норму-то сами утверждали. Давайте-ка жните, бабы. Глаза боятся, а руки делают!

Зинаида, ворча, склонилась над полосой, но тут же выпрямилась, потерла руками спину, подошла к большому синему туесу и жадно напилась. Серая кофта, мокрая от пота, прилипла к телу.

Варваре вдруг стало жаль ее. Хотелось положить руку на плечо и успокоить. Если бы эта вечно ноющая баба, и эта Анисья Дорохова, ворующая колосья на собственном поле, да и все, кто находился здесь, поняли все то, что поняла Варвара,— сердца их посветлели бы и труд показался бы праздником. Но слова, которые она хотела произнести, большие и значительные, ускользали. И никто бы не понял мыслей, которые ее волновали. «Видно, слова собрать тяжелее, чем колосья»,— подумала Варвара, идя следом за Зинаидой.

— Ты назад-то оглядывайся,— бросила она,— смотри, я за тобой сноп целый связала.

Но, видимо, почувствовала Зинаида в ее голосе ласку, не обиделась, а, приподняв голову, начала жаловаться:

— Хоть бы дождичек! Дышать тяжело!

— Дождичек? А суслоны замочит — тогда что?

Варвара снова обогнала всех.

— Куда ты гонишь? — ворчали на нее.

— После болезни тебе можно и не торопиться...

Они забеспокоились: Варвара повысит норму. Им нельзя было отставать.

Зоя Пикулова смотрела на нее влюбленно, выбивалась из сил, чтобы идти рядом с этой большой женщиной.

— Чудаки люди! Ровно не себе жнут,— шептала она.

Бабы удивлялись:

— Зойку-то видели? Безбровая, а туда же...

Лукерья, гордясь дочерью, напевно ответила:

— На лицо глядеть нечего. Безбровая, а рядом с чернобровой идет... На работу глядеть надо!

Дорохова тоже старалась держаться ближе к Варваре, заговаривала с ней.

Варвара догадывалась: «Видно, обламывает Андрей ее».

Уборку к празднику не закончили. Еще стояли не обмолоченные скирды хлеба, еще картошка была свалена в сарае не рассортированная. Решено было работать и в дни праздника, только накануне, вечером, собраться всем на торжественное заседание в правление.

Это был первый Варварин праздник.

Варвара бродила по освещенным комнатам правления, смущаясь новым голубым платьем, сшитым по Зинаидиному фасону — с двумя оборками на подоле, не знала, куда девать руки. Думая, что все смотрят на нее, смеются над угловатыми движениями и модным платьем, она становилась еще более неловкой, запиналась, боком обходила толпу. Глаза то угасали от робости, то вновь вспыхивали счастьем и любопытством.

Увидя Зинаиду Чувелеву, завившуюся к этому дню и нарядную, Варвара смутилась еще больше: «Слова вымолвить не умею, а туда же!»

Зинаида, кося на зеркало глаза, отметила:

— Все какие довольнешенькие!

У зеркала же стояла и Лукерья Пикулова. Присмотревшись к своему отражению, поправила черную косынку, а потом, захватив рот в щепотку, подошла к Варваре, также не зная, что делать.

Они побрели рядом, одинаково неловкие от смущения.

Лизавета, через силу пришедшая на вечер, упрекнула тоскующих в безделье женщин:

— Что разгуливаете? Гостей принимать нужно!

Варвара подошла к высокому черноватому Яше Никулину и поклонилась. Это ей выпало на долю принимать гостей, как у себя дома!

— Садитесь, Яков Иваныч! — пригласила она.— Гостем будете!

У парня был густой тяжелый голос. Смеялся он не сильно, без натуги, но смех его медным гулом забил в уши. Из другой комнаты немедленно выскочила Зоя Пикулова. Варвара облегченно вздохнула: она могла отойти в сторону.

Семен Пикулов крикнул Чувелеву:

— Отстаешь ты от бабы-то! Она голову подкудрила, а ты усы бы завил! Висят они у тебя, как мочало!

Тишина наступила враз. Все выжидательно повернулись в сторону Лизаветы.

Варвара сидела как во сне, с затуманенными от счастья глазами. Что такое говорит Лиза? И как хорошо говорит она!

Та била рукой воздух и продолжала:

— Нам нужно остро глядеть за чужерукими! Всех, кто мешает и вредит работе, выгоним вон, как выгнали Захара Беляева. У нас есть свои люди, в которых мы верим...

Варвара вздрогнула и поднялась и села вновь. Лизавета назвала ее имя. Она не понимала, что происходит, почему так неистово шумят за столом, так громко отбивают руками. Кто-то толкал ее в бок и шептал:

— Говори ответ, говори!

Варвара поднялась, безнадежно оглядела застолье.

— Господи! Да что же я скажу?

В веселом шуме и добродушном смехе неслись слова:

— Нашему брату говорить шибко туго!

Она не помнила, как окончилось собрание, как кто-то подхватил ее, не помнила слов, какие слышала и какие произносила сама.

В одной из комнат танцевали девушки. Лукерья, свернув на груди руки, крутилась среди молодежи, приговаривая:

Эх, зеленым лугом я пройдуся,
На сине небушко нагляжуся!
Алой зоренькой ворочуся!

Варвара вдруг увидела Андрея. Он стоял в дверях, из его черного плаща выглядывало розовое счастливое личико Кости.

Варвара кинулась к нему, расталкивая женщин. Но Лизавета, перехватив ее на полпути, приплясывая,

закружила, и Варвара, опустив руки, неумело перебирала ногами. Потом, поняв, что пляшет в кругу смеющихся людей, смутилась и спряталась за темную стену этого круга.

Часть вторая

I

Зинаида Чувелева плакала.

Варвара зашла в правление случайно и онемела в дверях. Шаль у Зинаиды сползла на затылок, волосы спутались, от праздничных кудрей не осталось ни одного завитка. Петр, который все еще заменял Лизавету, хлопотал около жены, завидя Варвару, смутился и коротко сказал:

— Прикрой дверь.

Зинаида, рыдая, говорила:

— Над тобой люди-то захохочут! Что и за председатель: жену в навозе заставляет пурхаться!

— Временно, Зина! Скоро я тебя освобожу! Да и не одна ты на скотном будешь работать... вот и Варвару туда направим! — как ребенка, уговаривал ее Чувелев и объяснил: — Привели новых коров, а доярки не справляются. Коровы стоят не доены... Надо вам с Зинаидой туда пойти поработать.

Коровы размещались на просторном дворе Захара Беляева.

Варвара подошла к знакомым воротам, распахнутым настежь. На миг показалось ей, что там все по-старому, вот сейчас по ступенькам крыльца спустится из сеней тетка Анфиса и визгливо начнет бранить ее. Но, войдя во двор, Варвара поразилась происшедшей там перемене. Сарай, отделявший двор от огорода, был снесен, на этом месте свалены белые бревна. В огороде на измятом снегу стояли наскоро сколоченные стойла для лошадей да яркие длинные срубы скотного двора. Оттуда слышались удары топоров. Из стаек доносилось мычание коров.

— Видели! — победно кричал Петр.— Коровник на весь район прославится — на полтораста коров строю!

— Хорош двор будет,— отозвалась Варвара, не разбираясь в хаосе сваленных бревен.

Чувелев запнулся за веревку, втоптанную в грязь, и выругался. Варвара подняла, обтерла веревку сеном и повесила на столб.

Пятнадцать коров, купленные Дреновым и пригнанные только сегодня, грязные и тощие, стояли в куче, надрывно мычали.

— Так это таких коров-то вы купили? — вырвалось у Варвары.

— Где же лучших взять? — торопливо отозвался Петр и, подтолкнув женщин к коровам, ускользнул со двора.

Доярки Пикуловы, не глядя на пришедших, возились в стайках. Зинаида уселась на бревно и объявила:

— Так вот и буду сидеть... с места не сойду!

Варвара молча начала хозяйничать. Затопила печь, пока грелась вода, вычистила стайки, отведенные новым коровам. Молча же к ней присоединились Пикуловы. Они заменили подстилку, теплой водой вымыли коров:

Наконец и Зинаида встала, отрывисто спросила Варвару:

— Так что делать-то?

Стадо доярки поделили между собой поровну.

В избе пахло ремнями и потом. Женщины выкинули вон лошадиную упряжь, чисто вымыли столы и скамьи, сепаратор и дойники. К вечеру в избе появился новый, бодрящий запах парного молока.

На ферму забежал Дренов, оторопело остановился во дворе, причмокнул:

— Скоро же вы управились! Все блестит! Небось Варвара все! Вот колхозница: в печь пироги ставит — шаньги вынимает! Да ведь здесь бы семерым не успеть, а вас четверо. И Зинаида, глядишь, начала работать...

Теперь Варвара приходила на ферму вместе с Костей.

С улицы в щель забора часто кто-то следил за доярками. Большие черные глаза провожали каждое их движение. Так было вчера и сегодня. Это связывало. И вот, подметая во дворе, Варвара все ближе подвигалась к щели, затем, быстро вспрыгнув на колоду, высунулась на улицу. Под забором стояли дети Дуни Рачихи — Федя и Нина. Девочка ковыряла палкой землю, а парень, прильнув к щели, смотрел во двор.

Из-за угла вывалилась толпа, гогочущая и свистящая, в центре которой кривлялась сама Дуня, побрякивая на балалайке.

Варвара осуждающе подумала: «Куда как хорошо! Ребятишки куски собирают, мать пропивает... Рабочий конь — на солому, пустопляс — на овес!»

Она смотрела на ребят, плотно прижавшихся к забору, тихо сказала:

— Войдите-ка сюда...

Федя отскочил и нелюдимо уставился на Варвару.

— Зайдите...— повторила та.

Вечером Дуня, все еще пьяная, пришла на ферму за сыном. На ее крик Федя в длинном холщовом фартуке, с лопатой в руках вышел из стайки и объявил матери:

— Я домой не пойду...

У пьяницы побелел нос, руки сжались в кулаки. Но Дуня не ударила сына, поняв вдруг, что Федя уже совсем взрослый парень.

Федя остался на скотном дворе. Помогал чистить коров и стайки, засыпал сена. Хмурый, неразговорчивый, он хватался за любое дело. Больше всего пристрастился к лошадям, часто мыл и чистил их, кормил с ладони хлебом.

Спал Федя в доме Беляева. Правление давало ему муку. Доярки поили его молоком, стряпали лепешки. Парень поправился, враз вытянулся и раздался в плечах, впалые щеки его заалели, округлились. Он угощал сестренку свежими лепешками, но долго около себя не задерживал.

— Иди... мать кормить надо... собирай.— Иногда утешающе шептал: — Вот подожди, Нинка, скоро я и тебя возьму... учиться будешь...

Сам Федя был немного грамотен, по складам читал газеты. Там он вычитал, как нужно ухаживать за коровами. Доярки стали готовить новый корм для скота — густое месиво из отрубей, картофеля и овсянки.

Однажды, когда Варвара прибирала рассыпанное с воза сено, ее остановил неспокойный взгляд Дренова. Его дом был рядом, отделялся от скотного только низким пряслом. Кладовщик стоял в углу своего двора, под навесом, свертывал цигарку, черпая табак из красного кисета, и следил за дояркой.

Непонятно, отчего она испугалась, торопливо под-

гребла к возу труху, смешанную со снегом, и ушла, злясь уже на свое недоверие к людям.

Дренову она не верила, страдала, лишалась сна. Случалось, ночью вскакивала с постели и бежала на ферму, не в силах объяснить причины такой тревоги.

— Ты напоила ли коров-то? — раз спросила она у Зинаиды.

— А я их после напою... натерпятся, так лучше попьют.

Варвара молча сделала теплое пойло и напоила коров Зинаиды, как своих.

Лукерья тоже озлобленно следила за Зинаидой, бросая порой сердитые слова:

Барыня в салопе! Поглядишь на нее, из колхоза побежишь. Муженек-то за целый год нам не заплатил. Все фунтиками кормит! А жене полные трудодни выплатил, за что?

— Как Лизавета Федоровна слегла, все у нас пошло вверх дном! — подтвердил забежавший с конного двора Пикулов. Он часто появлялся здесь, иногда и помогал дояркам в работе.— Нам не платит Чувелев, а вон Дренову вперед трудодни выдал... Разве это по справедливости? Мало ли, что он кладовщик, невелика блоха! Выдал Дренову трудодни! — удивлялся Семен.

Лукерья с сердцем швырнула подойник:

— Уйти и не выходить на работу, пока не заплатит. Вот и все.

— Неправильно, мама, говоришь: нельзя от работы отказываться! — выкрикнула Зоя.— Просто надо прописать обо всем в Москву...

Семен безнадежно махнул рукой, отгоняя слова, как мошкару:

— Помолчи! Что, в Москве не знают, как мы живем?

— А может, и не знают! Каждая капелька до верху не доходит.

Варвара слушала их, опустив голову, понимая, что все, что говорят Пикуловы о колхозе, правда.

— Не одно это за Чувелевым...— сказала она.— Все делает на особицу, ни с кем не советуется, а ведь и мы хозяева! Думала я, думала, не знаю, что и делать. Обида гнетет, что за работу не платят, а работать заставляют. Дренову вот заплатил... А почему? Дренов-то мягонький! Как за язык привязан: «Петр Семенович, Петр Семенович!» Мы ведь в глаза-то ему

не заглядываем... Мы с него требуем, а тот его возвышает, молитвы ему поет... А с другого краю подумаю... и уступать неохота... Нам в люди выбираться надо! Не лишаться же жизни из-за Петра Чувелева!

Зоя с улыбкой посмотрела на нее, на родителей.

— Уйти нам с работы, а хозяйство-то как? Коровы не доены останутся. Они к нам привыкли, других хозяек не признают... ни пить, ни есть не будут... Они-то ведь не виноваты, что Чувелев у нас на облака занесся.

— Да... коровы к нам привыкли; мы знаем, которой надо водичку потеплее, которой похолоднее, ведь у каждой своя отметинка имеется... А Званка, та завсегда пойло проливает...— отозвалась Лукерья.

Пикулов раздумчиво продолжал:

— А есть колхозы — хорошо живут...

II

Нина укладывалась спать всегда в одежде, чтобы поутру не тратить время на одевание: если кто-то из нищих пройдет под окнами раньше, другим уже не подают. Девочка это хорошо знала.

Ночью протрезвившаяся мать подходила к ней, ласково шептала:

— Спи, бог с тобой, кормилица моя...— С трудом сгибая когда-то отмороженные ноги, сдергивала с дочери огромные рваные ботинки и прикрывала ее ворохом лохмотьев.

Когда наступало время будить маленькую нищенку, Дуня долго стояла и вздыхала над ней. Потом осторожно дотрагивалась до острого плечика и тихо спрашивала:

— По миру-то пойдешь?

— Пойду-у...— тоненько, как мышка, пищала Нина и спешно вскакивала.

А к вечеру мать напивалась, встречала дочь бранью и попреками:

— Съела небось половину?

Девочка божилась, часто крестясь:

— Право богу, мама, не трогала...— и всхлипывала нарочно громко.

Нина всегда помнила, что Федя, живя дома, не плакал от побоев. Этого было достаточно, чтобы мать приходила в настоящую ярость.

— Ты заревешь? — хрипя спрашивала она, таская сына по избе и размахивая над его головой веревкой. Удары падали без разбору на голову, на лицо, на руки.

Федя молчал. Нина со слезами просила:

— Ты пореви... пореви, Феденька...

Нина усвоила, что нужно плакать, тогда мать, побуянив, тоже начинала реветь в голос с дочерью, а успокоившись, уходила из дому в поисках кумышки.

Пьяная, она была не страшна. Нина тогда вела себя полной хозяйкой, кормила ее, укладывала спать.

Однажды в дом к ним пришел Дренов и велел разбудить мать. Дуня поднялась и бессмысленно уставилась на гостя.

Дренов отвернулся и хрипло, через силу, сообщил:

— Пришел свататься к тебе, Дуня. Не способился с ребятишками... Мать им нужна...

Дуня сразу протрезвела. В черных, когда-то красивых глазах ее появился испуг.

— Меня? — переспросила она.— Да какая же я чужим деткам мать? Безногая я... да и...— долго не решалась она произнести себе приговор. Дренов холодно смотрел на нее, ждал. Нина, оцепенев, следила за матерью. Девочка поняла только, что взъерошенный этот человек угрожает привычному ходу жизни.

— Запои у меня...— тихо закончила наконец Дуня.

— Знаю. Путная на чужих детей не пойдет,— недружелюбно отозвался Дренов. Для чего-то посмотрел на свою ладонь, сжал руку в кулак, тяжело опустил на стол и добавил:— А от запоя вылечим.

Нина громко взвыла и спряталась в подол к матери.

III

С конного двора на ферму часто забегал Андрей.

— Как живешь? — беспокойно спрашивал он Варвару и ожидающе засматривал в лицо, подкарауливая жалобу.

— Живу! Земля, как мать ро́дна, носит!

Ни разу не пожаловалась она на жизнь. Андрей жаловался сам на беспорядки в колхозе, жаловался беспокойно и зло:

— Игренька-то все худеет... Отчего ему сыту быть? Сена и то в обрез.

Игренька — это была лошадь, которую Дороховы привели в колхоз.

— Ну а другие лошади что же, сытее его? — спрашивала Варвара.

— Другие! — недовольно повторял Андрей.— Какое мне дело до других? Мне бы моего коня спасти!

— Все теперь наши! — возражала ему сердито Варвара.

— Наши! — передразнивал он.— Ты привела в колхоз чужую телку! А ты наживи хозяйство, горбом его заработай, да и отдай задарма, а его погубят, тогда и говори — «наши»!

Глубоко уязвленная, Варвара долго молчала.

— Все-таки теперь и я хозяйка...— наконец произнесла она.

— Ну какая еще ты хозяйка! — снисходительно возразил Андрей.

— Не голодаю теперь...— упрямо твердила Варвара, скрывая горечь обиды.

Но что-то еще прибыло в жизни Варвары. Она никогда бы не могла сказать, что же для нее изменилось. Она только все с большей гордостью оглядывалась вокруг. Это стадо коров, пестрое и разноголосое, стало ее жизнью

— Вишь, вот мы коровушек-то выправили,— сказала она еще.

Андрей злобно засмеялся:

— Что же тебе-то?

Не в силах растолковать свои мысли, она скучно протянула, повторяя:

— И все-таки я теперь не голодаю... Вот даже собаку беляевскую во дворе держу.

Костя, приходя с ней на ферму, обязательно искал Андрея. Тот водил ребенка на конный двор, показывал лошадей и о чем-то без умолку говорил. Мальчик старался все понять. Его вопросы были неожиданны и тревожили Варвару.

Раз он спросил:

— Мама, дядя Андрей мне тятя?

Косте хотелось иметь отца. Видимо, Андрей сам сообщил ему их тайну, которую знают все взрослые. Варвара сопротивлялась: ребенок не должен был знать ничего. С другой стороны, ее мучило непонятное чувство долга перед сыном. Может быть, ей лучше быть

женой Андрея, чтобы мальчишка имел отца и не чувствовал себя сиротой?

Андрей, кажется, этого не понимал. Видя ее усталой, недовольно ворчал:

— И что ты все бегаешь? Вон у Петра Зинаида и чистая, и покойная, и всегда на улыбочке!

Варвара, как и всякая женщина, умела показать себя в выгодном свете. Она сказала, затаив про себя обиду:

— Ты бы в работе на нее посмотрел, на Зинаиду-то. Руки вянут!

Она не препятствовала Андрею приходить к ней в дом, помогать по хозяйству: выкинуть со двора снег, расколоть дрова.

Сама хлопотала около него. Даже Костя, закутанный в тряпье, крутился тут же, и это была картина полного семейного счастья.

Когда Зинаида Чувелева выходила во двор, Варвара, перегнувшись через забор, начинала болтать с ней о разных пустяках: пусть думают люди, что она счастлива!

Андрей часто уносил Костю к себе домой. Возвращаясь, тот в полном восторге сообщал:

— У меня, мама, еще бабушка есть. У нее музыка играет...

— А у нас с тобой Полкан есть...— мрачно напоминала мать, ревнуя сына и в то же время радуясь, что он познает семью.

Раз, придя домой с работы, она нашла в своей избушке Анисью. Костя был вымыт, рубашонки постираны. Не смущаясь прежней вражды, старуха заворчала:

— И что это ты, Варвара, оставляешь ребенка одного? Мало ли что может случиться? Спички схватит... или...

Теперь Костя жил у бабушки неделями. Варвара, привыкшая к его лепету, тосковала по вечерам, но ребенка не возвращала.

Свадьбу они решили отпраздновать со сватовством, с песнями и с вином. Это была прихоть Варвары: пусть знают, что и она не хуже других.

— Сватает меня Андрей-то...— навестив Лизавету, сообщила она между прочим.

В колхозе ждали эту свадьбу и часто спрашивали Варвару:

— Пировать-то позовешь?

— Только вот лысеть он начал, Андрей-то...— шутя горевал Семен Пикулов.— Полюбила — кудреватый был, а как замуж выходить — лысый стал. Как-то от слова отказываться нехорошо, ну и идет Варвара за лысого.

Варвара горделиво посматривала вокруг: да, все-таки Андрей до сих пор не женился ни на ком, ждал ее... Значит, любил всю жизнь, значит, не просто увлек ее и бросил.

Варвара поджидала свах. Она хорошо продумала, как принять дорогих гостей: чинно усадит их на скамью и долго не будет понимать мудреные присказки сватовства. За нее некому отвечать такими же путаными и необходимыми словами, поэтому она сама скажет наконец, что согласна войти хозяйкой в дом Андрея Дорохова.

Ей хотелось, чтобы изба казалась нарядной и богатой. Но единственным украшением здесь были бледные и тонкие цветы. Они росли в ржавых железных банках. Еще осенью развела их Варвара. И сейчас, сдувая с них пыль и обирая пожелтевшие листья, думала, благодарная и умиленная: «А и взять-то вас на новое житье, наверное, не придется».

Ей вдруг стало жаль оставлять избу. Сметая пыль с подоконников, она думала, что, может быть, в последний раз делает это. Тут же представила себе просторную и высокую избу Дороховых: «Костя мой хоть побегает там...»

На полку с кринками она постлала вырезанные из газеты узоры, сняла из-за печки золотистую связку лука и привесила ее к матице. И ей казалось, что узоры на полке и желтая гирлянда лука украсила избу.

У Кости была своя радость. Он восхищенно рассматривал новую синюю рубаху, не давая заправить ее в штаны, и допытывался, картавя:

— А сегодня праздник, мама?

Свахи не приходили.

На улице мягкими хлопьями падал снег, залепляя стекла окон. Поскрипывали ставни. В окна проникало солнце и мягким светлым пятном ложилось на середину пола. Время шло. Солнце поднималось, и пятно на полу уползало к стене.

— Дойдет солнышко до конца, больше и ждать не буду...

И вот простенок с вылезшей в пазах паклей посветлел, обновился от залившего его яркого света.

— Где уж придут! Не ко двору мы им с Костей! — горько прошептала Варвара и вдруг вскочила. Губы ее расползлись в растерянную, виноватую улыбку.

Свахи крестились и кланялись от порога чинно, торжественно. Они были одеты в праздничные сбористые шубы. С головы Анисьи спускался цветной, с длинными яркими кистями платок. На старухе Чувелевой была серая шаль, заправленная под шубу, а вокруг шеи лежал пышный воротник с острыми длинными концами.

Анисья, крестясь, поднимала дряблое лицо. Выпуклые глаза напряженно смотрели на иконы.

— Здравствуйте-ка!

Алексеевна ласково подхватила:

— Меси погуще, принимай получше!

Варвара засуетилась, подтолкнула им табуретки:

— Садитеся...— И застыла, подперев рукой подбородок.

Алексеевна торжественно уселась и чинно завела:

— Пришли мы к тебе, Варвара Николаевна, ты знаешь, от Андрея Иваныча... Потому как ты живешь не девка, не баба, а с малым дитем...

Она остановилась, подбирая слова.

Анисья же, строго оглядев Варвару, вступила сама:

— Будет собирать-то, и без этого пойдет. Рада, с лапочками! — И обратилась к Варваре: — Моли бога, что нам грех твой прикрыть охота... свадьбу сыграем тихую, чтобы люди не хохотали.

Лицо Варвары пожелтело и вытянулось. Ей необходимо было что-то ответить: не может же она стоять и молчать перед свахами без конца.

— Не знаю... Подумаю,— прошептала она сквозь зубы.

— Да что там думать! — удивилась Анисья.— Жить тебе с ребенком все равно тяжело. Да и молода еще, свихнешься на той дорожке-то. А у меня под началом поживешь — поумнеешь.

Брови Варвары гневно вздрогнули:

— Нет уж! Не пойду я под начало-то... годика бы два назад так присватались, я бы вприпрыжку к вам побежала. А теперь и одна проживу — на своих ногах.

Анисья, пораженная, всплеснула руками: эта побирушка отказывается войти к ней в дом!

— Да я тебе честь делаю! В люди вывожу!

Огромное тело старухи трепетало от ярости. Она громко сопела и плевалась.

— «Подумаю»! Пока думаешь, так я раз десять Андрея женю!

Задрожав, Варвара наступала на свах грудью.

— Уходите-ка, пока я вам бока не наломала.

Она выскочила за ними во двор, простоволосая, в одном платье. С бешеным озорством хлопнула себя по коленке и крикнула:

— Полкан!

Свахи были уже у ворот. Варвара показывала на них, торопливо кричала собаке:

— Возьми их, возьми! Усь...

Полкан нерешительно заворчал, вопросительно посмотрел на хозяйку и, когда та снова приказала: «Усь! Усь, Полкан!» — бросился за свахами с диким оглушительным лаем. Женщины выскочили с ругательствами за ворота.

Варвара села на обледенелое крыльцо. Слишком ярко она представляла себе новую жизнь, верила в нее; теперь нелегко было привыкнуть к мысли, что все это рассеялось как дым.

Падал снег. Яркие блестящие снежинки запутались и медленно таяли в волосах женщины.

Она с тоской оглядывала двор. Крыша навеса сквозила, даже снег не закрыл проломов. Варвара нашла широкую доску, воткнула в сугроб на крыше, загородив дыру.

Работа не успокоила. В безнадежном отчаянии бродила женщина по избе, придумывая, как бы обновить хозяйство и упрочить его, подсчитывая нацарапанные на известке печи палочки, каждая из которых обозначала трудодень. После нескольких ошибок в счете Варвара поняла, что у нее за колхозом немало. Воодушевленная надеждой и уверенностью, она сказала:

— Скоро я трудодни получу... Что тогда тебе купить, Костя?

— Купи мне, мама, тогда братика...

Вечером к Варваре забежала Зинаида, хитро избегая встретиться взглядом, справилась:

— Анисья-то говорит, просила тебя к Андрею не привязываться?..

Варвара развела руками:

— Уж и тут передернула, ну и человек! Сватать меня Анисья приходила. Ну а я чего ради пойду, сама посуди!

— Ясное дело...— насмешливо протянула Зинаида. Но ей было жаль эту непутевую бабу. Шепотом, придвинувшись к Варваре вплотную, она учила: — Ты Андрея потряси хорошенько... все равно срам-то терпеть. Что ты даром его принимаешь? Пользуется — так пусть оплачивает! — Отпрянув от Варвары, громко, с восторженной уверенностью добавила: — Я вот умею себя уважать! Попробуй-ка Петя мой против меня заговорить! — Побледнев от возбуждения, Зинаида подняла слегка юбку и сделала странный и грубый жест: — Я знаю теперь, чем его в руках держать!

Варвара покраснела и отвернулась. Хорошо знала она, что, если бы жила так, как советует Зинаида, ее облили бы несмываемой грязью и позором. И первая это сделала бы Зинаида.

Поощренная молчанием, Зинаида кричала в припадке доброты:

— И тебя научу, только слушайся! — И долго с наслаждением хвасталась своим опытом и знанием жизни.— Замуж идти не надо, этак-то свободнее. Научу! И подарочки, и все, что надо... Мой вон Петя — все, что я захочу... В колхоз вон без моего слова ушел, так и тут я пользу нашла... Теперь мне и медку, и мучки белой, и денег — все достанет... Елизавета Федоровна, наверное, уж не поднимется... Сколь времени Петя ее заменяет! Да и что за председатель — баба? А мой Петя... К тому вон воскресенью шаль пуховую принес — оренбургскую... Баба все вымогчи может, если умеючи... И ты так же делай...

— То-то твой Петя нам за год и не заплатил: ты много требуешь...— холодно усмехнулась Варвара, чтобы прекратить ливень грязных пустых советов.

Зинаида замолчала, поняв, что наболтала лишнее. Оправдываясь, заговорила быстро, запальчиво.

— Ну, у хлеба — не без хлеба! Мы ведь не дураки! Но мой Петя все по-чистому делает — не привяжешься...

IV

Варваре стыдно было признаться, что больше всех коров она любит свою Зорьку.

Перед отелом, дежуря на скотном дворе в ночь, несколько раз Варвара выходила из сторожки, подкрадывалась к стойлу, прислушиваясь к каждому движению коровы. Мяла в руках ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью.

Теперь корова мычала коротко, ласково, шлепала губами.

Приоткрыв дверь, Варвара проскользнула в стойло. Там висел плотный запах теплой сырости и навоза. Привыкнув к полумраку, Варвара различила около коровы темного теленка с белым пятном на лбу. Корова лизала его. Он шатался на тонких ногах от каждого прикосновения матери. От него шел чуть заметный парок.

— Зоренька, на-ка... на!

Та, беспокойно мотая головой, повернулась, загородила собою теленка.

— Да на, дурочка! Не трону я его, не бойся...— Варвара пыталась всунуть в рот корове кусок хлеба.

Прибежав домой и присев на корточки около сына, спящего на полу, она приговаривала:

— Коська, Зорька наша маленького теленочка принесла.

Мальчик быстро поднялся:

— Где теленочек?

— На скотном, в стойле... Маленький. Костя...

Тут же Варвара подумала, что говорить об этом нельзя, пока теленок не выйдет на улицу, но отмахнулась от старой приметы и выбежала со двора, чтобы рассказать о радости артельщикам.

В правлении она еще с порога увидела сидящую на подоконнике Лизавету и крикнула:

— Слышь, Зорька-то у нас отелилась ведь!

Лизавета сердито замахала рукой:

— Замолчи! Тише!

В комнате на скамьях и на окнах сидели колхозники, сосредоточенно слушали. Часть людей столпилась у стола, навалившись на который, Зоя Пикулова быстро, звонко читала газету.

Тесно приткнувшись к девушке, Чувелев торжест-

венно обводил глазами собравшихся, точно все, что читала девушка и что так волновало колхозников, понимал только он.

Варвара прокралась к окну и зашептала Лизавете:

— Зорька отелилась...

Лизавета, кивнув, сказала:

— Слушай...

— А это что?

Лизавета наклонилась над ухом Варвары и шепотом, прерываясь, чтобы не пропустить ни одного слова из прочитанного, сообщила:

— А это... Сталин... речь колхозникам... на съезде. Слушай, про жизнь нашу.

Варвара примолкла. Но слушать не могла. Было досадно, что к событию отнеслись так равнодушно. Радость снова и снова захватывала ее; она хотела было убежать на ферму, но Зоя вдруг перестала читать и, улыбаясь, взглянула на Варвару.

Семен Пикулов, сидя на корточках у стены, красный, с выступившим на лбу потом, вдруг заглушенно, недоверчиво крякнул:

— Н-да-а... Это, брат, того...

— Значит, поторопились мы... Куриц и то всех в одно место собрали...

— Батраков, — тихо, не веря, протянул кто-то, — зажиточными сделать?!

Зоя вновь подняла газету и медленно, звонко перечитала:

— «Да, товарищи, зажиточными!»

Теперь Варвара уже не могла уйти. Прислонясь к стене, слушала, не пропуская ничего. Слова о перегибах на местах прошли мимо ее сознания, она ждала обещаний лучшей доли, и, когда Зоя бойко произнесла: «Мы должны теперь добиться того, чтобы сделать еще один шаг вперед и помочь всем колхозникам — и бывшим беднякам, и бывшим середнякам — подняться до уровня зажиточных»,— задышала шумно и радостно и не отрываясь смотрела в лицо Зое, шевелила губами:

— Наконец-то и нам облегченье выйдет...— Мысли ее терялись; слушая, но не слыша, она начинала думать о себе, о своем счастье.

«Крышу покрою... Овечек заведу, а может быть, и дом новый, хоть маленький, построю. Ой, да что это

я»,— отмахнулась она от дерзких желаний и посмотрела на Зою. Девушка, раскрасневшаяся, подхватывала гребенкой падавшие на лоб светлые волосы и читала:

— «...по корове на двор. Пройдет еще год-два — и вы не найдете ни одного колхозника, у которого не было бы своей коровы. Уж мы, большевики, постараемся, чтобы все колхозники имели у нас по корове».

— Правда, все правда...— шептала про себя Варвара.

Она не могла понять, почему все посмотрели на нее. Прислонив к косяку голову, обвязанную серой суконной шалью, тихо спросила:

— Может, это только в газетке?

Кто-то из сидящих на полу протянул:

— Ну не-ет... Сталин зря говорить не будет.

— А мы даже и человека своего не могли послать на съезд,— вздохнула Лизавета.

— А разве мы могли? — неожиданно громко спросила Варвара, отпрянув от косяка и подаваясь вперед.

— Конечно, могли и мы послать туда своих людей...— произнес Пикулов и растерянно улыбнулся, чтобы скрыть от всех, что взволнован. После каждого слова останавливался, долго искал другое.— Конечно, и мы могли!.. Но туда ехали лучшие люди лучших колхозов, а у нас что? У нас дела наши — плюнуть не на что! А все почему? Потому, что два председателя заправляют! Как мы весну эту встречаем? — Вскочив с места и широко расставив ноги, Пикулов оглядел всех, ожидая ответа.

Варвара тихо прокралась к столу. Она никогда не говорила серьезно с Зоей и вообще не обращала на нее внимания, но сегодня эта светловолосая, со вздернутым веснушчатым носом, маленькая и тонкая девчонка показалась Варваре знающей что-то значительное.

— Зоя, это все здесь пропечатано? — спросила она и погладила уголок зачитанной газеты.

— Здесь...

— Вот тут так и написано? И про женщину, и про жизнь?

— Тут...— В зеленоватых глазах Зои прятался смех.

Варвара жалостливо покачала головой:

— До чего же ты истрепала газетку-то!

Девушка громко рассмеялась. На нее сердито зашипели:

— Тише... собрание же идет...

Зоя не могла удержать смеха:

— Не я ее так... по рукам ходила.

Варвара, склонившись, шепотом попросила:

— Отдай ее мне, Зоя, газетку-то!

— Да ведь ты неграмотная! — Девушка посмотрела в серые немигающие глаза Варвары.— Возьми... потребуется, с тебя спрошу...

Варвара спрятала газету под полушубок. Взгляд ее при этом был прислушивающийся, ушедший в себя.

— Сберегу... Такая ты молоденькая, а уж грамотная...— Помолчав, она прошептала: — А могу я, к примеру, буквам научиться? Вот это что за значок? — Взяв карандаш и сморщив лоб, Варвара тщательно вывела на столе букву. Зоя всплеснула руками.

— Да ведь это — пы... буква такая — пы...

Варвара с нарочитым равнодушием протянула:

— А-а! Это — пы? Я так и знала, что это — пы!

Она вновь достала газету. Осторожно разглаживая ладонями уголки, развернула ее перед Зоей, несколько раз провела пальцем по бумаге и прошептала:

— П-р-а-в-д-а...

— Так ты читаешь, тетенька Варя!

— Вот только это я и умею... Я ведь знаю, что это «Правда».

— Ну, какая вот это буква? — Зоя остановила свой палец на одной из букв в слове и вопросительно смотрела на Варвару. Та напряженно терла рукой лоб и шевелила губами. Наконец вздохнула:

— Не знаю...

В семнадцать лет тяжело сдерживать смех. Он поминутно округлял розовые щеки Зои. Но сейчас, сделав серьезное лицо, девушка важно кивнула:

— Хочешь, я тебя читать научу?

— Нет, зачем! Я сама помаленьку доберусь.

Семен Пикулов неожиданно громко крикнул:

— Эх, пораньше бы это все до нас дошло... Чего по колхозам настряпали! Хозяйство зорили... Пораньше бы!

Выпрыгнула откуда-то побледневшая Лукерья.

— И что ты мелешь! Не слушайте его, люди добрые, сам не знает, что городит! — Подбежав к мужу, потянула его за рукав к выходу.

— А что я сказал особенного? — бормотал он.

Казалось, даже клочья его бороды ощетинились,

зашевелились. Лукерья повела его из правления. Сзади затылок Пикулова был изрезан морщинками, и от этого Варваре почему-то стало особенно жаль его.

Дренов крикнул:

— Вот она, сознательность-то у человека: на нашу Советскую власть замахнулся, на партию!

Зоя, ошеломленная, оглядывала всех и медленно бледнела.

Приходя теперь на работу, девушка каждый раз приносила свежую газету и подолгу сидела с Варварой, разбирая буквы, складывая слова.

К ним подсаживался Федя Лузин, не отрывая глаз, следил за девушкой, слабо улыбался, когда Зоя разражалась смехом, и молчал. Он заметно вытянулся за последнее время. Черный пушок над губой делал его совсем взрослым парнем. Но Зоя, казалось, не замечала его.

— Как морковки из гряды, я буквы-то вытягиваю...— шептала Варвара. И просила: — А вы, ребята, никому не говорите, что я читать учусь... И так насмешками-то, как снежками, все сердце мне облепили...

Она не могла поверить, что есть колхозы, в которых люди подводами получают хлеб. Снимки лиц на газетных листах были тусклы, сливались, но радость колхозников чувствовалась в улыбках и в жестах, вызывала зависть.

Мечта о счастье не давала Варваре забыться. После таких читок она становилась все беспокойнее. Часто просила девушку:

— Поищи мне в газетке, как за коровами ухаживать, удой прибавить. Наверное, и об этом пропечатывают... Федя мне как-то читал...

Взволнованная всем новым, что открывалось, она требовала, чтобы ребята читали газету от слова до слова.

Раз Зоя прочитала о работе колхоза «Авангард» в Западносибирском крае, где артельщики построили клуб, завели несколько грузовиков, трактор, у них уже была большая молочнотоварная ферма, колхозники имели в домах швейные машины...

— Как же они смогли? — допытывалась Варвара.— Узнать бы...

Слыша о том, как вырастают новые города, заводы, как строится в Москве метро, как горячо соревнуются магнитогорские рабочие и вся страна следит за каждым их днем, Варвара восторженно шептала:

— До чего только люди не дойдут! Люди-то какие пошли!

Узнав о том, что существует машина-комбайн, которая сразу жнет и молотит, расспрашивала про ее устройство и горячо твердила:

— Подождите, будет у нас и трактор, и комбайн! — точно с ней спорили, не верили ей.

Зоя не спорила. Заражаясь восторгом и верой Варвары, мечтала о своем:

— А я... Я на комбайнера выучусь... Яша Никулин трактористом будет, я — комбайнером... Ух, дела какие завернем!

— Яше твоему вначале в колхоз вступить надо...— хмуро возражал Федя. Помолчав, он неизменно уходил из избы, скрывался на скотном.

— Отец у него против, у Яши...— сообщила раз Зоя и покраснела.— А он все равно в колхоз вступит, вот увидишь, вступит!

Варвара любила смотреть в глаза девушки. Всегда живые и блестящие, они вспыхивали еще ярче, как только возникал разговор о Яше Никулине.

Снова колхозники требовали в правлении заработанные трудодни. Снова Чувелев растерялся: выплачивал одним, обещал другим, распоряжался выдавать по фунтику муки. Люди ходили хмурые, раздраженные, недоверчивые.

У Лизаветы, которая снова слегла, часто бывали колхозницы, жаловались на жизнь.

Варвара тоже направилась к Чувелеву просить о выплате.

— Устыдится же он когда-нибудь...

Увидя ее в правлении, Петр поднялся из-за стола, шагнул навстречу. Варвара оглянулась. Может, за ней еще вошел кто-нибудь: не ее же появлению так обрадовался председатель. В дверях никого не было.

— Ну, соседка, работенку я тебе нашел...— торжественно объявил он.— В ревизию выдвинул... надо, думаю, и бедняков подтягивать, не вечно им в дураках ходить...— И даже указал на стул, впервые в жизни приглашая Варвару сесть.

Она села, с возрастающей враждебностью следя за ним.

— Даже Лизавета и та против была. Бегал я к ней, советовался... Где, говорит, ей справиться! — Петр надулся, склонил вбок голову и важно развел руками.— А я говорю: эка важность, пусть не справится! Пусть учится! Дренова я же выдвинул. И против него они говорили... А сами Федьку Лузина тянут. Лучше-то не нашли! Грамотный, слышь, а что мальчишка понимать в хозяйстве может? Разве так наша партия говорит? — Петр значительно помолчал и, настойчиво глядя Варваре в глаза, ответил: — Наша партия учит выдвигать... чтобы с самого низу шло, а не так, что тяп да ляп...

Слова «партия», «правительство» он произносил шепотом. Но строго различал партию и тех членов партии, которых знал у себя в колхозе, негодовал на Лизавету и на Пикулова, которые, по его словам, все время подкапываются под него, бил себя в грудь, жалуясь на их несправедливость:

— Вот ревизия? К чему она нам?

Варвара, не выдержав, вскочила со стула и крикнула:

— Ты мне глаза не замазывай! Я плюю на твою ревизию. Ты мне деньги давай!

— А тебе сколько? Все или часть? — засуетился Петр.

Его покладистость показалась Варваре подозрительной.

— Спокойнее было бы все взять...— произнесла она.

С радостной поспешностью Петр выписал деньги и, прикрыв документ на столе ладонью, заискивающе осклабился:

— Расписочку бы ты состряпала, для ревизии надо...— И, заложив руки в карманы штанов, прищурив и без того узкие глаза, посмеивался ласково и снисходительно.

Варвару словно стукнула мысль, что сейчас она не должна получать этих денег.

— Всем теперь сможешь трудодни выдать или как?

— Зачем всем? Только тебе... по соседству...

Варвара повернулась к выходу.

— Подожду и я. Вместе со всеми получу...— Она постаралась сказать это как можно свободнее, как

будто не отказалась только что от нормальной жизни, а весело попрощалась с председателем до новой встречи.

Петр вышел с ней вместе, потянул за собой на конный двор смотреть лошадей.

— Ты — ревизия теперь, все, что мы нажили, знать должна.

Варвара покорно плелась за председателем, обошла все клети с лошадьми. Каждую лошадь Петр трепал и гладил. Лошади косили на него печальные глаза.

Варвара и не подозревала, как худы и вялы колхозные кони. Одна тощая серая кобыла, шатаясь и тяжело дыша, легла.

— Марька, ты что валишься? — кинулась к ней Варвара. Петр потянул ее за рукав.

— Пойдем, пусть отдохнет... я сбрую тебе покажу.

Дренов, вытянув шею, повел их в кладовую.

— Опять одной сбруи не стало, Петр Степанович. И что за народ такой, все тащат!

— Ну вот, как тут работать? — в отчаянии развел Петр руками и закричал на Дренова: — Хоть бы человеку досталось, а то черт знает кто тащит! Сколько добра у тебя пропадает!

В глазах Дренова пряталась хитрая и тонкая усмешка.

Лизавета, когда Варвара прибежала к ней, долго объясняла значение ревизионной работы, сказала, с чего начать. Поняв, что требуется от нее, Варвара испугалась:

— Обведут они меня, Лиза!

— Не одна будешь... Федя-то грамотный.

Лизавета была измучена болезнью и тревогой, ссохлась, все мяла руки нервно и быстро.

Поднявшись, Варвара пообещала:

— Справлюсь! И с этой работой справлюсь,— и, придя в правление, тотчас же попыталась договориться с Дреновым о дне ревизии. Тот смеялся:

— Думаешь, мы с тобой больше товарища Чувелева понимаем?

Варвара растерялась: как она сможет проверять работу правления, если понимает хозяйство меньше, чем Чувелев? Дождавшись заместителя председателя, она попросила, путаясь в словах:

— Ты хоть для начала-то, Петр Степанович, маленькую проверку мне дай, много сразу я, боюсь, не потяну...

Довольно усмехаясь, Петр дал ей какие-то бумажки и тут же попросил отнести в сельсовет ведомость. Так и пошло... Трудолюбивая и безропотная, она никому не могла бы сказать, что именно делает — так ничтожна была ее работа.

— Хорошо ты мне помогаешь! Ладно, что выдвинул я тебя,— поощрял ее Петр, по-мужски хлопая по плечу.

Его похвалы не облегчали Варвариной тревоги: она понимала, что делает не то, что должна была делать.

На ферме заболела недавно купленная корова. Варвара кинулась туда.

Корова лежала со вздутым животом. Вымя ее потемнело, соски торчали, как резиновые пальцы. Наконец она захрипела. Вместе с тяжелым дыханием красноватая пена выбивалась меж ее губ.

Петр не дал корове околеть, приказал прирезать, успокаивая доярок тем, что за мясо выручат настоящие деньги. Варвара и Лукерья плакали от злости на свою беспомощность.

— Это виновных надо во дворе же искать! — кричал из-за забора Дренов.

Петр отвез мясо в город и продал. Вернувшись, занес Варваре в дом полное ведро сала. Куски, связанные между собой тонкой прозрачной пленкой, спадали сверху ведра, так много его было.

— Вот, разговейся, осталось...

Варвара не сразу поняла, в чем дело.

— Сколько же за него?

— Хм, сколько! Бери знай. Сальце хорошее,— уверенно и громко говорил Чувелев.

Варвара, разглядывая гроздья сала, мучилась от стыда за Петра.

— Нет, я и без сальца проживу...

Петр побледнел и вышел, не в силах поверить, что Варвара Потехина, бесстыдная и жадная до чужого добра баба, добровольно отказалась от богатой даровщинки.

— Ломается... В добрые лезет...

Он ненавидел и боялся ее теперь. Чтобы задобрить, сунул ведро с салом в темный угол сеней.

Обнаружив подарок, Варвара принесла сало Чувелевым в дом, оставила в сенях и ушла настороживщаяся, решив твердо, что в работе Петра многое неблагополучно.

Вечером к ней в избу громко постучал Дренов.

— Варвара, спишь, ревизия! Поднимись-ка!

Женщина вскочила, вздула лампу, открыла дверь.

Дренов вошел, тяжело дыша, сел на лавку и устало проговорил:

— Пикулов погубил корову... Я видел... Вот и варежки его в конюшне нашел...— И протянул женщине огромные, обшитые холщовыми заплатами рукавицы Семена.

Варвара отпихнула их от себя и закричала:

— Не мели чего не надо! Не может того быть!

— Не может? А я говорю, он корову извел... недаром на собрании против Советской власти говорил... Ревизия! Спелась с ним? — Дренов тяжело поднялся, натянул на голову шапку и молча ушел, с силой захлопнув дверь.

V

Колхозники, сдавшие на скотный двор коров, разобрали их по домам. Увела свою Зорьку и Варвара, оставив в колхозе теленка.

Пикулов обещал привезти ей воз сена, но не успел. Однажды утром вся деревня была взбаламучена новостью, что Семен арестован.

Лукерья путано рассказывала, как пришли за ним какие-то два человека, показали бумаги и увели хозяина из дому.

— Шатал Семен, шатал старый мир да сам и сел,— хохотал Дренов.— Видно, не из того ружья в гражданскую войну по врагам палил...

Раз вечером к Варваре прибежала Зоя, бухнулась на скамью и вперила глаза под ноги. В оцепенелых чертах ее лица затаилось столько горя, что Варвара испугалась:

— Что ты? Что с тобой, Зоятка?

— Яша... пьяный... отказался от меня... говорит, что я вредителя дочь! — точно в забытьи, прошептала девушка и поникла. В углах свежего рта залегли глубокие, как у старухи, складки.

— Вишь ведь, пьян, а головой об угол не ударился! — зло бросила Варвара, не в силах понять, что делается на деревне, и который уже раз вспоминала Бурцева: «Пришел бы, растолковал мне... Теперь бы я боль-

ше у тебя усвоила...» Почему-то вспомнила она и свое былое недоверие к людям и почти закричала:

— Не верь, Зоя, не верь! Какой же Семен вредитель? Ну какой же! Всю жизнь в труде да в борьбе!

Зоя мертвенно побледнела. Сухо, почти враждебно произнесла:

— Я и не верю... откуда ты взяла? Я своего отца знаю! — Помолчав, присовокупила: — А от Яши я теперь сама отойду... отстану от него... слезы он моей не стоит! Женить его отец-то хочет... А он молчит...— Только сейчас Зоя истошно закричала, упав на скамью.

Варвара давно слышала, что в семье Никулиных ссоры: Яков хотел записаться в колхоз, отец сопротивлялся и грозил выгнать сына из дому.

— У всех в умах пошатнулось... все пошло вразброд,— сказала она, почему-то вспомнив об Андрее.

Оставшись одна, Варвара вырвала из тетради чистый листок и крупными печатными буквами нацарапала:

«Это я пишу... К тебе, Андрей, что же ты не идешь ко мне? Может, рассказал бы, что к чему на деревне делается. Но думаю, что нет у тебя полного понятия.., А я-то считала тебя выше, чем я. Одна дойду... Все я пойму, Андрей. Только вдвоем легче бы было...»

Ей казалось, что она написала очень важные слова. Стало легче. Все враз обрело значительность: и этот мерцающий в лампе огонь под закоптелым стеклом, и легкие снежинки, бьющиеся в окно, и это письмо, которое она никогда не отправит, с огромными хромыми буквами.

Прочитав его, Варвара громко рассмеялась: это она написала сама, она, Варвара Потехина... Радость распирала сердце. Казалось, ей сделали такой подарок, какой никто никогда не получал.

Пикуловы продолжали работать на ферме. Но это были совсем не те простые словоохотливые женщины, которых здесь знали раньше. Молчаливые, подозрительные, они разучились смеяться, даже глядеть в сторону людей. Справив работу, шептались и уходили. Но работали еще ревнивее, следя друг за другом.

— Зоя, прочеши-ка коров-то... А то придерутся к нам начальники-то...— шептала Лукерья.— Теперь нам, дочь, надо с тобой ни в чем не оступиться. Что другим простят, то с нас взыщут.

Раз Варвара застала Лукерью в правлении. Та просила денег.

От больших рыжих пимов ее с загнутыми носками отлипал снег. Маленькая, с просящим, жалобным лицом, она, тихо переминаясь, огрубелыми руками то и дело теребила черную пуговицу у полушубка, которая и без того держалась на одной нитке.

— Так как же, Петр Степанович? Хоть бы с полсотенки... Вместе с Зойкой мы весь год в колхозе скреблись...— И добавила очень тихо: — И Семену за его работу не заплачено...

Петр, развалясь на стуле, в удивлении уставился на нее. Лицо и уши его медленно багровели.

— Совсем совесть потеряла? — спросил он.— Поворачивается язык еще за Семена требовать заработок! О нем ты и думать забудь...

— У него дети остались... Мне их прокормить надо...— тихо напомнила Лукерья.— Нам-то с Зойкой хоть выдай чего-нибудь.

Петр сдвинул черную пушистую шапку на затылок и пожал плечами:

— Нету! Понимаешь, Лукерья, нету! Все в дело ушло. Не умрете...

— Как так нету? — стараясь не замечать насмешки, настаивала Пикулова. Она оторвала наконец пуговицу от полушубка, и та, упав, покатилась по полу.— Сегодня Андрею Дорохову дал, я знаю...

— То — Андрею, честному труженику, а то — тебе, жене вредителя.

— Тогда нам бесполезно и работать в колхозе? — не то спросила, не то отметила для себя Лукерья Пикулова.

— Попробуй не работать... Живо за Семеном угодишь!

— А ты не пугай! — крикнула, побледнев, Лукерья. Но слез не было, глаза ее сухо горели отчаянием.— Выписывай тогда меня из колхоза!

— Дорохову дал...— твердил Чувелев.— На двоих ему дал. На Варвару вот, она ведь теперь — ревизия, и на Андрея, ее хозяина...

Варвара тоже побледнела, долго смотрела на руки Петра, бесцельно перебиравшие бумаги, и на твердый низкий лоб под редкими короткими темными волосами. Она и не подозревала, что можно так ненавидеть, как

сейчас ненавидела его, заговорила отрывисто, зло, задыхаясь от гнева:

— Надо мною, Петр, только я хозяйка!

Придвинувшись ближе, закричала:

— Бахвал! Ты мне осенью что говорил? «Работай знай, Варвара! Я твою избушку хлебом завалю!» Выписывай и меня из колхоза! — И испугалась того, что сказала, но упрямо твердила: — Выписывай! Уж если тебе Пикуловы не работники, тогда поищи других. Зинаиду свою снова на ферму поставь. А нас с Лукерьей выписывай!

Она не ошиблась: Петр струсил, растерялся — при такой нужде в работниках страшно было потерять этих женщин.

— Хорошо, дам я Лукерье с Зойкой по двадцать пять рублей...— смирился он.

Женщины вышли из правления вместе. В сенях Лукерья припала к плечу Варвары и молча заплакала.

— Ничего, Луша, ничего... потерпи... А на Петра вниманья не обращай. Он не по злобе... а по глупости. Все прояснится...

VI

Анисья Дорохова за отказ от сватов отомстила Варваре по-своему.

Как-то Костя, ласкаясь, спросил:

— Мама, я — незаконный?

— Что ты болтаешь? Кто тебе это сказал?

— Бабушка... А что такое — незаконный?

Лицо его было чистое, взгляд доверчивый. Он не понимал того, что говорил.

Но Варвара понимала, что пройдет немного времени — и Костя будет расти в ненависти к ней. Понимала и ужасалась.

Андрей не приходил. Она не закрывала на запор избу, мучительно вслушиваясь в каждый шорох за стеной, вспоминая, как еще недавно он входил, молча раздевался у порога, лукаво кося на нее глаза. Разжигая себя воспоминаниями, плакала по ночам и озлобленно мяла подушку.

— Ну и не надо! Не приходи!... За самого последнего мужичонка выйду... тогда попрыгаешь!

Она наслаждалась будущей местью и сжималась в комок при мысли о возможной близости с чужим человеком. Горделиво улыбалась: Андрей был лучше всех. Он был свой. Кроме того, он, а не кто другой, был отцом ее Кости, и за это она готова была любить его, звать его в ночной темноте.

— Андрюша... проклятый... ну что же ты?

И он пришел. Стоял у порога, тихо, жалостно вздыхал.

Варвара задрожала при мысли о том, что должно произойти, и молчала. Андрей разделся, осторожно ступая босыми ногами, подошел к кровати и склонился...

Женщина преобразилась. Никогда раньше не думала она, что в окна может вливаться такая мягкая ночь. Теперь и солнце, и луна, и звезды не прячутся за глухой стеной, а шарят по избе с любопытством, подкарауливая минуты Варвариного счастья.

Утром, как только проснулся Костя, Андрей ушел к нему, на раскинутую по полу постель. Это было так мирно, что у Варвары сладко ныло сердце. Легко носилась она мимо, управляясь по хозяйству, прислушиваясь к лепету ребенка и к тихим словам Андрея.

— Ты зови мать-то к нам переехать, Костя.

— Нет, теперь уж мы не поедем,— важно заявил мальчик.— Вот разбогатеем, тогда поедем...

— А-а! Вот что!

Их короткий мир грубо оборвала Анисья, влетевшая в избу.

Увидев ее в дверях, Варвара скрылась за печь.

— Так я и знала! Путных-то баб не стало тебе! Привязался к грязному-то подолу!

Такой злобно-торжествующей Андрей не знал еще мать.

— Люди-то все видят! — кричала Анисья.— Бурцева убили, она стыд потеряла... ревела о нем.

Анисья задохнулась, тяжело шагнула к печи:

— Спряталась? Стыдно харе-то!

Варвара не пряталась, смотрела через замерзшее окно вдаль. Крепко сжатые губы посинели. В лице было столько озлобления и решимости, что Андрей поспешно вскочил с пола и, подойдя к матери, начал подталкивать ее к выходу, умоляя:

— Иди, мама, иди!

Анисья вышла, пятясь от сына. Опомнившись во дво-

ре, снова закричала. Полкан отвечал на ее крик громким, злым лаем.

Варвара все стояла, заложив руки за спину и тесно прижавшись к печи.

Андрей опасливо поглядел на нее и только тут понял, что кричала мать, и тихо спросил:

— А ты почему в самом деле о Бурцеве так убивалась?

Глубоко вздохнув, Варвара широко открыла глаза, будто борясь с дремотой, и горько рассмеялась:

— Недалеко же ты от матери ушел...

Андрей не понял ее.

— Ты только скажи своей матушке, что ей до меня дела нет. Понимаешь? Я сама по себе... И у меня своя жизнь...

— А как же я? — беспомощно спросил Андрей.

Он уже не мог обходиться без нее. И Варвара, сознавая свою силу, гордая этой силой, ответила:

— А ты живи, как умеешь!

Рассмеявшись в ответ на его умоляющий взгляд, добавила:

— Уходи от матери... иди ко мне.

Она могла обижать Анисью, могла покушаться на его свободу, но задевать его отношение к дому, к собственности — это смешно! Андрей был уверен, что Варвара шутит: нельзя же говорить серьезно такую чепуху.

— Ты одурела? Да у меня баня в два раза твоей избы больше!

Он и не подозревал, как больно били Варвару его слова.

VII

Весна всегда была связана для Варвары с треском веялок, с гулкими ударами молота в кузнице на краю деревни, с прелым запахом просыпающейся земли. В этот год весна пришла сразу. В несколько дней обнажились пригорки, от проталин поднимался парок.

Колхоз жил настороженно. Говорили о пахоте, о семенах, о машинах, о лошадях. Каждое утро к бывшему дому Захара Беляева тянулись подводы. На телегах лежали бороны и плуги.

Весной прибавилось работы.

Однажды утром к Варваре снова пришел Андрей, не раздеваясь и не разговаривая, начал собирать вещи в узлы. Женщина стояла у окна, прижав руки к груди, и следила, как он сбрасывал в кучу юбки, постель, скатерть, одежду Кости.

— Ты что, Андрей?

Тот коротко и сердито приказал:

— Собирайся...— Одел как мог Костю, вытащил его и узлы на улицу.

В избе стало холодно и неуютно, как после покойника. С улицы Андрей заколотил окна. Свет проникал в избу только в узкие щели меж ставней и тонкими полосками падал на серый пол.

Варвара обошла пустую избу, водя рукой по стенам, сама не зная, зачем делает это. С порога оглядела мрачную темноту и торопливо выбежала. На улице стояла подвода с вещами. Костя сидел на возу, важно поддерживая вожжи. Привязанная к подводе корова бодала воздух, стараясь освободиться. Андрей заколачивал покосившиеся ворота.

Варвара пыталась шутить:

— Ну что же... с грехом ссорься, а с грешником мирись... Бери меня и вновь испытывай.

— Так с тобой вот и надо!

Белые тесины, прибитые накрест на окна, делали заметной покосившуюся, бессильно осевшую избушку и вызывали тоску. Чувствуя, как к горлу подступают рыдания, Варвара еще раз оглянулась на заколоченный дом и быстро догнала Андрея.

...Дренов тянул и тянул с началом ревизии.

— Как ненормальных вас назначили, а вы и думаете, что по правде,— говорил он Варваре и Феде, когда те пришли в правление.

Петр, издеваясь, угодливо развернул перед ними толстую папку каких-то бумаг:

— На-ка, Варвара, прочитай...

Федя спокойно и легко начал:

— «Ведомость...»

А Варвара, заглянув в бумаги через плечо парня, продолжила:

—«распределения доходов, ноябрь месяц...»

Петр вскинул на нее глаза, вспыхнул, быстро захлопнул папку и засунул в стол: он не ожидал, что Варвара грамотна.

— Некогда мне с вами рассусоливать... знаете, что весна! Выдумали: Варвару Потехину да Дуни Рачихи сына учить меня поставили,— лучше-то не нашли!

— А что-то помнится, ты и выдвинул меня,— засмеялась женщина,— или думал тогда, что в ревизии только безграмотным и место?..

— Ты нам бумаги дай, — мягко просил Петра Федя,— мы и одни разберемся.

— А ну! Уж с тобой-то я разговаривать не буду!

Федя покраснел и возмущенно вскочил с места:

— Не кричи... я не из трусливых!

Петр несколько дней не приходил в контору. Чаще всего находился на складе у Дренова.

Дуня Рак, выйдя замуж за Дренова, каждый день стояла у забора и ждала, когда на ферме появится Федя, и, как только тот показывался, начинала плакать.

— Сынок... ну как ты без нас... один-одинешенек... Иди к нам... Никита и то мне говорит, чтобы я тебя подобрала.

— Ну а ты-то как живешь? — спрашивал ее сын.

На этот вопрос Дуня ни разу не ответила.

Как только во двор кто-то входил, она убегала в избу. Но пьяной больше ее не видели.

Андрей жаловался Варваре на Дренова.

— Во все вмешивается кладовщик поганый. Овса выдаст коням, так бегает по стайкам проверяет, сколько насыплю. Шишка на ровном месте. А лошади все не поправляются, ветром шатает...

Варвара готова была всех подозревать в нечистых делах: не было бы иначе необходимости выбирать ревизионную комиссию.

— Может, овес-то лошадям и не попадает... может, его мыши поедают. Мыши на двух ногах...

...Ревизия мало дала результатов, и Варвара не верила своим выводам. Они искали погрешности в каждой бумажке, подозрительно вглядываясь в цифры расходов. Делая ошибки в счете, несколько раз пересчитывали один и тот же итог.

Чувелев наконец сдался, не покидая их ни на минуту, казалось, сам искал и ждал незаконных перерасходов или растрат, время от времени напоминая:

— Я ведь только заместитель. Председатель-то Лизавета Федоровна... с нее спрашивать надо!

Услышав, что перерасходов не найдено, он не мог

скрыть радости. Измученный, постаревший, он теперь вздохнул свободно: над ним не висело больше страшное слово «ревизия».

— Времени-то сколько потеряли!

Варвару убивало не это. Было стыдно: она была уверена, что если назначают ревизию хозяйства, так обязательно имеется в виду преступление.

Составляя акт проверки, она спросила Федю:

— О чем и писать?

— А так и напишем, что денег в наличности имеется тридцать рублей. Дела идут правильно, только колхозникам не выплачено.

Да. Дела идут правильно. А в какой акт вписать о грубостях заместителя председателя, о равнодушии к жизни колхозников, о том, что на положенные работникам трудодни Петр накупил пятнадцать коров, тощих и заморенных, половина которых погибла?

Варвара злобно повеселела, так ей стало вдруг ясно, что ревизионная комиссия должна проверять не только денежные и хлебные расходы и выплаты. Нет, она должна проверить всю жизнь людей.

— Пиши, Федя: за прошлый год расчет с колхозниками в зерне проведен в целости. А вот деньгами товарищ Чувелев совсем не расплатился. Выпиши мне числа, Федя... сколько надо было уплатить-то? Четырнадцать тысяч! Будь он проклят, хозяин! Уплатил только шесть. — Варвару этот долг колхоза не переставал изумлять. Она возмущенно трясла руками: — Только шесть уплатил! А люди голодали! Напиши и то, Федя, как он своим дружкам да приятелям вперед денег давал... Дорохову Андрею... Пиши, пиши, не гляди на меня... Дорохову Андрею — сто четыре рубля вперед выплатил... Не гляди на меня, говорю, пиши...

— Андрей-то муж теперь вам,— напомнил Федя.

— Вот и пиши... Васильев Алексей тоже получил да и ушел из колхоза и долг не заплатил... Дренов Никита — кладовщик... пятьсот рублей вперед забрал. И много еще людей взяли деньги вперед. Все ты и напиши, Федя, и всех мы выявили и можем сказать, кто и сколько колхозу должен... семь тысяч, говоришь? Так и пиши... А Пикуловым — Лукерье и Зое — всего по двадцать пять рублей выплачено. Как их ноги носят, трудно сказать... Все ему охота колхоз на первое место вывести, застраивается, не жалея никаких денег, непо-

сметно ухнул денег на скотный двор. Коров пригнал издалека, а у местных хозяев коровы дешевле продавались. От бумажек, которые он в районный исполком шлет о нашем хозяйстве, мы копии читали. Везде написано, что колхоз поднимается, что лошадей у нас тридцать шесть голов, а того не написано, что лошадушки от болезни шатаются. Что урожай убран полностью, написано, только мало хлеба родилось... а того, что хлебушко в суслонах до снега простоял да осыпался,— об том не написано...

Вспотевшая от напряжения, Варвара кончила говорить, увяла и побледнела.

— Тетя Варя... Неужели Пикуловым-то не заплатят? Они ведь работали. Зоя-то... сил не жалела. Придумали: вредителя дочь...— прерывисто произнес Федя.

— Заплатить заставим... работали они хорошо.— Внимательно посмотрев на притихшего парня, Варвара затаенно улыбнулась. Она лучше, чем он сам, понимала, что с ним происходит.

Собрание, на котором Варвара должна была рассказать колхозникам о ревизии, назначалось на раннее утро. Она успела еще сходить к пруду за водой, шла медленно, бороздя башмаками тяжелую, отсыревшую пыль на дороге.

«Полоть бы хорошо сейчас»,— думала Варвара.

Пруд был тихий и гладкий. Ленивое солнце медленно поднималось ввысь, холодно отражаясь в воде. Женщина встала на плоту. К берегу поплыло ее отражение, слегка вздрагивая и колыхаясь. Она поправила, перевязала платок на голове и вдруг вновь подумала о том, что сейчас должна будет идти на собрание и там впервые в жизни говорить перед всеми.

Варвара с силой ударила ведром, ломая и волнуя покойную воду, зачерпнула ведро и, выпрямившись, увидела, что по каменистому обсохшему берегу идет Иван Никулин, ведя в поводу лошадь. У воды лошадь встала. Никулин подтянул повод и, зайдя сзади, стал погонять лошадь, свистя, размахивая веревкой. Лошадь боялась воды, шагнула вперед, теперь вода достигла колен, но хозяин старался загнать ее глубже. Заметив на плоту Варвару, крикнул:

— Говорят, вы заместителю председателя сегодня по шеям дадите? Насиделся?

— А ты рад? — ворчливо спросила Варвара. Ей при-

ятно было, что с ней так говорят, приятно сознавать, что и она вместе со всеми колхозниками может снять или помиловать провинившегося заместителя председателя. В то же время женщина почувствовала какую-то смутную тревогу.

Лошадь упрямо стояла на месте. Никулин размахнулся поводом. Лошадь вздрогнула, подняла уши, стрельнула в сторону, но хозяин пнул ее сбоку и еще раз сильно ударил. Кожа лошади мелко дрожала. Несчастная мотала головой и печально косила на хозяина глаза.

— Ох и зверь в тебе! Дай-ка! — Варвара скинула башмаки, подоткнула юбку, оголив твердые икры, взяла повод из рук Никулина, забрела подальше. Она гладила лошадь мокрой ладонью, ласково приговаривая:

— Постой... постой... Ох ты, моя матушка... постой...

Постепенно приучив лошадь к холодной воде, обливала ее из ведра.

Старик на берегу ухмылялся:

— Баб-то мой мерин больше любит! А ты вон какая твердая, от земли отскакиваешь!

Варвара вывела лошадь из воды, сунула повод в руки старику и рассмеялась:

— Туда же! Еще над колхозниками хохочет... караулит наши беды... А сам хуже бабы...— Она неожиданно успокоилась, поняв, в чем причина ее тревоги: «Единоличники только порадуются, что у нас так плохо... Но все равно молчать из-за них не будем».

Никулин, оскалив зубы и восторженно покрякивая, долго смотрел, как женщина проворно взбиралась с водой в гору.

— Э-э... ну и баба... Шутя живет!

Не раздумывая, Варвара вошла в большую, переполненную колхозниками комнату конторы.

Чувелев отчитывался в работе.

— Разрослись мы... два амбара я поставил, скотный двор на полтораста коров строится...— хвалился он.

Кто-то молодо рассмеялся и выкрикнул:

— Ты скажи, почему у тебя из колхоза люди побежали?

— Я да я! Будет величаться!

— С горчицей сойдет!

— Скотный двор поставил, а коров нет!

Петр беспомощно улыбался под резкими и недобро-

желательными выкриками, не зная, что говорить. Кто-то еще громко проговорил:

— Как это «коров нет»? Коровы есть, только от них ни приплода, ни молока. От быка и то пользы больше.

Собрание хохотало. Петр увидел смеющихся Лизавету и Варвару. И это больше всего потрясло его. Он крикнул через головы колхозников:

— Отогрела бока-то, Лизавета Федоровна, а работу критиковать пришла! Слышал я, совсем поднялась?

Поднявшийся гневный шум не остановил Чувелева. Он продолжал:

— А ты что зубы скалишь, Потехина? О себе не забывай!

Варвара сказала, побледнев:

— Дайте-ка и мне слово сказать! — и вышла вперед.— Я свою старую жизнь и помнить не желаю... Жизнь у меня была — плюнуть не на что! Воровала я? Верно, Петр Степаныч, воровала. Это я не забыла! У тебя дров беремя как-то прихватила, с сыном на печи замерзали. До сих пор бока зудятся, когда вспоминаю, как ты меня тогда обогрел. Не это ли напомнить ты хотел мне? Не трудись, этого я никогда не забуду... Спасибо колхозу, спас меня от позора да нищеты!

Люди сидели серьезные, внимательные.

— А у тебя, Петр Степанович, как так получилось, что вместо протравленной да проверенной сортовой пшеницы на поле, где твой дружок Никита Дренов сеял в прошлом году, один сорняк вырос? Поле Семена Пикулова рядом стояло, на нем — колос к колосу! Уж не потому ли так, что тебе с Дреновым пшеничных блинков захотелось, вместо сортовой простую с сорняком в землю разбросали?

— А ты можешь доказать? — крикнул Дренов.

— Так, Варвара!

— Правильно говорит баба! — кричали колхозники.

Анисья сзади слабо охнула:

— Ой, не надо бы ей вылезать с языком-то... Зажала бы рот ладошкой, как Лукерья Пикулова.

Оглядев собравшихся, Варвара неожиданно заробела и опустила голову. В зале кто-то подбадривающе крикнул:

— Тише, товарищи, дайте Потехиной говорить!

Это подхлестнуло женщину.

— Думаю я, что и лодырей кормить нам тоже не надо. Только людей портить,— продолжала она.

— Вишь ведь, слово-то как набатный колокол бахнула!

— Сальная ты свеча, Варвара,— один чад от тебя! — закричал Чувелев.

Варвара смолкла, снова обвела взглядом собрание, Андрей кивнул ей, и это вновь приободрило ее. Она едва успевала передохнуть, так быстро вскипали и приливали новые слова:

— Семена Пикулова, золотого работника, за что посадили? Кто его защитил? В районе не разобрались, старого партизана погубили...

В зале истошно взвыла Лукерья. Чей-то строгий голос произнес в трепетной тишине:

— Это к ревизии не относится!

— Относится! Вся наша жизнь к ревизии относится! Всю жизнь надо ревизовать да пересматривать, от плохого отходить, искать хорошее! — кричала Варвара.— А как мы работаем? Про другие колхозы книжки пишут, песни поют, а про нас сказать нечего. Одну песню девки сложили, да и ту не слушал бы! Как это:

Под окошечком сидела,
Похохатывала,
Каждый день — трудодень
Зарабатывала.

— Так вот, думаю я — хватит этого! Нахохотались! Пора начать работать,— говорила Варвара, казалось, спокойно, обращаясь то к одному, то к другому колхознику, пережидала шум, который то и дело волной прокатывался по залу, однако никто не видел, что ее била дрожь.— На работающих, таким образом, больше падет. А кто как работал — мы знаем. Я вот записывала немного, вот здесь у меня кое-что отмечено.— Варвара потрясла над головой красной истрепанной тетрадкой. Глаза ее щурились, точно перед прыжком в холодную воду. И всякий раз, когда кричали с места: «Правильно! Тише, товарищи!» — Варвара широко раскрывала глаза и оглядывалась. Развернув тетрадь, придав дрожащему голосу твердость, она читала:

— «Дренову, он хоть и член правления, платить было не за что половину тысячи вперед: на поле он три дня работал во время пахоты, а остальное время на пустом складе просидел».

— Выслуживайся! — громко крикнула Зинаида Чувелева.— Тебе три солнышка в окошко взойдет!

Дренов сидел, согнув плечи. Чувелев то и дело поводил руками, желая возразить, но его попытки смял поднявшийся шум: восторженно хлопали в ладоши, стучали ногами, кричали:

— Вот как Варвара души-то расчесывает!

— Помолчать бы ей! Что она знает? Что видит?

Варвара свела брови. Они стали острые, точно жалились. Место под ногами, казалось ей, накалилось.

— Знаю я мало, это верно! Кое-что вижу... больше, чем раньше видела... Раньше ведь я одними слезами смотрела!

— А старикам как колхоз помогает? — раздался женский голос.

— Скоро ли клуб построят?

— Да-а! Получило правление пять перстов да ладонь!

Шустрый мужик в облезлой шапке выскочил вперед и бойко начал:

— А за что Чувелев своей бабе трудодни выписывал? За какую работу?

Зинаида сидела рядом с Андреем, бледная и злая. Проходя к своему месту, Варвара увидела, что глаза ее вспухли и покраснели.

«Плакала»,— решила Варвара и хотела сказать что-нибудь успокаивающее, но та натянуто засмеялась и обратилась к Андрею:

— Твоя-то зазноба вылупилась опять с языком-то...— Вскочив, Зинаида выбежала из правления.

VIII

Варвару Потехину назначили бригадиром. Она согласилась: люди в бригаде были хорошо знакомы. Она только не знала, как будет ладить со свекровью.

Но Анисья пришла, добродушно посмеиваясь:

— Я хотела ее под начало взять, а сама вперед к ней под начало угодила. Кругом начальство. Я уж было и выходить на работу не хотела: сын да сноха прокормят, думаю, меня, старуху...

Незнакомое теплое чувство возникло у Варвары к свекрови.

В первый же день Варвара поняла, что работать бригадиром не так просто. Она не могла полностью собрать людей. Не вышла на работу Зинаида Чувелева. Встречаясь, не разговаривала, даже не глядела на нового бригадира, только отдувалась презрительно.

— Что же ты никуда не показываешься? — спросила раз Варвара.

— А куда мне показываться? Ты нам все дорожки загородила,— ответила та.— Тебе в правление пройти хотелось вместо Пети... Люди-то не дураки, понимают. Лизавете теперь легонько работать можно. Петя колхоз вывел на первую дорогу... та теперь знай посиживает... Нашли председателя — бабу.

— Лизавета первым председателем была в нашем колхозе... первая народ расшевелила, не забывай.

Зинаида вдруг недоуменно развела руками:

— Кого мужики слушали — Варвару! Воровку! Ведь ты воровка!

Петр при встречах молчал.

Вместе с Дреновым, пьяные, они, обнявшись, бродили по улицам и орали песни. Проходя мимо дома Дороховых, Дренов осторожно взглядывал на окна и, трезвея, говорил всегда одно и то же:

— Эта вертихвостка-то еще много вреда людям принесет...

День качался в глазах Петра. Вытирая ладонью распухшие губы, он, как в бреду, слушал приятеля, скрежетал зубами и сжимал кулаки, когда навстречу попадалась Варвара, останавливался, с ненавистью провожал ее глазами.

Пили они всегда у Петра. Самогон приносил Дренов. Им никто не мешал.

— Кулаков обратно возвращают,— сообщал Дренов.— Хватит! Помучали хозяев! Вот приедет сюда Захар Беляев, еще кое-кто подберется! — и шептал: — Варвару поучить бы не мешало... Раз ее уже кокнули, только задрыгала...

Петр перестал пьянеть. Глухое беспокойство неотступно мучило его: «Откуда знает Дренов, как «задрыгала» Варвара, когда ее «кокнули»?

И почему он ждет кула́ков? Чем больше Петр слушал кладовщика, тем больший стыд поднимался в нем.

— Я все примечал за тобой,— продолжал Дренов.— Нутром чуял, свойский ты мужик, Петр Степаныч. А та-

ких, как Варвара, давить надо... шлепнуть — никто не узнает...

Не выдержав, Чувелев вскочил, неуверенно ударил Дренова по лицу и тут же опустился на скамью, сжал голову руками и, покачиваясь, застонал.

Дренов направился было к выходу, но, услышав глухой стон, вернулся, дотронулся до вздрагивающего плеча Чувелева, прохрипел:

— То-то... Ошибся я в тебе. Ну да подожду, ты на верной дорожке...

Утром Петр, почему-то крадучись, подошел к дому Дороховых. Через пролом в заборе увидел, как Варвара ходила по двору с лопатой. Синяя юбка шелестела от ветра, мягко обнимала колени. Платок сполз с головы, и темные, гладко причесанные волосы блестели.

Она, увидев Петра, остановилась.

Впервые заметил Чувелев, какая Варвара легкая и красивая.

— Все-таки, соседка, круто ты со мной обошлась...— произнес он примирительно.

Женщина, усмехнувшись, спросила:

— Ты что-то другое сказать мне хочешь?

Петр замялся:

— Может быть.. не смею я... Может, мне стыдно. Скажу только: не подпускайте Дренова близко... Я его узнал... один я его узнал...— Помолчав, не к месту выпалил: — Уйду из колхоза. Лошадь бы мне только вернули, а то по сено съездить — к однолишным беги, лошадку выпрашивай... Вы, говорят, пахать нынче на коровах собираетесь?

Это была правда: правление решило вывести на пахоту и коров, так как лошади валились с ног и на них трудно было рассчитывать.

— Сам довел до того,— бросила Варвара,— не жалуйся!

Она не представляла, как поведет свою Зорьку, запряженную в плуг.

— Ничего... и на коровушках землю подымем...— глухо произнесла Варвара и, оставив Петра у пролома в заборе, быстро ушла в избу.

Анисья одобрительно следила за снохой, разводила руками, точно узнавая ее впервые.

— Давно бы нам тебя украсть надо! Это хорошо Андрей придумал: взял связал тебя в кузовок да и

на телегу! А то посмотри-ка, сватать к ней пришли — выгнала!

Варвара смеялась с ней вместе, откинув голову.

— Да и верно, хорошо Андрюша сделал... иначе я бы ведь ни за что не пошла к вам.

— Вот только Потехиной тебя зовут в народе зря... Какая же ты Потехина? Ты — Дорохова! Всем так и говори! А то на собрании как за веревочку дергают: Потехина да Потехина!

Варвара тоже точно впервые узнала старуху. Ленивая, нерасторопная колхозница в собственном доме работала без устали. Только сошел снег, вычистила огород от ботвы; в избе поддерживала порядок; руки ее в непрерывном движении: штопали, вязали, мыли.

«Почему же она в колхозе-то не такая?» — спрашивала себя Варвара.

Скоро на этот вопрос ответила сама Анисья.

Какая-то болезнь внезапно подсекла лучших лошадей в колхозе. Пал и Игренько, которого привели в колхоз Дороховы.

Андрей совсем иной раз не приходил домой, стараясь спасти лошадей.

Члены правления, казалось, потеряли голову. Лизавета испуганно спрашивала:

— Как же мы нынче вспашем? Что делать-то?

Дренов вызвался съездить в район за ветеринаром, но того не оказалось на месте. Потихоньку кладовщик изводил Дорохова.

— Ты заведуешь конным двором... должен был смотреть! — обрушился он на Андрея. Тот молчал.

— Под суд тебя отдать надо!

Это уже трудно было вытерпеть. Андрей скрылся в сарае, и там обдумав свое положение, вечером пришел домой угрюмый и объявил:

— Выписался я из колхоза... совсем...

Анисья, словно не услышав этой новости, завыла о коне:

— Погубили... Мы ведь сами его пахать учили. Едем, помню, с Андрюшей в поле и думаем: опасно на первый раз в сохе вести — побежит, изрежется с новизны-то... Давай мы его вначале до устали доведем, чтобы не играл! Въедем на горку да обратно спустимся, въедем да обратно... Смотрю, присмирел Игренько. С устатку и в сохе так гладко шел, ровно десять лет до

того пахал. А мы боялись: заиграет, изрежется. Соху-то земля наточила — острая... А конь-то умен был!

Андрей скупо сказал Варваре:

— Ты теперь не хлещись в колхоз... чтобы Дренов и над тобой не издевался... нечего там делать. Не порознь же будем...

Варвара молча выслушала его и так же молча ушла.

На крышах лежал иней, исходя легким парком. Дым из труб махал Варваре, словно крылом.

Лизавету она нашла снова в постели, еще больше постаревшую, измученную.

— Это лошадушки меня уложили... Ты уж, Варя, позамещай меня пока. Что там делается? Боюсь я, как бы Дренов не настряпал чего... ой, не верю я этому хлеборобу...

Варвара сообщила ей, что Дороховы сегодня не вышли на работу, что Дренов обвинил в падеже коней Андрея. Старуха начала подниматься, трясясь от нетерпения и злости. Сухие желтые руки цеплялись за край деревянной кровати. Вспотев от усилий, Лизавета простонала:

— Ох, стара я, стара... Годков бы десять с плеч сбросить... я бы им показала...— Отдохнув, вновь начала подниматься.— Нельзя мне лежать... понимаешь, нельзя! Отчего вот лошади падают? Отчего?

Глаза ее лихорадочно горели.

— Тут корешки Захара Беляева действуют... Ох, Варюшка! Хоть ты там гляди за всеми... Зря меня не переизбрали.

— Ты же организатор первый... берегут...

— Сил нет... не распускай никого... Захар-то, говорят, где-то здесь бродит.

Встревоженная этим напутствием, Варвара направилась в правление.

На улице по дорогам звенели ручьи. Ребятишки загораживали им путь; большой ручей, натыкаясь на запруду, бил ключом.

Варваре казалось, что и она теперь тычется в глухую стенку, как поток весенней воды в запруду, одинокая и беспомощная. Некуда идти, не с кем говорить.

Приблизившись к детям, женщина остановилась, тупо уставилась на ручей.

Вода накоплялась все больше, пенилась, кружилась воронками; неожиданно, силою непрекращающихся уда-

ров, прорвала плотину и понеслась, подхватывая щепки. Ребята с криком побежали за ней.

— Что, не топиться ли в ручье собралась? — раздался сзади голос Ивана Никулина.

На крыльце правления, на бревне у забора сидели колхозники. Открыв калитку двора, Варвара сразу увидела их озабоченные лица. Кое-кто поднялся с мест. Какая-то молодушка облегченно и громко крикнула:

— Ну вот, теперь нам Варвара все расскажет!

И словно прорвался долго сдерживаемый вздох:

— Кто лошадку уложил?

— Семена Пикулова — вредителя — нету теперь... с кого спрашивать?

— Пахать-то как будем?

Побледнев, Варвара стояла перед людьми, не зная, что отвечать, повторила за ними:

— Пахать как будем?

— Да-а... Земля не ждет...

— Придется коровушек потревожить,— неуверенно сказала Варвара. И, так как никто не возразил, поняла, что всех заботит земля и все пришли к единственному выходу: пахать на коровах.

— Подымем землицу! — закончила она и радостно широко улыбнулась: это были люди одного труда, одних раздумий и тревог. Значит, не подведут.

Несколько раз Варвара порывалась поговорить с Андреем, убедить его вернуться в колхоз, но, видя замкнутое и злое лицо мужа, только вздыхала. Самое страшное в жизни человека — быть непонятым в собственной семье.

Враждебность Андрея нарастала. Варвара убегала из дому, пряталась в конторе правления. По вечерам дома ее встречали молчанием. Она старалась разбить это недоверие, заговаривала сама:

— Зря ты ушел из колхоза. И за ветеринаром сам должен был поехать... тогда сразу бы поняли, отчего лошади гибнут... а то беда. Как пахать-то станем? Да еще под суд тебя придется отдать...

— Радуешься?

Он становился все неуступчивее и злее. Каждое утро провожал Варвару на работу криком, бил словами, точно хлыстом:

— Иди, таскайся! Не тем, так другим людей смешишь...

Анисья боялась суда. Может, потому держалась в стороне от их борьбы, только разводила руками, когда сноха, не обращая внимания на брань Андрея, все-таки уходила.

— Как мужей-то нынче почитают? Да разве мы так жили!

Однако жизнь вне колхоза казалась теперь и ей безнадежной.

— В колхозе, может, удастся уйти от суда? — рассуждала она.— А теперь вот они нашли виноватого... Стара я... на мне пахать не выедешь, как Лукерья Пикулова вон на Зойке огород пашет... С жены своей немного возьмешь... Без лошади, без земли что за хозяйство.

— Земли дадут,— возражал Андрей неуверенно.

Анисья видела, что сын растерялся, был жалок и смешон в своей гордости, и начала тревожиться, не надеясь на него.

— На один хлебушко сколь денег убьем, беда!

И все ласковее встречала по вечерам Варвару.

— Уморилась, поди?

Обиняками расспрашивала про колхоз, про его дела.

Увидя раз, что Андрей прислушивается к разговору, Варвара нарочно стала каждый день забегать на конный двор, чтобы вечером рассказать про лошадей.

— Вторая весна подходит, как лошади у нас захирели. Прямо не знаю, отчего они хиреют...

Андрей ушел в заботы о своем хозяйстве: рубил, строгал, приколачивал что-то во дворе, но Варвара видела, что живет он раздвоенной жизнью, не чувствует радости от этой работы, и все его мысли находились там, в колхозе.

IX

Слух, что колхоз будет пахать на коровах, носился по деревне, тревожа хозяек, обрастал жуткими россказнями о том, как после пахоты коровы худеют, заболевают, перестают доить или — что всего страшнее — начинают доить не молоком, а кровью.

— Подкуют коровушек-то!

— Пусть бы колхозные коровы пахали!

— Вши, а не коровы!

Край серого неба робко прорвала зорька. Давно

уже не было для Варвары веселых зорь, и эта заря не радовала, казалась зловещей.

Варвара принесла в стойло припасенной вчера травы. Корова жадно принялась есть, и хозяйке показалось, что она хорошо понимает, что ее ждет сегодня.

— Ешь, Зоренька, ешь... Я тебе пойла солененького налью,— приговаривала Варвара. Она не верила всем слухам, отмахивалась от них, и вот только сейчас, когда необходимо вывести корову на пашню, невольно встревожилась.

Из соседнего двора несся злой визг, шум и возня.

Варвара вышла из стойла, притаилась в темноте.

— Не дам! Не дам! — визжала женщина. Варвара видела через прясло, как соседка в дверях конюшни крепко уцепилась за косяки, загораживая собою вход, и кричала:

— Не дам корову! Отойди лучше... не дам!

Сосед отрывал руки жены, стараясь вытолкнуть ее из конюшни, и вдруг он размахнулся и ударил жену по лицу. Та вскрикнула, схватившись за голову, с воем отступила.

Сосед вывел во двор черную красивую корову с широкими крутыми рогами, обмотал рога веревкой и скрылся с ней за калиткой. Женщина что-то кричала вслед. Варвара заторопилась и, не рассуждая, быстро повела свою корову со двора.

Выскочил из избы Андрей.

Варвара, остановившись, спросила:

— Ты что?

Андрей как-то боком налетел на нее и ударил по голове.

— А вот что...

— Так-так, сынок, и поучить жену надо! — кричала свекровь от крыльца.

Варвара вскрикнула, пошатнулась и стонущим, дрожащим от обиды голосом спросила:

— До этого дошло?

Она не плакала. Сердце точно застыло.

Сильным движением руки отпихнула Андрея в сторону и провела корову мимо. Та доверчиво следовала за хозяйкой. Вслед несся крик Анисьи:

— Уморишь коровушку, паскуда!

Варвара, на ходу обирая с лица растрепанные волосы, шептала:

— Может, не уморю...

Весенний день жарко разгорался. От дорог шел пар. Дети уже проснулись и, как и вчера, с криком бороздили босыми ногами ручьи.

На улице Варвару догнал Дренов.

— А корова твоя где? — спросила она.

— Да захромала что-то...

— А-а... захромала!

— Я сам иду! Пусть на мне пашут! Сверху, говорят, приказали коровушек в плуг впрягчи,— вкрадчиво сообщил он.— Пусть лошадушки, слышь, отдохнут!

— Бреши! — хрипло обрезала его Варвара.— Сверху не приказывали нам лошадей морить!

— Что ты на меня взъелась... дрожишь даже?

Варварину корову, запряженную в пару с чувелевской, водил Дренов.

За ним Петр вел другую пару коров. Спины животных потемнели от пота.

На меже выли бабы. Старуха Чувелева неожиданно сорвалась с места, бросилась к сыну, упала и поползла за коровами по борозде. Петр замахнулся на нее вожжами и крикнул:

— Не лезь!

Солнце поднималось все выше.

— Днем-то тяжело коровушкам будет...— тихо сказала Варвара.

Мало же их было, коров. Они путали шаг, кидались в стороны, то и дело выворачивали из земли плуг, мотали головой, стараясь освободиться от твердых хомутов, останавливались. Хомуты съезжали им на спину.

Спокойнее шли коровы в бороне, гуськом друг за другом.

Дренов хлестал их длинным хлыстом, не разбирая, куда падали удары, ругаясь сквозь зубы.

Сорвавшись с места, Варвара побежала к нему. Ноги тонули в мягкой, пробороненной земле. Оттолкнув Дренова, вырвала у него хлыст.

— Сама поведу!

Дул сухой сильный ветер. На краю поля качались высокие березы. Каждый порыв ветра отрывал от них прошлогодние листья и разносил над холодной еще землей. Сморщенный, точно сгоревший, листок долго и плавно кружился в воздухе, медленно опускаясь.

Неожиданно приехал на поле Иван Никулин. На

телеге лежала опрокинутая вверх зубьями борона. Молча выпряг старик лошадь, впряг в борону и, мрачно понукая, повел по пашне, оставляя за собой темную мягкую полосу.

Варвара остановила коров и, отцепляя прилипший к платку лист, крикнула:

— Совсем али на день, Никулин?

— Нашли дурака,— огрызнулся тот.— Поработаю на вас денек...

— А подо что пашешь нам? Весь колхоз небось на себя потом работать заставишь? — намекнула Варвара на свою зимнюю встречу с ним и разговор о сене.

— Не подо что... Христа ради... Нищим подаю же...

Варвару передернуло. Хотелось напомнить, как спас его Бурцев от раскулачивания.

С горечью подумала она о том, почему здесь, среди работавших, нет ее мужа. Какое было бы счастье, если бы он шел вместе со всеми. Ему было бы трудно, как и каждому, как всем, но он был бы здесь.

Ноги Варвары отяжелели. Голова закружилась. Горькое волнение схватило за горло.

С силой сжав зубы, она мысленно произнесла:

«Посмотрим, Андрюша, кто кого... Посмотрим, милый».

Если бы все — и этот старик Никулин, и воющие на меже бабы поняли, что без колхоза не выбраться, нет жизни без колхоза, работали бы, как в своем хозяйстве, с любовью и терпением,— они скоро увидели бы настоящую жизнь!

Приподняв к солнцу лицо, Варвара запела:

За рекой-то было да за реченькой,
За рекой-то было да за широкой.

Следом шел высокий сутулый мужчина с лукошком, повешенным на шее, и широким жестом руки разбрасывал зерно. Благодарная, смотрела женщина на него блестящими глазами: сеятель всегда казался величавым, щедрым и добрым.

И все-таки Варвара боялась, что слухи о болезнях коров оправдаются, воображала, как будет биться от боли Зорька, кричать жалобно и протяжно, а в дойник, поставленный в Варварины колени, польется не молоко, а жирная струя крови.

Вечером дома женщина осторожно подошла, долго

гладила корову и наконец, замирая, села с дойником под пышное вымя. Зорька стояла спокойно, время от времени отмахивалась хвостом от мошкары, которая щекотала кожу, и мирно жевала. Из сосков текла белая яркая струя молока.

X

Гонимая тревогой, Варвара не раз бегала весной смотреть, как поднимаются хлеба.

Нельзя было не улыбаться, видя, как зеленеет и блестит на солнце их чистая и густая пшеница.

На тополях распустились желтоватые листья, от них исходил дурманящий запах.

Но больше всего Варвара полюбила лето.

Еще совсем недавно лето вызывало у нее горькое разочарование, страх перед зимой и невыносимую зависть к людям, получающим свои урожаи. Усталая и отупевшая от жары и работы, проходила она раньше полями, не замечая прелести летнего созревания.

И только теперь Варвара полюбила лето и осень с пожелтелыми и звучащими колосьями хлебов, с лихорадочной спешкой жатвы и уборки.

Рожь клонилась, шумя. От малейшего порыва ветра колосья метались из стороны в сторону, как косяки рыбы в нерест, ныряя в прозрачной волне, катились то к середине пруда, то к берегам, взрывая воду. От бродячего облака на ниву набегала тень. И вот снова испуганный косяк золотых рыб метнулся обратно.

Возвращалась Варвара с поля в темноте. Сырые от росы травы били по ногам. Квакали на лугах лягушки, шумели листвой березы, цветы сонно клонили головки.

Она догнала ягодниц с полными корзинами малины. Говорить ни с кем не хотелось. Варвара свернула в лесок, на тропу. Слова были лишние, мешали. Можно было только петь или смеяться.

Ты расти, расти, рябина!
Расти, не шатайся...
Ох, живи ты, мой миленок...
Живи, не печалься...

Песня неслась, убегала вперед, терялась в лесу.

В деревне Варвара смолкла, свернула с прямой дороги, пошла переулками. Мокрый подол хлестал по но-

гам, облипал, и по всему телу до самого сердца шел бодрящий холодок. Варвара все замедляла шаг.

Дома было безрадостно. Серый, исхудавший Андрей встречал ее по-прежнему молча.

Гнетущая, напряженная тишина давила. Варвара старалась скорей выполнить привычную и необходимую в семье работу. Работа притупляла постоянное чувство тоски, пустоты и безнадежности. Порой женщина спрашивала себя недоуменно:

«Почему не кто-нибудь другой, а Андрей поднял тот проклятый навильник? Почему именно к Андрею бегала я когда-то в овины?...»

Как-то, не заходя в избу, Варвара направилась в огород, затопила баню. Дрова уютно потрескивали в печке. Пахло мылом, картофельной ботвой и укропом, растущим вокруг бани. В маленькое зарешеченное оконце видно было, как Андрей вышел из двора и долго стоял, глядя через забор в пустую вечернюю улицу. Яркие подсолнухи на гряде отворачивались от него к мелькавшей недалеко воде.

Варвара вышла из бани, посмотрела, как и он, на хмурое небо, на дорогу, проходившую за изгородью, и тихонько сказала:

— Все вспоминаю я, Андрюша, как ты увез меня... Ведь знала, что так кончится, а тут ровно испугалась, право, ноженьки еле держали...

Андрей молчал.

Варвара, стараясь не замечать отчужденности мужа, торопливо начала говорить о том, как дружно и крепко зреет пшеница:

— Вот ведь, знаешь, мы и вспахали... хоть на коровах, а всю землю вспахали. Уже колос на пшеничке наливается... Не зря потрудились добрые люди. Снять-то хлебушко — шутя снимем, руки не нанимать... Трактор привезут на днях... Федя Лузин курсы в районе проходит, как с тем трактором работать. Парень смышленый, выучится... Полегче артельщикам тогда будет...

Через несколько дней Варвара прибежала из колхоза в радостном возбуждении, бросилась к Андрею:

— Пойдем трактор смотреть... трактор привели. Вся деревня около него, пойдем...

Андрей сидел у окна, подперев голову кулаком. Услышав новость, вскочил и почему-то шепотом спросил:

— Федька Лузин?

— Ну да! Пойдем!

Старая Дорохова молча оделась и ушла. Варвара все стояла около мужа и упрашивала:

— Пойдем...

Андрей широко открыл окно, напряженно глядя туда, откуда доносились тарахтение машины, взвизги ребятишек. Женский голос, напевный и ласковый, несся из-за угла:

— Смотри-ка, и верно пошел!

Варвара мечтательно шептала:

— Теперь нам полегче будет... Трактор-то ни хлеба, ни овса не требует! Может, и ток скоро крытый поставим, мельницу заведем... А там, может, комбайн... Говорят, за комбайном-то люди, как за мил-дружком, живут...

С улицы раздался новый возглас:

— Смотри-ка, и верно!

Слышался топот бегущих ног.

Варвара вопросительно посмотрела на мужа и вздохнула.

— Вот какой у нас сегодня праздник... вся деревня там, у трактора.

Склоненное лицо Андрея было бледно. Глаза смотрели напряженно, тоскливо.

На все речи жены он только раз злобно буркнул:

— Сегодня не хлещись в колхоз... В лес пойдем... дров напилить надо.

Варвара невесело рассмеялась:

— Говоришь мне ты так, будто я неделю отказывалась,— и тоже с ненавистью взглянула на мужа.

XI

В лес они пошли тотчас же. Он с топором за поясом, она плелась за ним с пилой, глядела на его сильную спину, слегка сутуловатую, выпирающую мышцами под рубашкой.

У правления, где стояла машина, окруженная колхозниками, Андрей на миг остановился.

Варвара поняла: он направился в лес только затем, чтобы мимоходом взглянуть на трактор.

Глаза Андрея жадно оглядывали невиданную машину. Поймав торжествующий взгляд Феди, Андрей сделал равнодушное лицо и быстро зашагал к лесу.

Варвара еле поспевала за мужем.

Стоял голубой безветренный день.

Зубчатый след от трактора на дороге, казалось, чем-то ошеломил Андрея. Он пошел медленно, опустив голову и хмурясь.

Они пересекли клин леса, выгоревшего в прошлом году. Деревья здесь стояли, как скелеты. Вышли на большак, за которым качались хлеба. Теплый воздух, напоенный запахом спелых трав и земли, казалось, баюкал.

Дороховых догнал на колхозной подводе Дренов. Он ехал стоя, кричал и стегал серую маленькую лошаденку. Взмыленная, одичавшая, она была худа, ребра резко выдавались под кожей, большие глаза слезились.

— Ты что, не узнаешь меня?! — дико орал Дренов, размахивая кнутом.

Кнут глухо щелкал по влажной дрожащей коже. Лошадь вращала обезумевшими глазами, бросалась в стороны, билась в оглоблях и, шатаясь, еле тянула пустую телегу.

Андрей сжался, побелел, точно каждый удар падал на него.

— Эй,ты! Зашибешь лошадь-то! — внезапно закричал он, задохнувшись в бессильной злобе.

Дренов тупо оглянулся, выругался и еще раз махнул кнутом.

Андрей рванулся наперерез.

— Не смей, говорю, бить лошадь... Убью...— и угрожающе схватился за топор. Варвара, поймав мужа за руку, потянула за собой:

— Что ты, Андрюша!

Дренов катился под горку, оглядываясь назад.

Андрей с бешенством смотрел вслед.

Варвара снова заговорила о своем:

— Зря ты ушел из колхоза... Не вовремя. Испугался недостатков наших. Их много, что говорить. Но ведь нам на себя надо надеяться-то, на народ, до звезд-то далеко. Обратно надо тебе... все лишний хозяйский глаз в колхозе будет, понимаешь?

Она знала, как много значит вера людей в силы человека, вера в его помощь, и продолжала решительно:

— Ведь вот зашибет Никита лошадь... А на него и прикрикнуть некому... Ты был на конном, все-таки следил... А теперь помочь нам не хочешь.

Андрей взглянул на нее встревоженными глазами:

— А суд?

— От суда все равно в сторонке не отсидишься. На миру и смерть красна. Не одного тебя за лошадей судить будут...

Вечером Андрей долго старательно что-то писал, оберегая свое сочинение от взглядов Варвары, перечеркивал, мучительно морщил лоб, комкал бумагу, бросал, начинал писать заново.

Один смятый листок откатился под скамью, к двери. Варвара незаметно подобрала его, вышла с ним во двор и прочитала:

«Я, Дорохов Андрей, прошу обратно вписать меня в колхоз. И прошу отдать мне опять лошадей, потому как не я их убивал. А я даже мать родную к ним не допущу, как я понял теперь, какие люди есть вредные».

Варвара тщательно свернула бумажку и спрятала ее в карман, ослабев от радости. Слезы подкатили к горлу, но от них было легко. Она вбежала в избу, когда Андрей натягивал на себя чистую рубаху.

— Может, ты синюю с горошком наденешь?— спросила она скороговоркой.

Он долго причесывался перед зеркалом, одобряемый улыбкой Варвары. И ушел, унося тепло и радость ее взгляда.

На другой день Лизавета заговорщически сообщила:

— Пришел... Пришлось его, твоего-то, обратно... на конный.

XII

Наступила жаркая осень. Небо все дни было синее и тихое. Горячая земля затвердела и потрескалась от жары. Уборка была в разгаре. Еще суслоны высились на стерне, а к полю впервые по этой земле подошел трактор.

Рокоча, шел он по накатанной дороге, остановился, несколько раз сердито хлопнул и направился к меже.

Люди, оставив работу, бросились навстречу.

Федя, блестя зубами, оглядывал собравшихся на меже колхозников, покашливал хриповато. Увидя среди людей Зою Пикулову, отвернулся.

Широкие пласты отваливались в сторону, вздымались. Узкая и черная первая борозда, как бархатный пояс, перевязала поле. Колхозники в молчании смотрели, как к первой борозде прибавлялась вторая.

Зоя, как в лихорадке, шептала Варваре:

— Отец мой воевал за эту землю... а теперь вот пропал неизвестно где и за что. Может быть, он и здесь пахал, когда батрачил... у кулаков, мозоли натирал на ладонях; от лаптей-то пыль катилась.

Андрей суетился около трактора больше всех, забегал вперед, что-то кричал Феде, размахивая руками. Лицо его было растроганно. Варвара чуть не вскрикнула от прилива необычной нежности и жалости к мужу: не может он утешаться только своим хозяйством, узнав, что вся их жизнь зависит от колхоза.

На току молотили, и далеко за деревню доносился мягкий рокот машин. Казалось, даже слышался шелест зерна, льющегося на брезент из горла молотилок. У складов толпами стояли ребятишки и старики, сопровождая каждую подводу радостным криком. Никита Дренов важно принимал зерно, взвешивал каждый мешок и потирал руки.

— Вот засыплем лучшую пшеничку на семена, а приедут из района уполномоченные, помашут револьвером и увезут наше зерно горожанам на прокорм... Тоже и то надо понять — у всех свои планы: нам — посеять, выходить и снять хлебушко, им — отнять,— говорил он.

— Не увезут! — кричали ему в голос старики.— Урожай мы сняли хороший, невиданный. Все не увезти!

— Не увезут...

Было ли такое, что увозили в район подчистую весь народный хлеб, Варвара не знала: в своей былой отупелой жизни она все просмотрела, все прошло мимо нее.

Женщины, собираясь вокруг Варвары, говорили:

— Ты смелая. Не давай нас в обиду...

Раз утром в дом Дороховых прибежала взволнованная Пикулова.

— Варенька! Дорогая ты наша! Красавица ты наша! Ведь нам весь двор мешками с хлебом обставили...— причитала Лукерья.— Ведь нас и за живых не считали, если бы не ты... Ведь вредители мы. Семен-то...

Не сказала Лукерья Варваре, что, вешая ей хлеб, Дренов ехидно сказал:

— Не стоило бы вам с Зойкой платить наравне со всеми...

Не сказала Лукерья и того, что Зоя дома в непонятном матери исступлении пинала мешки и с плачем кричала:

— Не надо мне... Не надо этого хлеба!

А потом забилась в угол и, как помешанная, без конца говорила:

— Я и работать не буду... Ни за что не буду...

Лукерья, маленькая и храбрая, совсем высохшая в этот последний год, шептала дочери:

— Видела бы ты, Зоятка, как весь народ, все-то наши колхознички на улицу высыпали посмотреть, как я, Лукерья Пикулова, хлеб заработанный везу! — Мелкие слезы часто текли из глаз.— Семушка... голубчик, не видал ты этого!

— Отец... Отец...— не то упрекала, не то тосковала Зоя.

Ничего этого не сказала Лукерья. Она просто тискала Варвару и повторяла:

— Ты это о нас тогда на собрании сказала. Ты... А я-то еще с тобой сколь время не разговаривала.

— Что ты, Луша! Я здесь совсем ни при чем,— отбивалась Варвара. Но Лукерья не дала ей говорить, перебила:

— Все знаю! Честное дело не таится!

Анисья, слыша весь разговор, горделиво остановилась перед Лукерьей:

— А ты думала, Варвара на ветер слова сеет? Она все дела до конца доведет...

...Сама Варвара, получив заработанное, покупала все осторожно, долго обдумывая и проверяя добротность вещей. У нее и у Кости были теперь валенки — настоящие, серые. Первые в жизни валенки. Свекрови купили шубу с черным каракулевым воротником.

Варваре нужно было все предусмотреть, никого в семье не обидеть, распорядиться добром по-хозяйски.

Костя, присмирев, осторожно дотрагивался до новых вещей руками, озадаченно смотрел на мать:

— Это все наше?

Во дворе, на радость Анисье, бегала пара овец, черных, с пушистой шерстью, и визжали поросята.

Варвара горделиво пронесла этих поросят с базара по деревне. Подмерзшая дорога была пустынна. Редкие снежинки падали на нее и не таяли уже, а, сдуваемые ветром, лежали в колеях и выбоинах.

— Вот как! Поросят заводишь? — крикнула Зинаида Чувелева.

Варвара опустила глаза, чтобы скрыть их блеск.

— А как же... жизнь у нас пошла слышная...

Поросята визжали и вырывались из рук, а Варвара тихонько ворчала:

— Да сидите вы... Ну чего испугались?

Так шла она по улице, кланяясь, останавливаясь посудачить о том о сем.

XIII

Начались свадьбы. То и дело раздавались по ночам пьяные песни.

Ссоры в доме Никулиных продолжались. Иван сватал сыну девушку из другого села. Зоя часто плакала. Лукерья вздыхала:

— Что-то, я смотрю, ты у меня и с лица опала. Что уж так изводишься, не муж родной...

Вечером Зоя выходила на улицу и тоскливо смотрела на дорогу. Разгульные свадебные песни доносились с дальних улиц.

Возвращаясь, садилась на любимое место, к окну, и ждала: вот раздастся на улице условный посвист Яши.

— Не выйду! Ни за что не выйду!

Призывного свиста не было. Только раз услышала Зоя за окном Яшину песню. Отчетливо и озорно выговаривал он слова:

Девки — сливки,
Бабы — молоко,
Бабы — близко,
Девки — далеко...

Зое хотелось крикнуть: «Слепенькая твоя песня, Яша... Все теперь наоборот!»

В день смотрин невесты из другой деревни Яша убежал из дому. Услышав об этом, Варвара, бросив все дела, побежала к Пикуловым.

Зоя, мертвенно-бледная, одеревенело сидела у окна, ничего не слыша и не видя. Губы ее слегка вздрагивали.

Лукерья на молчаливый вопрос Варвары развела руками: тут уж ничем не поможешь...

Варвара не успела уйти, как в избу ввалились две старухи и начали быстро что-то говорить, перебивая друг друга. Нельзя было понять, чего они хотят, но было ясно, что это пришли свахи.

С трудом разобрав, что жених — Федя Лузин, женщины всплеснули руками:

— Да ведь он моложе Зои!

— Мал золотник, да дорог... Он и хозяин, и работ-

ник, и избушка у него своя есть. Живет без матери... обиходить его некому... ваша Зоятка тоже не без изъяна, отец-то где? Ничего о нем не слышно? — затараторили свахи.

Обидное это было сватовство: Федя — сын пьяницы, нищий. По решительному лицу Варвара поняла, что Лукерья намерена отказать.

Зоя, глядя на свах белыми невидящими глазами, неожиданно заявила:

— Я пойду за Федьку, мама... отдавай.

Варвара пытливо взглянула в искривленное страданием лицо девушки и, выдохнув, погладила ей руку:

— Узнала бы ты от Яши твердое слово, Зоя. Хочешь, я отыщу его... выведаю...

Искать Яшу не пришлось. Не успела Варвара выйти из избы Пикуловых, как он сам шумно распахнул дверь, остановился на пороге и обвел всех тяжелым взглядом.

— А ну, мотайте отсюда, сороки! Не пойдет Зоятка за Федьку Рака!

Зоя простонала счастливо:

— Янко!

Свахи поспешно засеменили из избы.

Назначив свадьбу, Яша с Зоей долго ходили вокруг Лизаветы и говорили:

— Мы по-новому, Лизавета Федоровна, жениться-то хотим.

— Женитесь, женитесь. Не попа же звать.

— Да нет. Хотим, чтобы всем колхозом отпраздновать, — говорила Зоя, злясь, что не может объяснить, как они хотят сыграть свою свадьбу.

— Ну что ж! Приглашайте гостей. Я думаю, не откажутся.

Лизавета не понимала, чего же хотят ребята. И когда об этой свадьбе заговорила Варвара, Лизавета озлилась:

— Свадьба есть свадьба, и чего нам-то в это дело мешаться?

— Да нет! Это по старинке так. А сейчас должен колхоз в гости на эту свадьбу звать. Мы сами, а не нас. Ведь Зоя-то ударница как-никак!

Но Лизавета не могла понять этого.

— Мудришь ты, баба, много!

— От свадьбы ты отказываешься зря, Лиза. Наше это дело, — твердила Варвара.

— Да иди ты от меня! И так работы полно, а она еще ко мне с пустяками лезет! Что ты в самом деле придумываешь! Век люди женились без колхоза, а теперь им свадьбу справляй! Нет, уж ты, Варюха, не дело требуешь...

К свадьбе неожиданно вернулся из заключения Семен Пикулов. Был он худой, ссохшийся и очень злой. О себе ничего не рассказывал, на вопросы только поднимал острые плечи и отчаянно ругался. Женщины торопливо отгоняли от него ребятишек. Он кричал:

— С ума посходили, сами себя едят! Нашли преступника — Сему Пикулова! — Придирчиво следил за людьми, бегал по хозяйству и угрожал: — Я вас выведу на свежую водичку! Теперь от меня не увернетесь, найду, кто у нас хозяйство рушит!

Не придирался он к одной Лизавете, около нее тишал и без конца спрашивал:

— Что делать-то будем, Федоровна? Как нам черных людей выяснить?

Лизавета счастливо твердила:

— Хорошо, ты вернулся, Семен! Теперь нам полегче... Мало сознательных у нас. Скорее бы председателя Совета давали, тянет район, а той порой худые люди здесь действуют...

— У-у! Что я с ними сделаю... поймать бы кого! — кричал Семен.

Свадьба шла в доме Пикуловых обычно, как привыкли проводить свадьбы в деревне. Девушки под песни вывели Зою в передний угол и усадили рядом с женихом за столом.

Обреченные сидеть на месте, красные от смущения, молодые тихо переговаривались.

За столом стоял пьяный гомон голосов. Гости пили, смеялись, рассказывали какие-то истории, и ничего нельзя было разобрать в общем шуме. Единодушно кричали все только единственное слово: «Горько!». И молодые вынуждены были целоваться.

Они целовались, но это не доставляло им никакого удовольствия, и Яша, толкнув Зою локтем, тихо издевался:

— Ты без людей слаще целуешься.

Зоя колотила его в бок кулаком и смеялась:

— У-у, Яшка!

Девушки завели старую свадебную песню:

Стоял городок, стоял городок,
Город каменный...

Неожиданно вбежал в избу Никулин, хлопнул об пол шапку и закричал, заглушая песню:

— Что же ты, Яшка, у меня благословенья не попросил! Не на сход со мной живешь!

Яша, с опаской вглядываясь в отца, возразил:

— Просил. Ты же не дал...

— Проси еще!

Жених, что-то поняв, схватил Зою за руку, потащил ее на середину избы.

— Прости да благослови, батюшка...

Никулин перекрестил им головы, прослезился и махнул рукой:

— Женитеся честно, не смешите людей-то...

— А в колхоз? — заикнулся было Яша, так и не выпуская руки невесты.

— Подожду... посмотрю, как вы в колхозе заживете...

Лукерья поднесла старику стакан браги:

— Угощайся, сватушка.

Свадьба пошла веселее.

Было душно. Варвара пробралась к порогу, приоткрыла дверь.

— Весело пируют. Брагу-то так и хлещут... — переговаривались в сенях любопытные.

— Эх, какой парень на Зойку Пикулову позарился! У нее и окна-то без наличников, — намекали бабы на то, что девушка была безброва.

— Зато она хорошо справилась: и хлебом и всем ей дали от колхоза-то, хоть и вредители...

Варвара слушала пересуды и, как никогда, чувствовала, что колхоз ненужно устранился от свадьбы, не показывает свою силу.

Недолго рассуждая, Варвара выскользнула в сени и в одной шали на плечах быстро побежала домой: необходимо было сейчас же предпринять что-то.

В своей избе она быстро огляделась, потом стремительно выбежала во двор, бросилась в конюшню.

Анисья, поняв ее смятение, вышла за ней.

Заверещали поросята. В низких дверях конюшни показалась сияющая Варвара с живым узлом в руках.

— Ты куда это их?

Варвара, смеясь, пробежала мимо.

Девушки продолжали песни. У всех горели лица от выпитой браги; молодые сидели по-прежнему в переднем углу красные, вспотевшие, с сонными скучными глазами.

Варвара протискалась вперед и торжественно положила к ногам молодых свою ношу.

Дико озираясь, поросята стриганули в стороны.

Варвара важно поклонилась молодым:

— Это от колхоза подарочек, на разживу...

Свадебный шум окончательно испугал поросят. Яша с хохотом ловил их под столом.

Варвара подняла рюмку с вином выше головы и, возведя к ней глаза, озорно подмигнула:

— Здравствуй, рюмочка! Прощай, винцо! Берегись, душа, оболью!

Девушки запели плясовую, закружились по избе. Варвара звонко поцеловала дно у опорожненной рюмки — она никогда не видела, чтобы кто-нибудь так делал, но разошлась и кричала:

— Раньше ведь меня один дождичек поил! — Поставив рюмку на стол, притопывая ногами, пошла по кругу:

> Уж я пьяная не пьяная была...
> Ды я не помню, как домой пришла...

XIV

Утром, после шумной и бестолковой ночи, Варвара побежала снова в контору:

— Лиза, хоть лошадей дай молодым покататься.

Та возмущенно вскочила с места:

— Ты, Варвара, что это дуришь? В уме? У нас лошади только на поправку пошли, а я их — кататься дай по бездорожью!

Зима была вялая, бесснежная. Стояла оттепель. Первый снег, выпавший еще в декабре, разбух, наводнился и долго стоял рыхлым и сырым, как холодец. Потом ударили резкие заморозки и окончательно испортили зиму. Разбухший за оттепель снег высох, вымерз, как летняя пыль при ветерке, вздувался кверху.

Старики сокрушенно качали головами: на их памяти не было таких зим.

— Не к добру, знать, был такой урожай... Как бы засухи не случилось...

На конном дворе стояли приготовленные для упряжки дровни, но и телеги не убирались.

Варвара решилась на хитрость, словно хлопотала не о свадьбе Зои Пикуловой, а о своей собственной судьбе. Придя на конный двор к Андрею, с жалостью и грустно сказала:

— Мы с тобой, Андрюша, и свадьбы не праздновали...

— А что же, можно и сейчас, — согласился тот.

Варвара рассмеялась:

— Подумаем... а после свадьбы лошадей возьмем и покатаемся...

— У-у! Да мы с тобой весь колхоз прокатим! Смотри, какие кони-то у меня стали! Красота!

Он провел Варвару по стойлам, чтобы показать лошадей.

— Каковы?

— Хороши! — хвалила она. Вкрадчиво усмехаясь, спросила: — На какой ты меня лошадке тогда увез, я что-то не помню? Знаешь, а у меня сердце горит: уж Андрюша-то, думаю, лошадушек поставит! Я вот теперь на Зою с Яшей смотрю. Ох... Глаз друг от друга не отводят... Хорошо!

Андрей пожевал губами. Многое успели они с женой напортить. Зато теперь хорошо живут и никто не скажет о них дурного слова.

— Знаешь, Андрюша! Так бы я все назад вернула да по-новому начала!

— Со мной? — настороженно спросил Андрей.

— Может, и с тобой...

С загоревшимся лицом Варвара остановилась.

— Знаешь что? Запряги-ка мне троечку получше! Я молодых прокачу!

— Мигом! — радостно заволновался Андрей. — Лучшую сбрую наденем! Пусть люди посмотрят, какие кони у нас стали!

Варвара крутилась около него, стараясь помочь запрячь лошадей в бархатную кошеву, и жаловалась на Лизавету:

— Моменту она не поняла!

Во дворе Дренова Нинка Лузина во все глаза смотрела за снаряжением тройки. Живя в доме кладовщика, девочка побледнела и исхудала, но по миру уже не ходила. Иногда показывалась во дворе вместе с детьми

отчима. Все они были хорошо одеты, бегали за мачехой по пятам.

Дуня, казалось, бросила пить, повеселела. Но иногда находили на нее минуты подозрительности и тоски. Она неделями молчала, только следила за мужем черными цыганскими глазами.

Нина ни разу не приласкалась к отчиму, испуганно шарахалась в сторону, когда он проходил мимо.

— А Федя у нас сидит, — сообщила она сейчас Варваре. — Пья-яный... И ревет, как маленький... И чего ревет?

Варвара вздохнула: она знала горе парнишки.

Во дворе появился Дренов, и девочка вмиг исчезла. Варвара даже испугалась, так неожиданно появился он.

— Зря, Дорохов, лошадь даешь... А если что сделается?

Тройка, управляемая Варварой, вынеслась из ворот.

Лизавета, шедшая навстречу, едва успела отскочить в сторону, развела руками, что-то крикнула и порывисто повернулась.

В правлении Лизавета в недоумении остановилась: мужики облепили окна, выглядывали на улицу, опираясь руками о стены, кричали. С улицы доносился перезвон бубенцов.

— Лошадей-то как ловко подобрали... резво бегут!

— Тройка!

По частому звону бубенцов можно было угадать дружный, веселый бег лошадей. Мимо правления в кошеве, крытой ковром, прижавшись друг к другу, ехали молодые. Яша натягивал вожжи, Зоя, раскрасневшаяся, стыдливо к нему жалась.

— Такой свадьбы давно не было!

— Говорят, еще поросят им дали...

— Ребятишек-то за ними — орава.

Увидя Лизавету, мужики заговорили наперебой:

— Молодец, Федоровна! Молодец! Свадьбу завернули замечательную... Сегодня в деревне только и разговору об этой свадьбе! Правильной политики держишься: на видное место колхозу вылезать надо...

Лизавета ссутулилась и направилась к выходу.

— Куда же ты?

— А я пойду... Варваре Потехиной надо поросят отдать... Она вчера им своих поднесла...

— Своих? Почему?

— Да, видите ли, наши-то вчера с поносом были... ну и...

В воздухе кружились редкие снежинки. Около дома Никулиных Лизавета увидела толпу празднично разодетых людей. Из избы доносился бойкий напев «Камаринской». Из-за угла выскочила, задирая вверх головы, тройка лошадей и промелькнула мимо. У ворот правления курил Андрей Дорохов и самодовольно усмехался:

— Как ветер лошади-то у нас!

XV

Одна из лошадей, на которых катались молодые, ночью пала. С вечера она была веселая, разгоряченная ездой, била в конюшне ногами пол, ржала. Утром ее нашли околевшей.

Лизавета стонала, упрекая Варвару:

— Ты все! Под суд упеку тебя вместе с мужем!

— Загнали кобылку-то! — сокрушался Дренов.

Варвара сидела на крыльце беляевского дома. В этом доме она с детства была несчастна, как бы ни менялась жизнь.

Мимо, с конного двора, один за другим шли люди. Никто не приблизился к Варваре, не заговорил, не утешил.

Лизавета, вздыхая, подсела на ступеньку, но, кроме упреков, не нашла слов и, посидев, направилась прочь.

Варвара посмотрела вслед. Сгорбилась старуха от несчастья, стала совсем сухонькой и маленькой. Однако, несмотря на угрозы, в глазах ее по-прежнему таилась теплота.

Мысли лихорадочно сменяли одна другую, прерывались, возникали вновь: «Теперь, наверное, Андрею и в самом деле суда не миновать... А с ним и меня судить...»

Приехал следователь. Андрея вызвали на допрос.

Громкий шепот заставил Варвару поднять голову. Ее манила к себе Дуня Рак, стоя в широко открытых дверях конного двора и держа в руках какую-то тряпку.

Ударяя себя в грудь, она бессвязно говорила:

— Таился столько лет... я все теперь поняла...

— Рассказывай, Дуня! — потребовала Варвара, подойдя к ней вплотную. — Кто таился... о ком ты?

— И коня он извел... я теперь поняла все.

Женщина была пьяненькая, от нее пахло перегаром самогона. Она совала в руки Варвары красный залощенный кисет.

— Чей, по-твоему?

Варвара узнала бы эту тряпку из тысячи других, однако не могла понять, почему этот блестящий от грязи кисет так волнует Дуню. Та вывернула кисет наизнанку и прошептала:

— Не табак в нем был...

Кисет был пуст.

Варвара увидела в углах его только следы белого крупитчатого порошка. Понимая и страшась понять, переспросила:

— Неужели?..

Дуня также шепотом ответила:

— Я видела из сеней, когда еще темно было, он у вас на конном что-то с фонарем искал... Меня заслышал, фонарь потушил — и домой. Я раньше его убежала, в постель легла, будто сплю... А сейчас я через прясло... и вот...

Во двор вошли молодожены — Яша и Зоя.

Влажные нежные губы молодушки растягивала удивленная и несколько покорная улыбка. Ревнивые глаза молодого следили за женой.

Дуня набросилась на них:

— Придумали на тройке гонять... А теперь вот...

Варвара соображала: «А почему Дуня разоблачает мужа? Может, просто наговаривает по злобе».

Словно поняв, что должна объяснить все до конца, Дуня с ненавистью поглядела на дом Дренова, как на тюрьму, и зашептала:

— Я все примечаю... Захар Беляев у него в бане хоронился... я — пропащая, гулящая, но такого вытерпеть мочи нет.

Они враз заметили, что дверь в сени дома Дренова то и дело приоткрывалась, словно кто-то держал ее внутри неуверенной, ослабевшей рукой. Потом дверь захлопнулась, слышно было, как внутри опустился крючок.

Примолкнув, Дуня подобрала юбку и побежала со двора неизвестно куда.

Захватив кисет с остатками порошка, Яша с Зоей пошли в сельсовет, к следователю.

Варвара осталась присматривать за домом кладовщика, спрятавшись за поленницу под навес. Вскоре увидела, как Дренов, приоткрыв дверь сеней, высунул голову, осмотрелся, скрылся вновь.

Варвара продрогла, утонув в сугробе, топталась, чтобы согреть ноги. И дождалась: Дренов снова выглянул во двор, сбежал со ступенек и, застегивая на ходу полушубок, крепко прижимая локтем белый узел, выскочил на улицу.

По деревне ползли серые сумерки.

Варвара кралась следом, не спуская с Дренова глаз.

На опушке леса, опасаясь, как бы он не ускользнул, крикнула:

— Куда побрел, Никита, на ночь глядя?

Дренов побежал, не оглядываясь, легко перепрыгивая через выбоины, разбрызгивая по сторонам снег, перемешанный с грязью.

Косо, как дождь, сверху сыпалась ледяная крупка, засыпая следы.

Варвара выхватила из кучи валежника у дороги толстую палку, догнала Дренова и ударила по спине.

Он слегка приостановился, но сразу же побежал дальше.

За деревней женщине удалось опередить его. Размахивая палкой, она исступленно закричала:

— Не пущу!

Шаль сползла с головы, хомутом висела на шее. Подол был сырой и тяжелый, путался в ногах.

Дренов кидался из стороны в сторону, успел схватить палку за конец и потянул к себе. Он яростно бился и прыгал перед Варварой, как цепной пес у большого столба.

Сжав зубы, женщина с силой вырвала палку и ударила мужика по голове. Тот ткнулся лицом в снег. Узел его откатился в сторону. Силясь подняться, Дренов злобно глядел на Варвару и мычал, когда та хлестала его.

В ярости она могла и убить, но по дороге от деревни к ним бежали колхозники.

Варвара помогла Дренову подняться и, подталкивая сзади, повела навстречу людям, не выпуская палки из рук. Когда Дренов замедлял шаг и оглядывался, она потрясала ею и сурово говорила:

— Не озирайся... иди...

Впереди всех бежала Анисья Дорохова, оборачиваясь к колхозникам и крича:

— Скорее, братики... убьет он ее! — И ругалась яростно, по-мужичьи. Подбежав к Дренову, в злобе плюнула ему в лицо.

Он приостановился, но сзади его подтолкнула Варвара.

Старая Дорохова продолжала кричать, размахивая руками:

— Ты пуще его! И жалеть не для чо! Ты как следует его шваркни... Он Андрея чуть в тюрьму не посадил...

Колхозники окружили Варвару, словно защищая от беды.

Сзади бежала Зоя, простоволосая, застегивая на бегу пальто. За ней следовал Яша, размахивая шалью и крича:

— Застудишься... прикрой хоть голову-то...

Без шапки, с опущенной головой, Дренов озирался по сторонам, как затравленный. На лице от левого глаза до рта вздулся багровый, налившийся кровью рубец.

— Здорово ты его отметила, — без жалости смеялся кто-то. — И того мало...

Варвара еле держалась на ногах и все еще мелко дрожала не то от усталости, не то от возбуждения.

Люди расступались, когда она медленно пробиралась к крыльцу сельсовета. Как сквозь сон, слышала одобрительные возгласы:

— Варвара Николаевна не выдаст! За добро постоит...

В сельсовете за большим столом председателя сидел следователь, молодой человек с усталым лицом. Сдвинув густые черные брови, он начал допрос Дренова. Тот сидел перед ним, подняв багровый избитый лоб.

У стены за следователем стоял Чувелев, жестко сжав челюсти, и не мигая в упор глядел на кладовщика.

Разведя руками, заикаясь, Дренов оправдывался:

— Не морил я лошадей... Я сам артельщик... Несут на меня люди зря... Жена по злобе наговаривает... девчонку ее я избил... — Он оживился, вспомнив об этом. — А за что избил? За дело избил... Без отца росла... страху не видела...

— А от Потехиной бежал зачем?

— А я не бегал! Вижу: несется за мной баба, трясется от злости, а она — вон какая, хоть кто испугается! Я в район шел... на базар...

— Не ври! — крикнула Варвара. — Разбери плетень-то, хватит!

Когда Дренову показали его кисет и тут же высыпали из углов на стол грудку белого порошка, он стал нахальным.

— Так почему же ты все-таки лошадей морил?

— А чтоб не мучились... А то опять их голодом изведут... Счужа жаль! — зло поблескивая глазами, кричал он.

— А корову Светлану ты уморил тоже, чтобы не мучилась? Пикулова оклеветал?

— Та-ак... А Варвару Потехину ты керосином поил вместе с Беляевым — тоже, чтобы не мучилась?

Этого Дренов, казалось, не мог слышать, перебил следователя, взвизгнул:

— Придумали! Варвару я не трогал! Это Захар... он и керосином... он и ломом бил...

— А ты как знаешь, что ломом? Может быть, ухватом? — живо спросил Чувелев.

Дренов на минуту растерялся, потом вновь закричал:

— Я ее за себя сватал, пусть сама скажет...

— Замолчи лучше! — рассвирепела Варвара. Одна мысль о его сватовстве, казалось, выводила ее из себя. — От твоего сватовства дрожь бьет, до волоса бежит... Э-э, да что с тобой говорить: из пепла огонь не раздуешь... — И вдруг она подпрыгнула от нового подозрения: — А Павла Бурцева чем ты бил? Ухватом или ломом?

Дренов опустил голову.

За милиционером он пробирался понуро, не поднимая глаз.

Люди расступались неохотно, молча и злобно оглядывали его.

И сразу же, как только закрылась за ним дверь, Федя, бледный, будто состарившийся в этот день, вполголоса спросил:

— Как же это мы недосмотрели?

Совершенно обессиленный, Чувелев вдруг начал бить себя в грудь:

— Я ему больше всех верил! — Губы его судорожно дергались.

— Тебе легко с ним было работать: он все за тебя решал!

— Сколько вреда артели причинили!

— Я колхоз хотел на первое место...

— Что же теперь нам делать? Что делать? — растерянно твердила Варвара.

— В Москву ехать, Варя! — весело крикнула от двери Лизавета. Она только что вбежала в комнату, радостно взволнованная, подняв руку в варежке, потрясая над головой какой-то бумагой.

— В Москву, поняла? Район тебя выдвигает на съезд колхозников...

— Ку-да? — задыхаясь от волнения, протянула Варвара и села в бессилье. — На какой съезд? На ферме отел начнется...

— Справимся без тебя... Сама я присматривать буду...

XVI

Поздно вернулась Варвара домой из сельсовета. Андрей спал на кровати, раскинув широко руки. Обутые ноги свешивались к полу.

— Не дождался, сердечный, — посмеивалась Варвара, снимая с мужа сапоги и прикрывая ноги шубой.

Костя скинул с себя одеяльце, спал беспокойно. Серая наволочка на подушке расстегнулась, наполовину сползла.

Варвара прикрыла сына, тихо подошла к столу, сбавила у лампы свет и развернула тетрадь. Медленно, сосредоточенно что-то вписала, наконец зевнула и, расстегнув на груди платье, задула лампу. Темнота сохранилась только в углах избы. В окно уверенно бился рассвет.

Вещи выступали все отчетливее, казались значительными. Варвара увидела сбившиеся половики у порога и темные пятна грязи на них, на столе увидела швейную машину, заваленную бельем, и, наконец, перед собою стол с неубранной от ужина посудой.

Варвара схватила свои записки и бережно переложила их на скамью около детской кровати. Она знала, что «зажилась», как говорила Лизавета, и созна-

ние, что она зажиточная, в первый раз не успокоило ее, а вызвало в ней чувство ответственности.

«Работы-то как еще много!» — подумала она и медленно застегнула платье.

Начинался новый день. Над домами в голубом морозце курился белый густой дымок. Послышался твердый скрип полозьев, звонко похрустывал обледеневший снег под ногами лошадей.

По дороге мимо дома медленно тащились подводы с дымящимся навозом. Рядом с первой лошадью мелко семенил Пикулов в длиннополой дубленой шубе, в шапке, закрывавшей половину лица, и в тяжелых серых валенках. Он все время заботливо оглядывался назад.

Варвара провела горячей ладонью по лицу, как бы смахивая остаток ночной сонливости.

Как в бреду, покидала она дом, прощалась с сыном, с Анисьей. Андрей все время порывался что-то сказать на прощание, начинал:

— Знаешь, Варя... — и смолкал на полуслове.

Варвара дохнула на снежинки, редко обсыпавшие ему воротник. Снежинки растаяли, заблестели. От этой ее ласки на Андрея повеяло чем-то таким надежным, что он невольно подумал: «Сильнее меня жена... отстал я...»

И, точно поняв его мысль, Варвара прошептала:

— Ничего, Андрюша... Жить будем лучше... учиться будем...

Их ни на минуту не оставляли вдвоем.

Лизавета ревниво оглядывала Варвару, поправляя на ней платок, смахивая с пальто невидимые соринки.

— Ты у нас совсем как городская теперь...

Андрей, крепко зажав в зубах папироску, наконец прошептал то, что так мучило его весь день:

— Ты прости меня, Варвара... за все прости... — И тут же рассмеялся, прикрывая шуткой еще не улегшееся волнение: — Раньше я грешил да каялся... А теперь — только каюсь.

В клубах дыма к станции, громыхая, подошел поезд.

Навстречу Варваре из вагона вышел высокий, строгого вида мужчина в потертом сером пальто, с чемоданом в руках.

Спустился с подножки, с любопытством оглядел колхозников и спросил:

— На съезд, видать, своего человека посылаете? — Голос у него был густой, низкий, но столько добродушия чудилось в нем, что колхозники невольно заулыбались.

— А вы кто такой будете?

— К вам приехал, с завода... Работать будем вместе...

Лизавета бросилась к вагону:

— Варвара, слышь, рабочее подкрепление приехало! — И строго оглядела приезжего: — Что долго собирался? У нас тут такие дела...

— Слыхал!

Через окно вагона Варвара еще раз увидела всех. Андрей держал за руку Костю. Мальчик махал матери варежкой. Что-то кричала Анисья и тоже махала перед лицом рукой. Лизавета подслеповато щурила глаза. Рядом стояли Пикуловы, Лузины, Чувелевы — все те, с кем она жила одной жизнью.

Последними увидела Варвара молодых — Яшу и Зою. Махнула им рукой. Тотчас же словно повинуясь взмаху ее руки, поезд медленно тронулся с места.

Люди за окном кивали, кричали что-то. Андрей, неся Костю на руках, некоторое время шагал рядом с вагоном.

Густой и белый, как молоко, паровозный дым застлал полустанок и дорогие лица.

Варвара метнулась к другому окну, надеясь увидеть их еще раз. Но, когда ветер отнес дым в сторону, станция уже кончилась, и сквозь густую пелену снега Варвара увидела лишь новую кузницу, длинный корпус скотного двора и ниже, у реки, недавно построенную мельницу, еще не успевшую покрыться мукой от помолов. Вдоль берега тянулись не достроенные еще, блестевшие смолой дома.

На другой стороне деревни, на окраине, мелькнула ее избушка с белыми тесинами на окнах, вросшая в сугроб, но ее тотчас же заслонило собою здание школы с высоким козырьком на крыше, с белым широким, словно распахнутым, подъездом.

Затем прошла в сторону поросшая сосняком гора, дальше которой Варваре не приходилось бывать.

На полях редко-редко торчали из-под розового снега былинки, проскочила мимо недалекая гора, покрытая снегом, точно укутанная в башлык.

Мутное солнце вынырнуло из-за поворота. Озера, покрытые снегом, глядели, как бельма. По берегам, как клыки, торчали скалы. Часто замелькали села.

Везде люди! Эта мысль наполнила Варвару радостью. Волна приятного жара прилила к голове, гулом отдалась в ушах, затуманила глаза. Да, везде люди, и все делают одно большое дело. Только бы научиться разбирать хорошего и плохого человека.

Где-то бродит среди людей злобный Захар Беляев, пакостит, караулит, куда посильнее ударить.

Вспомнила Варвара Павла Бурцева.

«Борьба!» — говорил он когда-то.

Не страшен стал Варваре скрывающийся враг.

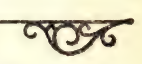
Мелькнули в памяти лица близких людей, прощание с родными.

— Поборемся... силы есть... сил у нас на все хватит!

Поезд набирал скорость.

1934—1956 гг.

Рассказы





ШЕСТ У ДВОРА

I

Сколько помнит себя Любка Смолякова, всегда начиная с весны и кончая осенью, шест ходил по улице от двора к двору.

Каждый год его выстругивали из молодой сосенки, оставляя на верхушке несколько веток. Ветки топорщились в разные стороны, словно хватали неуклюжими колючими лапами знойное солнце, и оно прозрачными каплями смолы проступало на обнаженном теле шеста.

В колхозе построили пожарный сарай с каланчой. Там вначале дежурил глухой дед Степан Ипатов. Он начистил до блеска единственную каску, смотал в кольцо брезентовые шланги и повесил их на стене, выставил у каланчи огромную водовозную бочку, наполнил ее водой. Но делать было нечего. Старик замкнул сарай на ключ и больше там не показывался. Каска вновь почернела от времени, шланги покрылись пылью, а у бочки ежедневно плескались ребятишки, да иной раз нерадивая хозяйка, не желая спускаться к пруду, брала из нее ведерко воды для поливки огорода.

А шест гулял и гулял от двора к двору, напоминая хозяевам, что стоит зной, что могут возникнуть пожары и что двор, отмеченный смолянистым шестом, отвечает в этот день за сохранность строений на улице.

Любка увидела шест рано утром, когда собралась на поле. Она вернулась в дом и крикнула с порога:

— Шест у двора! Сегодня дежурим!

Мать удивленно развела руками:

— Как о радости возвестила! Шест у двора — значит, бессонная ночь. — И продолжала ворчливо: — Деньденьской на поле маешься, а тут еще ночь! Зной стоит с самого Первомая, земля в трещинах, а тут еще на улице зернохранилище поставили... Говорила я тогда: не надо на нашу улицу зернохранилище — ребятишки за ним с папиросками прячутся... Шест! И когда ты, Любка, у меня поумнеешь!

— Не одни мы! Завтра вон шест перейдет к Трофимовым... Они постарше тебя, да дежурят! А зернохранилище на месте поставили: ближе к воде, не сгорит!

— И тут ты ничего не понимаешь! Да от воды-то зерно сыреет... Хозяйка! Сколько тогда в правлении ругались! Иди уж, опоздаешь!

Когда Любка спустилась к пруду, от берега отчаливала большая лодка.

Девчата на лодке махали руками, кричали что-то. Любка до боли закусила с досады губы: опять она опоздала! Теперь придется ждать, когда лодочник вернется и будет еще долго возиться на берегу, только чтобы позлить ее. Однако ей ничего не оставалось делать, как сесть на камень и следить за лодкой.

Вода была тихой. С одной стороны на крутом берегу стояли над прудом хмурые сосны, с другой, огибая пруд, широким полукружием раскинулось село, а прямо чернела пойма. К ней и направлялась лодка, к их полю, где нынче впервые посеяли турнепс.

Из-за темного сосняка вставало большое солнце, и сразу же каждый его луч разбивался на мелкие осколки и нырял в воду.

«Интересно, кто будет сегодня на тракторе? — подумала Любка, вздохнула и с силой бросила попавшуюся под руку гальку. На тихой воде пошли круги, как золотые обручи.— Хорошо бы Тошка... — подумала еще девушка и передразнила себя: — Хорошо бы, хорошо бы! А что хорошего оттого, что Тошка? Ну, Тошка! Будешь опять глаза на него пялить! Второй год пялишь, а он взял да и женился!»

Любка швыряла в пруд гладкие, обглоданные волной гальки одну за другой, злясь на все: на то, что тракторист Антон Пьянков женился, что опоздала на работу, что лодка, доплыв до середины пруда, казалось, застряла на воде, как во льдах.

— Хватит! — сказала она себе. — Весь берег в воду с горя не опрокинешь! — И поднялась. — Эй, вы! Примерзли! — крикнула она девчатам.

— Что, Люба, отстала? — раздался сзади мужской голос. С горы спускался Антон с веслами на плече. — Попроси меня, я тебя живо на своем дредноуте на поле доставлю!

Парень улыбался. Из-под козырька фуражки свисал на лоб светлый кудрявый чуб, ворот клетчатой голубой ковбойки был расстегнут и открывал косячок смуглой сильной груди. Она сердито отвернулась:

— Вот еще, просить тебя буду!

Антон закинул в лодку весла, отвязал ее от причала и уже без улыбки сказал:

— Ну, садись, что ли!

Любка вошла в лодку и, сердясь за то, что уступила, что не могла не уступить, проворчала:

— Молодая-то приревнует...

— К тебе?! — удивился парень и, глядя на Любку во все глаза, с силой ударил веслами. Лодка рванулась вперед и замерла. С поднятых весел звонко посыпались в воду капли.

— Греби, что остановился! — прикрикнула оскорбленная девушка. — Этак с тобой до покрова на поле не попадем... Что же, я такая, что и приревновать ко мне нельзя?

Антон все еще ошалело смотрел на нее, словно увидел впервые.

Высокая, гибкая, с мелкими черными колечками волос вокруг лба, как в венце, Любка была красива. Синие глаза ее смотрели сердито, почти со злобой.

Антон растерянно прошептал:

— Да когда же ты... Как же это?..

Еще недавно она бегала по улице босиком, неуклюжая, длиннорукая и большеротая, как птенец. Он и не заметил, как она выросла, как все в ней стало осмысленным, как длинные руки превратились в сильные и ловкие, с ямочками на локтях, а губы налились, и рот уже не казался большим.

— Греби! Лодку-то у тебя приколотили, что ли, к волне? — напомнила Любка.

Антон отвел от нее глаза и взмахнул веслами.

Девушка могла теперь смотреть на него сколько угодно.

«Ах, Тошка, Тошка! — думала она. — Зачем ты только поехал на эти курсы трактористов! Работал бы, как раньше, прицепщиком! А то вот вывез из города свою кралю на посмешище всего колхоза!»

— Что же ты Клавдию-то нашей работе не обучишь? — спросила она тихо.

Антон бегло взглянул на девушку и отвернулся снова.

— Не хочет она... — помедлив, ответил он. — Она на машинке в городе печатала... Та-ак чеканила, только стукоток шел! А у нас машинки в колхозе нет... ну и сидит... На поле не хочет... Думал я корову покупать,

и корову не хочет... В город меня тянет... На машинке она чеканит, как из пулемета!

Любка притихла: «Может, и лучше, если уедет Тошка из колхоза, не будет мучить мои глаза...» И, опять не овладев собой, спросила сердито:

— И как, думаешь ехать?

— Не знаю... может, так, а может, этак...

— Хорош ответ! — рассмеялась Любка. А хотелось ей сказать ему, чтобы не уезжал, что давно, еще когда девчонкой за мячом по улице бегала, заметила она его себе на погибель.

Продолжая тихонько смеяться, сказала:

— А мне сегодня ночь не спать — шест у двора... Повеселимся хоть с девчонками... — И мысленно спросила: «Может, придешь?», а вслух добавила: — Ну и ребята, конечно, придут, это как водится!

Антон не сказал, что придет. Он рассеянно переспросил:

— Шест у двора? Вон как, уже шест пошел, а мы еще букетировку не кончили...

«Букетировка»! Слово-то какое! Выдумают же люди!» — подумала Любка и внимательно посмотрела на Антона. Это он первый придумал пахать пойменную землю под турнепс, он высеял семена вместе с песком очень рано, чтобы до появления земляной блохи растения развились и окрепли; он придумал и эту «букетировку» — поперечное рыхление тракторным культиватором, а девчата вот теперь пропалывают. И опять с болью в сердце подумала: «А такую жену себе подобрал! Чеканила бы она в городе на машинке! Не стало тебе девушек в колхозе!»

— Стоп! Приехали! — сказала она, первая выскочила из лодки и побежала за девчатами, которые тоже только что причалили к глинистому топкому берегу.

— Ну и тащились же вы! — кричала им Любка.

Лодочник, старик с прокуренной рыжей острой бородкой, проворчал:

— Попробовала бы моих теток везти! Ты вон какая легонькая, Антону хорошо тебя такую плавить!

— Плавить! Он не солнышко, а я не свеча! — ответила Любка и оглянулась. Антон шел сзади, потупя голову, словно подсчитывая на илистой тропе следы девичьих ног.

II

Дежурить с Любкой Антон не пришел.

Еще в сумерки она вышла на улицу с колотушкой в руках, закутавшись в длинный овчинный тулуп: так уж повелось издавна, что на дежурство «под шест» все выходили на всякий случай в шубах — вдруг падет ночью заморозок, не будить же домашних, чтобы выбросили в окошко что-нибудь теплое.

Одна за другой к Любке подходили девчата, тоже одетые по-зимнему, кое-кто в валенках, и тут же скидывали шубы с плеч, сваливали их в кучу на бугорок, усаживались в ряд. Разговоры были обычные, девичьи:

— Интересно, принесет Васька гармошку или нет?

— А поработали мы сегодня на «отлично»! Еще денек, и клин-то ведь прополем!

— Заметили, девчонки, как сегодня Тошка Пьянков раз пять домой с поля уплывал?

Любка одна сидела в шубе, обняв колени, в разговор не вступала. Смешные девчата! Да как же ей не заметить, что Тошка уплывал домой?! Она заметила и то, что раз он осторожно вытянул из земли несколько корней турнепса, завернул их в мокрый платок и унес в лодку.

Весь день ломала голову Любка: для чего ему эти хилые еще растения с неразвернутыми синеватыми листиками, да так и не придумала ничего.

— Интересно, принесет Васька гармошку или нет? — все твердила Фроська Самойлова, вглядываясь в вечернюю улицу.

Любка насмешливо обернулась к подружке:

— Ты спроси лучше, сам-то придет ли?

— Что ты? Да как не придет! — замахала та руками. — Обязательно даже придет!

Была Фроська маленькая, беспокойная, с белыми, как кудель, волосами, которые одни сейчас и светлели на ее голове над темным задубевшим лицом.

— Зря ты, Фроська, с городским связалась! Вон, смотри на Тошку Пьянкова и казнись: городская-то его как изъедает! — сквозь зубы, но совершенно отчетливо произнесла в тишине Любка.

— Не наговаривай на городских! — вскипела Фроська. Белые волосы ее разметались. — По Клавдии город мерить нельзя: она и там — урод! — говорила Фрося

торопливо. — Смотри, сколь городских к нам понаехало, помогают нам, работают вместе, а где и подучивают... и нет среди них на Клавдию похожих... Мой Васька совсем не такой!

И верно: слесарь Василий Федотов, приехавший в МТС из города на ремонт тракторов, был иным. Когда не было работы в мастерской, он шел на поле, к Фросе, помогал ей, иногда выпалывал вместе с сорняками синеватый турнепс, но Фрося следила за ним и шепотом учила:

— Смотри, ты опять изъян колхозу наносишь!..

— А шут их знает, что тут турнепс, что лебеда... Ты, Фрося, говоришь, что это — турнепс? Теперь я, кажется, начинаю понимать... Буду стараться.

Темнота усилилась.

Фроська поднялась во весь рост и, прижав руки к груди, громко и гордо сказала:

— Идет!

Из-за угла показались ребята, среди них в темноте только Фросе дано было увидеть сухонькую фигурку Васьки Федотова, городского слесаря, гармониста и весельчака.

И сразу же затянули девчата свои песни.

Парни закричали:

— Крепок ли караул?

— Эй, дежурные, у Степана Ипатова баня горит!

— Вы хоть в колотушку постучите, а то мы в темноте не видим, девушки на бугре сидят или овечки траву щиплют, — смеялись ребята.

Кто-то из девушек забарабанил колотушкой.

Федотов, присев около Фроси, тихонько подыгрывал песне, а потом отставил гармошку в сторону, лег на спину, раскинувшись на чьей-то шубе, и молча слушал.

Фрося подтолкнула Любку:

— Пой!

Без густого, низкого голоса подружки песня не получалась.

Любка не пела. Она сидела, по-прежнему обняв колени, глядя на воду через пустырь, заросший крапивой.

Пруд качался в крутых берегах, черный и неспокойный, ставший ночью загадочным.

— Кого ты ждешь? Пой!

Любка не отвечала. Она вздрагивала, поднимала

голову и прислушивалась, как только раздавались на улице чьи-нибудь шаги, и снова оборачивалась к воде.

— Кого ты ждешь, Люба? — спрашивали девчата.

— Жду, когда луна взойдет... — ответила та. — Невесело в темноте...

— С лампой надо было на улицу выйти, если в темноте тоскливо...

— Это как же, с нами невесело? — возмутились ребята. — А ну, Вась, перебери лады!

Федотов быстро поднялся, рванул гармошку. Девушки запели. На этот раз песня взметнулась высоко, стройно, поплыла по пруду, затерялась в сосняке на крутом берегу и оттуда снова примчалась обратно десятками трепещущих звуков.

— Эх и поют у вас! — вырвалось у Васьки. — Нам бы в заводской клуб ваши песни!

Любка сумрачно произнесла:

— Видали? Вот тебе, Фроська, и городской слесарь! Все бы хорошее в город взял... А мы здесь и без песен радехоньки!

— Да я не про то, что ты! — смирился гармонист.— Говорю, хорошо поете... куда-то сядете! — Он и тут не мог обойтись без шутки. Ребята захохотали. Любка поднялась с травы.

— Никуда не сядем: пора с обходом... Ну-ка, где у меня колотушка-то? — Как и все, она сбросила с плеч тулуп, уложила его в общую кучу и, вооружившись колотушкой, направилась в улицу.

Хорошо идти, обнявшись с подругами, по ночной дороге, на которой тебе известен каждый бугорок, каждый поворот! Хорошо под гармошку петь песни, которыми с рождения убаюкивала тебя мать.

Огни в домах были погашены. Острые крыши, как сплошной частокол, выделялись на фоне бездонного неба.

Спит Любкин дом. Спят и старики Трофимовы, а рядом притих дом Антона Пьянкова. Белые переплеты рам чуть видны. За ними — полная тьма.

«Спят молодожены!» — подумала Любка и отчаянно забила колотушкой и запела во весь голос:

Однажды в рощице гулял я,
Где пташки порхают везде...

Только Любка могла так начать песню, что каждому легко ее подхватить, легко поднять, выкинуть слова

в синее небо и заставить их трепетать, как трепещут звезды.

С шумом распахнулось окно в доме Трофимовых, и вслед молодежи раздался высокий, дряблый голос старика:

— Эй, караульные, дайте спать!

— Принесите письменное заявление, — тут же нашелся Васька, но Любка так цыкнула, что его шутке никто не рассмеялся. Девушка отделилась от всех, вернулась к распахнутому окну Трофимовых и смиренно произнесла:

— Не будем больше, Яков Никитич, уж извините... спите спокойно... И верно: завтра у всех работа, а мы гремим!

Трудно и скучно идти по улице без шума.

Федотов нашел Фросю, они отстали и, о чем-то шепчась, шли поодаль.

Любка размеренно била колотушкой. Девчата нет-нет да и запоют, но тут же оборвут песню.

Вот и конец улицы. В темноте и не видно, как она, обогнув пруд, ткнулась на горе в пожарный сарай. Здесь ночные владения караульного «под шестом» кончаются.

Справа, под горой, замер пруд, слева стоит высокая пожарная каланча. Между нею и домами лег пустырь, и ни песня, ни пляска здесь никого не потревожат.

Любка громко запела:

Посеяли девки лен! Посеяли девки лен!

Ее немедленно окружили и, приплясывая, подхватили песню:

Девки, лен, девки, лен,
То ли се ли, ну так что ли,
Говорят, что девки, лен!

Кто-то из ребят наткнулся на водовозную бочку у каланчи, пошуровал в ней веткой тополя и начал обрызгивать девушек водой. А они себе плясали, притаптывая поляну.

— Дождь, что ли? — первый встревожился Васька.

— Ну а чего ты испугался, если дождь? Сейчас дождь — хорошо бы! Земля пить просит.

Когда поняли, что кропят плясунов из пожарной бочки, девушки притихли, некоторые, перегнувшись через край бочки, пытались достать ладонями воду. Васька сердито говорил:

— Чудно́ мне у вас все в колхозе... Пожарный сарай построили, а лошадей при нем нет; пожарнику трудодни идут, а сам он никуда не ходит, дома сидит... Случись пожар — Степан Ипатов последний о нем узнает... Ни лопат в сарае, ни ведер... Вы-то что смотрите?

Василию никто не возражал: он говорил правду.

— Пожарника надо молодого — раз! Пару лошадей надо в конюшне иметь — два! Бочки надо около каждого дома поставить, здесь они без пользы, — три.

Федотов пнул бочку. Она неожиданно опрокинулась. Остатки воды залили кому-то из девчат ноги, поднялся визг и смех. Земля с шипением всасывала воду. А бочка, полежав на боку, вдруг шелохнулась и покатилась под гору к пруду. Ребята с гиканьем побежали за ней, поймали, вкатили обратно, но кто-то из девушек слегка подтолкнул ее, и снова бочка с грохотом покатилась, теперь уже в другую сторону — к селу.

Ее догнал Васька, вспрыгнул на нее и стоя, мелко перебирая ногами, покатил бочку дальше. Девушки со смехом бежали за ним.

Около дома Степана Ипатова Васька спрыгнул, остановил бочку и поставил ее вверх дном перед окнами.

— Пусть она ему с утра завтра на глазах мозоли набьет... Может, хоть к вечеру за работу колхозник примется...

Уставшие, возвращались к дому Любки, однако нет-нет да снова кто-нибудь начинал смеяться: уж очень громыхала бочка, а завтра старик Ипатов обязательно поднимет в колхозе переполох.

— Но, ребята, держаться одного: лошадей!.. И сменить пожарника! — уже который раз убеждал Федотов.

— Эх, надо бы в бочку какой-нибудь цветок посадить...

— К воротам бы Ипатова пожарный шест приковать!

— Подождите, а где у нас полушубки?

Полушубков на пригорке не оказалось.

Ребята обшарили весь берег, заглянули в палисадники у Любкиного двора, сожгли все спички, какие были по карманам, — пропажи не нашли.

Притихшие девушки сели, прижавшись друг к другу: каждую ожидала из-за шубы неприятность в семье.

Ночь была по-прежнему темная. Начинался ветерок. Слышно было, как волны тихо плещутся о берег.

— Не верю! Нет у нас такого позора, чтобы шубы у караульного стащили... подшутил кто-нибудь... — решительно объявила Любка и сбежала на берег. Согнувшись, руками обшарила камни, заглянула под лодку Антона, опрокинула навзничь, перевернула ее. Под широким дном заскрежетали гальки.

Любка села на ту самую скамью, на которой утром сидел Антон, и прошептала:

— Узнаю я все-таки, для чего ты турнепс домой возил...

— Эй, караульная! — закричали с горы девчата. — Не ищи: в крапиве они!

Захватило дыхание: Антон! Кто мог, кроме него, выкинуть такую шутку: спрятать тулупы в крапиву? Конечно, он! Счастливая сознанием, что Антон думает о ней, что хоть и не мог выйти на дежурство, но был здесь, оставил свой знак внимания, а может быть, и любви, девушка поднялась на гору.

— Ой и перепугалась же я! — сказала она и рассмеялась.

Фроська, уже одетая в шубу, обхватила ее, закутала в длинные полы, закружила и, играя, шепнула:

— Не о том ты думаешь, дорогая!

— А о чем это? — сразу стала серьезной Любка.

— Ой, не хитри! Примечаю...

Любка повалила подружку на траву, не дав ей досказать. Они барахтались и взвизгивали, подминая друг друга. Кто-то крикнул:

— Куча мала! — Девчата навалились на них, образуя живой ком.

Выбравшись наверх, Любка кричала:

— У нас на бугре завтра лен вырастет от Фроськиных волос — я ей все космы выдрала!

Уходя вместе со всеми, задохнувшаяся и разгоряченная, Фрося успела-таки шепнуть:

— Ладно... Я тебе первой обо всем говорю, а ты — таишь!

— Не знаю, о чем ты...

Любка не увидела, как подруга погрозила ей пальцем.

Ночь под утро стала еще гуще. В лесу, за прудом, громко прокричала какая-то птица. У правления ударили

часы: один, другой раз. Мягкий гул колокола донесся как из-под земли.

«Не придет... Уже два часа... Ни за что не придет...» — подумала Любка и запела, чтобы не заплакать. Но тут же смолкла: ей показалось, кто-то идет по дороге. Шаги приближались. Девушка вскочила и вся подалась вперед, навстречу.

— Любушка, — раздался в темноте голос матери, — где ты тут?

Любка вновь села на траву, закутавшись в тулуп.

— Любушка, иди, мила дочь, сосни хоть немножко, я додежурю...

— Нет, мама, нет! — испугавшись, зашептала Любка. — Что сама-то не спишь?

— Я поспала... — Мать присела на сухую примятую траву, погладила дочери плечо. — Ты хоть часика два отдохнула бы, а то как завтра работать-то будешь?

— Я буду работать, мама... Я, когда озлюсь, ох и работаю!

— А на что это ты опять у меня озлилась? — печально спросила мать.

Любка помолчала, прислушиваясь к темноте. Никто не шел. У избы стучали ставни да поскрипывала скворечня.

— Скажи, на что? — нежно настаивала мать.

— А знаешь, все-таки много еще у нас в колхозе беспорядков, мама. Вот, смотри, пожарный сарай построили, старик Ипатов трудодни получает, а пожары не караулит... Случись пожар — ни лошадей готовых нет, ни лопат! Ну, ничего! Надо обязательно перед каждым двором бочку с водой... — Неожиданно громко Любка загремела колотушкой.

Мать вздрогнула, отшатнулась.

— Ты хоть бы потише, люди спят...

— Пусть не спят! Пусть знают! А ты иди, мама, спи... Я сама... Я вот обход еще сделаю... А ты иди, иди...

Обходя еще раз улицу, Любка снова поглядела на окна пьянковского дома. Темнота так сгустилась, что белых переплетов рам было не видно. Любка прошла мимо, честно покружила вокруг зернохранилища — не прячутся ли за ним ребятишки с табаком? Вытягивая шею, заглядывала в огороды — не горит ли, в самом деле, у кого-нибудь баня?

У пожарной каланчи девушка нашла место, где стояла водовозная бочка. Земля под днищем гладкая, обрамленная ровным кругом густой травы.

Внимательно озираясь, Любка направилась обратно, погремела колотушкой у дома Ипатова, стукнула черенком о пустую огромную бочку и удивилась тяжелому гулу, какой пошел от нее.

Около дома Антона Пьянкова она также остановилась и подняла колотушку, чтобы постучать, но, вглядевшись в окно, опустила руку: в темном провале был виден яркий красный огонек от папиросы.

Закрыв лицо ладонью, Любка быстро отошла от окна и села на свой пригорок, обняв колени и опустив голову на руки.

«Не спит!» — думала она, не понимая сама, чем это радует ее.

Ветер шумел в полный голос — в верхушках тополей в палисаднике, в зарослях крапивы на пустыре. Волны хлестали берег, шумя галькой.

«Вот сейчас бы и пришел... — думала Любка — Ведь поговорить тебе со мной хочется...»

Сколько сидела так, спрятав лицо в колени, она не знает, но, подняв голову, увидела за темной кромкой леса, на небе, голубую нежную полоску. Полоска ширилась и светлела. Вот и верхушки сосен порозовели, и на присмиревший пруд легла широкая зорька.

Любка поднялась, поглядела вдоль улицы, утонувшей еще в сизых сумерках, и сказала:

— Не пришел! Не спал, а не пришел! Так я к тебе приду, подежурим вместе! Ведь к женатому парни не ходят...

Можно было уже идти спать, осталось только перенести шест к соседям.

«А что, если... — вдруг подумала Любка, и ей стало весело. Взяв смолянистый шест, она пронесла его, минуя соседей, и поставила к воротам дома Антона. — Не к чему откладывать: дежурь завтра!»

Ладони прилипли к шесту, на них осталась смола. Любка вытерла руки о траву и направилась было к дому, но у Трофимовых в окно высунулась Анна, сухая старуха, и закричала:

— А чего шест мимо нас пронесла? Мы заразные, что ли?

Вспомнив, как с вечера отругал дежурных за песни

сам Трофимов, Любка проворчала про себя: «Не спится им!» — вслух сказала:

— Я старость вашу пожалела, — и сразу же поняла, что не должна была этого говорить — старуха высунулась из окна еще больше, побледнев от негодования:

— Ставь шест по закону! Придумала: старость! Сама такой будешь!

Девушка, не глядя в окна пьянковского дома, взяла шест, отнесла его к дому Трофимовых. Старуха следила за ней злыми глазами.

— Дежурьте! Для вас лучше хотела сделать, а вы...

— Это ты нас спроси, что нам лучше! — проворчала старуха и захлопнула окно.

Любке хотелось заплакать, но, посмотрев на пруд, она увидела, что заря охватила всю воду, только у берегов оставила прозрачную, стеклянную зелень, играла на мелкой ряби, золотила примятую на пригорке траву и крапиву на пустыре.

Кусты крапивы показались Любке невиданно красивыми. Жгучие беловатые побеги вились, как кружево, сплетали длинные метелки цветов и стебли. Любка поглядела на тихий дом Антона Пьянкова, на эти недвижные, словно заколдованные заросли и, громко рассмеявшись, открыла калитку своего двора.

III

Смола с ладоней не смывалась. На следующий день они почернели от земли. Мать советовала Любке вымыть руки в горячей воде, та отказалась, то и дело поднося руки к лицу и вдыхая запах сосны, а горячая вода в умывальнике остывала. Мать не в силах была понять, что делается с дочерью.

Вот Любка отодвинула от себя ужин, убежала во двор, забрякала ведрами. Мать вздохнула:

— Измотается девка. День на поле, вечером, не поест как следует, бежит поливать огород... А воду в гору носить — не веники вязать, тяжело... Но и то верно: всякая работа Любке будто праздник!

Девушка полила огурцы, полила морковь и капусту и снова несла воду, теперь уже в палисадник, для цветов.

Анна Трофимова вышла дежурить «под шест», одетая в белый тулуп, села на пригорок. Вот к ней подсел

и Яков Никитич, тоже в полушубке и в валенках, и сидят они, привалившись друг к другу, как два березовых обветшалых пня.

Каждый раз, когда Любка поднимается с водой в гору, ее встречают две пары глаз, одинаково обесцвеченных и слезящихся.

— Рабóтенка! — говорит старая Анна. — Воду на коромысле несешь — капли не обронишь! Устинье с такой дочерью радость: смотри, вся поливка лето-летенское на тебе... Не убили бы в войну нашего Николая, другой бы жены ему не искать!

Какой девушке похвала не приятна?! Любка улыбается, слушая болтовню старухи, и думает: «Видать! Только для меня и женихов, что ваш Николай... Ему сейчас, наверное, уж под сорок было бы!» — И посмотрела на острую крышу пьянковского дома. Вода в ведрах заколыхалась, заплескалась. Девушка оглянулась на стариков: не увидели бы.

Не успела она донести воду до палисадника, как ее остановил теперь сам Трофимов.

— Нашли ночесь полушубки-то? — спросил он и, подтолкнув жену, сообщил с озорным смешком: — Это я ведь у них вчера полушубки в крапиву забросил! Было у них страху-то! — И дробно, с видимым удовольствием захохотал.

Любка почти с ненавистью глянула в розовое, как будто младенческое, лицо старика и прошла мимо.

Дома она нагрела воды и тщательно, до боли, отмывала, казалось, вросшую в ладони смолу.

Взошла луна. Из-за косяка окна прокрался в избу зеленоватый луч и лег на пол, у Любкиных ног.

Девушка поглядела в окно на прижавшихся друг к другу дежурных и сказала матери:

— Такая ночь нелюдям досталась!

— Ой, девка, высоко паришь! — с укоризной воскликнула Устинья.

Любка долго молчала, сидя у окна. Ей был виден весь светящийся пруд, точно затянутый измятой фольгой. Заросли крапивы стояли на пустыре не шевелясь и казались отлитыми из стекла.

Неожиданно девушка попросила:

— Дай мне вачеги, мама...

— Это зачем еще?

— Надо.

Мать не спорила. Пошарив на печи, подала огромные овчинные рукавицы.

— Не ознобись только...

Через минуту Любка летела уже мимо окон, к пустырю, с косой на плече. Лезвие косы тускло поблескивало.

Устинья, довольная, проводила дочь взглядом:

— Никак крапиву косить пошла умница, а я-то и не догадываюсь, что она задумала...

Любка косила крапиву со злобой. Толстые затвердевшие стебли с хрустом ломались и падали рядком.

К старикам Трофимовым собрались колхозники с улицы. Любка приостановилась и, опираясь на косу, передохнула.

Говорили, что надо увеличить площадь под посевы корнеплодов. Слышался голос Трофимова:

— Увеличить площадь хорошо бы... да ведь это труда стоит... А на работу-то у нас не все легко набрасываются... Вон Степан Ипатов жизнь прожил, а так ни разу и не вспотел!

Любка улыбнулась про себя: они с девчатами и на прежней площади дадут урожай — все руками разведут! Земля под турнепс была подготовлена по всем правилам. Только новое правление не смогло вовремя закупить суперфосфат и фосфоритную муку, и это задержало работу бригады. Она хотела было отставить косу, подойти к дежурным и рассказать об этом, но начал говорить Антон Пьянков, и Любка остановилась.

— А вот отдельные члены правления поймы под сенокос берегут, это совершенно напрасно. Отвели один пойменный участок под турнепс, а на остальных камыш косить будут да резун: то-то ли не корм! Коров да свиней прикупаем, пусть камыш едят! А вспахать бы все поймы под корнеплоды — была бы польза! Я ручаюсь, вот с той поймы нынче мы пятьсот центнеров турнепса возьмем... Вот и смотрите, что выгоднее!

Председатель колхоза тоже подошел к караульным посумерничать.

— Готовьте пойменные земли под пашню... отдадим... — говорил он.

Любка подумала: «Ко мне на дежурство так никто из взрослых не завернет... Ладно, вот дойдет шест до нас, я всю ночь песнями спать никому не дам!»

Она скосила все сорняки. Надев рукавицы, охапка-

ми стаскала их под гору и начала выпалывать корни крапивы и сбрасывать туда же, на берег.

Колхозники расходились. Ушел и Антон. Любка проследила исподлобья, как он дошел до дома, постоял у ворот и словно нехотя открыл калитку.

Ее неожиданно окрикнул председатель:

— На пару бы слов мне тебя, Смолякова!

Девушка выпрямилась. Высоко поднимая ноги, перешагивая через кучи вырванных корней, председатель близко подошел к ней.

— Это ты хорошо придумала, пустырь-то почистить! Тут можно картошку посадить...

Любка проворчала:

— Нет чтобы сказать: тополей насадим да скамейки вроем, а то вот дежурные «под шестом» на земле сидят!

Председатель рассмеялся. В темной окладистой бородке блеснули крепкие зубы.

— Можно и скамейки, спору не будет...

Любка ждала, что он скажет еще: не для похвалы же позвал ее, и насторожилась, когда он тихо начал:

— Ты, девушка, зачем озоруешь?

— Это что я опять сделала?

Председатель погрозил ей пальцем:

— Знаешь сама! Вечор бочку водовозную к Ипатову под окна скатили для чего?

— Кто это скатил бочку?

— Знаешь кто! И Ипатов обижается: над старостью, говорит, моей смеются!

— Больно рано он в старость-то уходит! Пожарником работать и ребенок может! — начала Любка. — И вообще много у нас еще в колхозе беспорядков, Илья Назарыч!

— Говори...

— А что говорить! Зернохранилище поставили у воды: зерно сыреет... Это еще старого правления грешки!

— Знаю. Зернохранилище к осени решено перенести. А еще?

— Сарай пожарный построили... Ипатову трудодни дали, чтобы пожары караулил... А он караулит? И правильно ему под окна бочку скатили: пусть помнит! Тоже мне! Воду у каланчи держит! Случись пожар, что он с этой водой делать станет? Бочки надо у каждого двора... и пожарника молодого... Вон, поставьте Антона Пьянкова: он любой пожар притушит!

— Об Антоне Пьянкове у меня с тобой другая речь будет...

Любка притихла и хмуро посмотрела председателю в глаза. Он оглянулся на Трофимовых и приглушенно спросил:

— Ты у него, девушка, для чего семейную жизнь разрушаешь?

— Вида-ать! — удивленно протянула та. — И разрушать-то нечего: подуй ветерок — она и без меня разрушится, не жизнь, а карточный домик! И откуда на меня такая напраслина? — Любка задохнулась от обиды.

— Напраслина, говоришь? А вот колхозницы видели, что и на лодке ты с ним частенько плаваешь... Для чего тебе это?

— Ах, Илья Назарыч, Илья Назарыч! — Любка укоризненно покачала головой. — Напраслину про девушку сказать легко! А если сам председатель колхоза худую славу пустит — ветер подхватит и разнесет... Да чтобы я у них жизнь разрушила! Я на него и смотреть-то не хочу! Я вон сегодня даже прозвище ему дала... Ох, вовек не забудет!

— Какое еще прозвище?

— А такое вот! Да что вы, право: как два часа пройдет, так он и с поля долой, как два пройдет, так и долой! Все к своей городской плавает! Ну, как кормящая мать в ясли! Вот я и сказала: «Не тракторист, говорю, а кормящая мать!» Было у нас смеху-то!

Любка лгала: прозвище Антону пришло в голову только сейчас, неожиданно для нее. Девушка хохотала:

— Ой, умру! Ну, верно, Илья Назарыч, как кормящая мать!

Председатель и сам не мог удержать улыбки. Однако еще раз погрозил пальцем:

— Что-то, я смотрю, смех-то у тебя невеселый! Не заплачь! Я предупрежденье сделал, а там на себя надейся!

— Не беспокойтесь, Илья Назарыч, со слезами к вам не приду!

Как только отошел председатель, Любка прежде всего внимательно поглядела на Трофимовых: не слышали ли они разговора. Те сидели, прижавшись друг к другу, словно оледеневшие в своих белых тулупах, только дрожащие голоса делали их живыми. Старик говорил:

— Ты, Анна, смолоду-то у меня больно хороша была!.. На работу — лютая!

— Я и сейчас...

— И сейчас... Так ведь и я еще, если захочу, смогу, как петух крылом, пыль около тебя пустить!

Любка невольно прислушалась к нежному лепету стариков, посмотрела на луну, величаво застывшую в серебряном небе, и рассмеялась: «Вот, корявая, что делает: таких мухоморов расшевелила!»

Старики еще что-то говорили невнятное, словно бредили. Неожиданно тишину ночи прорезал громкий женский плач, точно выли по умершему.

Трофимовы всполошились, вскочили! Плач несся из дома Пьянковых. Старик сказал:

— Никак Антон свою молодуху учит...

Старуха отозвалась:

— Пусть поучит маленько... Ее поучить надо!

И вновь сели они рядком, прижавшись друг к другу, и Любка услышала, как Анна зашептала:

— А помнишь, Яков, как...

Мысль, что Антон может бить жену, ошеломила девушку, как несчастье.

В доме Пьянковых все еще слышались рыдания вперемежку с укорами. Любка тихо прокралась и уселась на завалинке их дома, думая об одном: «Не может того быть! Не верю!» — и скоро поняла, что Клавдия плачет не от побоев, а от обиды. Она кричала:

— В городе не жилось тебе! Я думала, в деревне у вас хорошо, а здесь ни портнихи настоящей, ни парикмахерской! Полное бескультурье! А ты траву мне с поля возишь! Да неужели ты думаешь, что я и в самом деле пойду вам полоть турнепс?

— Прособиралась! Сегодня девчата полотье окончили! — резко сказал Антон.

— Так ты ведь мне опять занятие найдешь: не полотье, так колотье! И зачем я с тобой связалась! — визжала Клавдия.

Любка думала: «Эх, Тошка, Тошка! Она у тебя не только на машинке, а и языком хорошо чеканит!»

Клавдию перебил чей-то другой мужской голос. Любка насторожилась. В избе Пьянковых находился Васька Федотов. Он говорил:

— Всему нашему заводу за тебя, Клавка, стыдно! Люди работы оставляют, квартиры, родню всю в горо-

де — сюда едут колхозам на помощь! А тебе и бросать-то нечего было, кроме перманента. Ну, давай я тебя завивать буду! Такие рога закручу, что хоть землю лбом рой!

— Пошел к черту! — кричала Клавдия.

— Да уж зачем к черту, раз я к такой ведьме попал! Замуж за передового колхозного парня выскочила да и позоришь его! Нам всем перед колхозниками стыд! Он тебя в лучшую девичью бригаду устроить мог, вместе с моей Фросей... Турнепс тебе возил, показывал... Один бы раз ты только с девчатами в поле вышла — вовек бы с ними не рассталась! Колхоз знаешь их как ценит!

— Я не за колхоз замуж шла, а за него вон, дурака! Его оставляли в городе механиком работать, культурно, так не захотел! Здесь и людей-то порядочных нет!

— Бездельница ты, вот что! — не унимался Васька. — Ах, ручки землей запачкаю! Ах, муж с работы грязный пришел! Ах, кудри измяла! В городе ты только кудри и делала, а здесь люди жизнь делают! Да ты все равно ничего не поймешь!

— Ты, Василь, шел бы домой: совсем мою Клавку уничтожил! Она поймет! — проговорил Антон.

Клавдия заплакала сильнее, как ребенок, которого пожалели после ушиба.

Любка вскочила. Ей и самой захотелось громко завыть, чтобы в плаче вылить горечь обиды, которая стеснила сердце.

Девушка не могла бы сейчас сказать, что сильнее обижало: то, что Антон любит не ее, или презрение Клавдии к людям колхоза, к их труду.

— Эх, Тошка, Тошка! — шептала она, тихонько пробираясь к своему дому. Около калитки Любка остановилась, сама не зная почему, погрозила луне кулаком и вошла во двор. Вслед ей несся тихий, как шелест, голос:

— А помнишь, Анна, как мы с тобой...

IV

Утомительным и длинным был для Любки следующий день. Она не разговаривала и не пела с подругами, работала не отрываясь, думая все об одном: как выйдет сегодня на дежурство к Антону, что ему скажет.

На поле его не было: девушки окучивали за прудом картошку; ждать, как бывало, что Антон пройдет мимо, может быть, взглянет в ее сторону, не приходилось.

Над полем стояла пыль. Побеспокоенная окучниками земля коптила, будто тлея под солнцем.

Фроська шла рядом, следя за каждым движением Любки, и Любке казалось, что стоит ей посмотреть подруге в глаза, как та сразу поймет, что делается в ее душе.

Она низко, до самого носа, надвинула платок и видела из-под него только хрупкие кусты картошки, землю, покрытую тонкими трещинами, как морщинами, да острый, быстро мелькавший окучник.

И потом, когда кончили работу и девчата побежали к пруду купаться, Любка держалась поодаль. В воде она не играла, не шумела, не брызгала на подруг теплыми каплями, а тихо уплыла от них почти на середину пруда.

На берегу Фрося шепнула:

— Ты пой хоть, а то все замечают...

— Что? — Любка впервые взглянула подруге в лицо. — За мной и замечать нечего...

Увидя во взгляде Любки глубокую боль, Фроська припала к ней, со слезами произнесла:

— Неужели он такой бессердечный?! — и увидела, как губы у Любки побелели и вздрогнули.

— А чего от него ждать: он женатый... Это я бессердечная, что полюбила... Но я, Фрось, честное слово, и вида ему не покажу... — быстро проговорила Любка и отвернулась, жалея о том, что сказала.

— Эх, — махнула Фроська маленьким кулачком. — Жаль, что сегодня у меня тоже пожарное дежурство в улице, а то пришли бы мы с девчонками к Антону «под шест»... может, я и выведала бы, что у него... Ты ко мне придешь или... К нему ты не ходи, Люба, не надо: слава пойдет...

— Знаю!

— Приходи ко мне, попоем... Пусть до него хоть голосок твой по пруду перекатится!

— Приду...

На своей улице Любка догнала Степана Ипатова. В валенках, еле волоча негнущиеся ноги, как опоенная лошадь, он шел, окруженный облаком пыли, останавливался против каждых окон и кричал:

— Приказано выставить бочки с водой к воротам, чтобы к завтрему... на случай... я, как пожарник...

Любка не удержалась и громко сказала Ипатову под самое ухо:

— А ты ведь, Степан Кириллыч, горишь! Смотри, тлеешь, дым от тебя! Покатайся на травке, может, потухнешь!

Тот, не понимая, кивнул головой:

— Правление приказало!

Еще не доходя до дома, Любка увидела на пригорке одиноко сидящего Антона. Она проскользнула мимо, наспех поужинала и занялась поливкой огорода.

С пустыми ведрами идти легко не потому, что они пустые, но и потому, что Любка видела только спину дежурного, могла идти медленно, разглядывая в парне каждую мелочь.

Тот вышел без шубы. На остром сзади воротничке ковбойки недоставало пуговицы, воротник поднялся кверху, словно прицеливаясь, и, всякий раз идя за водой, Любка смотрела на этот воротник да на загорелую сильную шею. Волосы Антона выгорели, стали похожи на залежавшуюся ржаную солому.

Труднее подниматься в гору: можно встретиться взглядами, а Любка поняла, что ей лучше никому не смотреть в глаза, что глаза предают сердце.

Ведра в этот вечер болтались и вздрагивали на плечах, вода выплескивалась, точно ее выбрасывали на пригорок пригоршнями, и от этого Любка чувствовала себя еще более скованной.

Однако, раз взглянув на Антона, поняла, что ей нечего бояться: он все время смотрел в сторону очищенного пустыря и тихонько что-то насвистывал, как будто и не сновала то и дело мимо него Любка.

Так она разглядела, что темный косячок груди, видневшийся в распахнутый ворот рубашки, стал еще темнее, что на манжете одного из рукавов также нет пуговицы и он шевелится, как крылышко пестрой птички.

Уже была полита в огороде вся мелочь, а Любка носила и носила воду, заливая гряды. Земля не принимала влагу, на грядах образовались тоненькие, как пробор в волосах, ручейки и стекали в борозды. Босые ноги девушки запачкались.

«Весь пруд ведерками вычерпаю, пока ты мне хоть

слово не скажешь!» — думала она, глядя на упрямый затылок Антона.

Прибежала Фроська и снова начала упрашивать подругу с ней подежурить.

— Я вместо себя там Ваську пока оставила с ребятами... Петь охота, а голосами только с тобой спелась! Пойдем!

Ее громкий шепот, раздавшийся во дворе, услышала из сеней старая Смолякова и вышла на крыльцо.

— Придет она, Фрося! Вот только еще бочку к воротам воды наносит...

Любка с благодарностью глядела, как мать выкатила из амбара на улицу прямую высокую бочку.

— Приду, Фрось, иди дежурь!

Фроська ушла не сразу. Она томительно долго рассказывала о том, как к Ваське Федотову приехала из города мать, как сняли они дом вдовы Потряхиной, как мать приходила к Фроське знакомиться и говорила о скорой свадьбе.

— Вот осенью, только хмель соберем, так и свадьбу сыграем...

Наконец Фрося ушла.

На пригорок собрались колхозники. Любка, различая среди них пеструю ковбойку, думала ласково: «Ах, Тошка! К тебе и взрослые собираются...»

— Дождя бы! Землю-то хоть руби! Неделю не смочит...

— Электричеством надо поливать... Говорят, в один час все поля окропить можно! — слышала Любка отдельные голоса, неся воду теперь уже в бочку и ожидая, когда же Антон останется один.

Как и вчера, взошла луна, освещая все вокруг неживым, тусклым светом. Волосы на голове Антона стали серыми.

Как только он остался один, Любка, внутренне собравшись вся, снова пошла за водой: бочку она намеренно не долила еще на пару ведер.

И теперь Антон не обернулся к ней, пропустил мимо, под гору, и снова смотрел на пустырь, когда Любка поднималась с водой. Около него девушка остановилась, разбросав руки, как крылья, по коромыслу, успокоила вздрагивающие ведра и тихо спросила:

— Что же один караулишь? Старики Трофимовы и те вчера — на пару...

Антон неприветливо взглянул на нее:

— Я с тобой и разговаривать не хочу!

— Что так? — уже с вызовом громко спросила Любка.

— А вот то! Ты за что меня на всю жизнь «кормящей матерью» наградила?

Любка смотрела в его опечаленное лицо и думала: «Да ведь это не главное для нас с тобой! Неужели ты не понимаешь?»

Набравшись сил, она хотела так и сказать: «Это ли главное?» Но окошко ее дома раскрылось, и Устинья с гневом крикнула:

— Любка, домой!

Девушка вскинула голову и пошла от Антона, затянув озорно и страстно:

Проводи, милый, до дома
И послушай у окна,
Как родима моя мамынька
Ругает за тебя!

И резко обернулась: ей показалось, что в песню вмешался голос Антона, тоскующий и большой:

— Люба!

Однако парень сидел, повернув к пруду лицо, и курил. Белый дымок, как легкое облако, окутывал голову и тут же исчезал.

Любка песней не ошиблась: мать встретила ее в избе бранью.

— Вот что, мила дочь, — сказала она сквозь зубы, — я троих замуж с честью выдала, ни одна из них на женатых не заглядывалась, и ты мою седую голову не позорь! Я смотрю, ты вся истрепыхалася!..

Любка села у раскрытого окна.

Антон все курил и курил, глядя на дрожащий под луной пруд.

— Отойди от окна, я тебе сказала! — прикрикнула мать.

— Что-то тебе на печи проезда нет! — огрызнулась Любка.

Откуда-то издалека приближалась под гармошку песня. Ее вели одни мужские голоса, казалось, кто-то взмахивал темным платком.

Любка, неотрывно следя за Антоном, видела, как он встрепенулся, поднялся во весь рост, широко расставя ноги, повернул лицо навстречу песне.

«Что же он? — с тревогой думала девушка. — Ему давно с обходом пора...»

На соседнем пригорке, по ту сторону пустыря, показались ребята. Васька Федотов быстро подошел к окну, у которого сидела Любка.

— Я тебя по глазам приметил, — зашептал он. — Блестят, как светлячки... Что же ты не идешь, Люб, девчата ждут...

Мать стремительно отпихнула Любку от окна.

— Никуда она не пойдет, молодец хороший: держать себя не научилась!

Васька молча махнул Любке рукой и отошел к ребятам, которые, окружив Антона, закурили.

«Его ни холостые, ни женатые не обегают...» — подумала Любка, снова усаживаясь у окна, однако мать так прикрикнула на нее, что она молча разделась и легла в прохладную постель.

Вскоре у ее окна тихо простучала колотушка.

Хотелось вскочить, побежать на эти призывные, как ей казалось, звуки, но мать за перегородкой негодующе заворчала:

— Стыда нет у мужика; женатый, а у девичьих окон гремит!

Любка притихла, лежала не шевелясь. На полу у ее постели ясно отпечаталась тень цветка, стоящего на открытом окне. Мелкие листы шевелились, будто подмигивали.

— Все равно не усну! Ни за что не усну, пока Антон еще не постучит...— прошептала Любка и уснула сразу же, точно провалилась в темную яму.

V

А шест себе гулял и гулял от двора к двору. Гулял все медленнее, задерживаясь кое у кого на несколько дней, так как шли дожди.

Девчата теперь работали на сенокосе, сушили и сгребали сено, торопясь успеть от дождя до дождя.

Каждое утро, направляясь на работу, Любка считала про себя, сколько же домов осталось от шеста до ее двора. Хотелось просто подойти к нему, взять в руки и унести, а потом целую неделю вдыхать исходящий от ладоней смолянистый его запах. Но девушка знала: унести шест не позволят.

Каждое утро ей хотелось хотя бы просто подержать шест в руках.

Однажды, еще до работы, сгоняя корову к стаду, Любка так и сделала.

Она кралась к шесту с оглядкой, чтобы никто не увидел. Но, взяв его в руки, невольно вскрикнула: шест стал сухой и легкий, не пачкал смолой руки, ветки, оставленные на верхушке, не топорщились в разные стороны и не хватали солнце — они высохли, обсыпались и походили на грязное помело.

«Не шест, а хворостина, хоть коров им гоняй!» — подумала Любка. Она не могла бы объяснить, почему это ее огорчило: не от жалости же к шесту отчаянно заколотилось сердце.

Загон, куда она гнала корову, находился сразу за селом, между кладбищем и станцией.

Смоченная дождем дорога тяжело поднималась в гору, слегка курилась парком, просыхая. Солнце вставало над ней, спокойное и белое, словно и его промыл и освежил крутой дождь.

Маленькая пестрая корова, красная с белым, то и дело оглядывала молодую хозяйку большими печальными глазами, мычала и снова шла, казалось, торопясь попасть вовремя в свой загон.

Впереди на дороге, у редкой кромки леса, за кладбищем, Любка увидела странный воз. Он полз медленно, какой-то белый узел то и дело сваливался с него. Стройная нарядная женщина хватала узел с земли, громоздила на воз и, подпирая его руками, подталкивая, мелко семенила следом.

По яркому платью, по этой семенящей походке узнала Любка Клавдию Пьянкову. Бегом догнав воз и шагая с женщиной рядом, спросила, задыхаясь от тайной надежды и радости:

— Куда это собралась?

Клавдия посмотрела на нее черными навыкате глазами, приподняла округлые жидкие бровки.

— Уезжаю...

— А муж как?

— Что муж? Муж сам по себе, я сама по себе!

Белый узел вновь скатился с воза. Клавдия бросилась к нему. Воз продолжал двигаться, скрипя колесами.

Тяжело дыша, Любка проследила, как женщина забросила узел на середину воза, как маленькими рука-

ми поправила кудри на голове. Необъяснимый гнев поднимался в сердце девушки. «Вот она, моя соперница! — думала Любка. — Вся на виду! Стоптала мою жизнь, жизнь Тошки да и себе... а теперь — в кусты». Подавив готовый вырваться крик, спросила:

— А из-за чего это? Чего не поделили?

— Антона здесь дом держит, вот что... о жене не думает... А я губить себя в деревне не желаю... — опять вскинув круглые бровки, не задумываясь, ответила Клавдия.

Не в силах больше сдерживаться, Любка с вызовом спросила еще:

— Дом ли один Антона здесь держит?

Неожиданно для себя она оторвала руку Клавдии от тележки, резко повернула женщину:

— Посмотри! Вот что его держит! — И широко повела вокруг взглядом. Клавдия удивленно посмотрела вначале на побледневшее лицо девушки, затем огляделась кругом.

Все село лежало перед ними. Улицы то сбегали с пригорков, утопали в сиреневых ложбинах, то гордо поднимались вверх, широкие и прямые. Из труб над крышами вился в голубое небо белый дым. Далеко за домами блестел пруд, в котором в этот час уже купалось солнце.

Из домов на улицы выходили люди, собирались кучками, цветастые платки и кофты мелькали всюду, как маки, откуда-то уже лилась спокойная привольная песня.

— На работу идут... — нежно прошептала Любка. — Хлеб идут делать! Вот что держит здесь твоего Антона.

И не соперница стояла сейчас перед девушкой. Стояла женщина, растерянная и жалкая, с выщипанными бровками. Она заблудилась, не узнав цену труда, цену земли и пота!

— Уезжай! Бросай нас! Купишь в городе булку хлеба — кушай на здоровье! — с поклоном говорила Любка. — Но с каждым куском пусть тебя думка тревожит: это мы для тебя кусок вырастили! — звучали гневные слова девушки.

Клавдия ошалело посмотрела на ее лицо и бегом пустилась догонять свой воз. Любка, забыв о корове, которая щипала в лесочке траву, бросилась за женщиной, забежала вперед и насмешливо прокричала:

— А я-то думаю, на каком рысаке ты гонишь!

Впрягшись в оглобли, тележку вез Степан Ипатов, бороздя негнущимися ногами влажную дорогу, заливаясь пóтом.

Увидя перед собой Любку, он остановился, перевел дух.

— А мне говорили, что ты за всю жизнь ни разу не вспотел, Степан Кириллыч, чего не наскажут люди! — кричала девушка. — Смотри-ка весь пóтом изошел! Куда гонишь? На станцию?

Как все глухие, старик следил за губами Любки, силясь понять слова.

— Не-ет, — возразил он, — на станцию!

— Ну-ну... Много ли заработал?

Это старик понял. Он порылся в кармане брюк, извлек бумажку, любовно развернул ее:

— Вот она, десятка!

— Ну, обратно повезешь узлы, еще десятку заработаешь, вот, глядишь, к трудодням разоставок! Давай-ка поворачивай!

Из-за воза выскочила Клавдия, оттолкнула Любку от старика, сама вместе с ним взялась за оглобли, и воз скрипя тронулся дальше.

Девушка кричала что-то вслед.

Слезы негодования выступили у нее на глазах. Ноги дрожали, словно после целого дня косьбы. Она забыла о корове, которую кто-то из хозяек уже погнал по пути к загону, забыла обо всем, кроме нанесенной колхозу обиды.

— Она губить, вишь, себя не желает в деревне! А того не знает, что и в городе давно истлела.

Словно встав после тяжелой, затяжной болезни, плелась Любка обратно к селу.

Дорога все еще курилась легким парком. Солнце отражалось в стеклах домов, слепило глаза; печной дым выдувался из труб и белыми трепещущими столбами подпирал небо; брякали скобки ворот, то и дело отчаянно перекликались петухи. Все было дорого сердцу Любки. Девушка еще раз обернулась вслед тележке, искренне жалея Клавдию: пропустила мимо себя такую красоту...

Мало-помалу приходя в себя, Любка шла все увереннее и быстрее, кивнула шесту у чьих-то ворот, как заговорщица, прищурившись, посмотрела на солнце, которое

уже утратило свою белизну, краснело, точно созревало, наливалось соком земли.

Антон Пьянков стоял у своего дома, курил и хмуро смотрел на дорогу. Глаза его ввалились, лицо пожелтело.

У Любки стукнуло и куда-то провалилось сердце: она совсем забыла об Антоне. Все, что пережила она в это утро, было бо́льшим, чем чувство к этому парню, которое столько времени грело ее. И вот сейчас она снова поняла, что есть еще Антон Пьянков, механик МТС, и что ему сейчас тяжело.

Но Любка поняла также, что все слова, какие может она сказать ему, малы и не выразят всего и его не утешат.

Девушка склонила перед Антоном голову и прошла мимо.

1954 г.

ВДОВА

I

Ветер и дождь хлестали крышу, срывали ставни и никак не могли сорвать, кидались в стекла, шлепали по лужам.

Порой они отпускали дом вдовы и уносились прочь. В избе становилось тихо.

Но снова мчался обратно ветер, ухал в трубе, играл на дворе с молодой осинкой, сильнее и проворнее плясал вокруг дома дождь.

В окно сбоку видела Катерина край черного неба, по которому свивались тучи и налегали на землю одна за другой. Казалось ей, что улица за окном вздрагивает и плачет; казалось, в горнице осторожно ходит погибший в войну муж, тихонько покашливая. Это не вызывало у женщины ни страха, ни радости. Она мысленно упрекала его:

«Хоть бы ребеночка оставил... А то не живу я — тень отбрасываю, себя пестую... Замуж теперь не выйдешь: девкам женихов мало...»

Совершенно отчетливо встало перед ней лицо мужа с ласковыми, всегда зовущими глазами. «Сейчас бы подошел ко мне и спросил: «Ну-ка, где ты тут у меня?»

А ночь все висела над избой, бесноватая и черная. Во дворе что-то с треском рушилось, гудело, стонало.

— Дождик-то как нанялся к нам...— сказала Катерина, чтобы услышать свой голос.

Слабый рассвет проклюнулся в окна. Вот уже видны стали белый угол печи с приступком, полоски половиков, лежащих накрест, цветы на окнах.

Сквозь дождь и ветер почудилось Катерине, что в сени кто-то стучит. Она вскочила с постели, быстро оделась, переплела косы. А стук, властный, хозяйский, не прекращался. Может, кто-нибудь из приезжих: правление колхоза иногда ставило в дом вдовы квартирантов.

Мысль, что она в эту тягучую ночь будет не одна, радовала Катерину. Она выбежала из избы, не спрашивая, открыла сени. В чуть светлеющем провале дверей встал небольшого роста широкоплечий человек, тяжело переваливаясь, ступил за женщиной в комнату и молча начал стягивать с себя мокрый плащ.

Катерина включила свет. Пока она прикрывала постель, человек с улыбкой следил за ней.

Это был парень лет тридцати, с одутловатым румяным лицом. Серые наглые глаза не понравились Катерине.

— Кто такой? — спросила она сухо.

— Я Пашка-моряк, понятно? — ответил парень, продолжая откровенно разглядывать женщину. Взгляд его останавливался то на полной ее груди, то на босых ногах, то на загорелом красивом лице.

— Нич-чего...— протянул он удовлетворенно. Помедлив, спросил: — А Федька Ползунков где?

— Вам Федора? — обрадовалась Катерина.— Так вы не туда попали: он живет на задах...

— Как «не туда попали»? Ты ведь Катерина Измоденова? Ну, значит, туда попал... Но где Федька? Мы с ним хотели у тебя сегодня встретиться!

Глухая обида поднималась в сердце Катерины: то, что назначили встречу здесь, без ведома ее, хозяйки, оскорбляло. Она молчала.

Парень, порывшись в кармане мокрого плаща, с которого уже натекла на половики лужица, достал сверток и швырнул его на стол. Газета развернулась, и на чистую голубую скатерть вывалился кусок свежего мяса.

— Вот это построгать да пожарить, хорошая будет закуска,— небрежно бросил Пашка и извлек из кармана сверкнувшую при огне бутылку.

Дрожа от негодования, Катерина спросила:

— Вы что, в кабак пришли?

— Вот ведь какая, право! А Федька говорил, что ты хорошая...

— Что тебе Федька говорил? Что Федька знает обо мне? — закричала Катерина и, поглядев на грязные ноги гостя, на мокрые следы на полу, подбежала к столу, завернула в газету мясо и кинула сверток к порогу.

— Небось ведь у тещи в погребе украл! Убирайся!

— Ну как же! Что я, зря пять километров отпластал? Нам с Федькой еще выпить охота, понимаешь?

— Отпластал! Ничего, и обратно отпластаешь! Пить дома можете!

— Чуднáя! Да разве дома бабы выпить спокойно дадут? А у тебя...

Она вдруг испугалась его взгляда и, прижав руки к груди, отступила к печи. Пашка, не спуская с нее глаз, шагнул за ней.

Она боролась с ним молча, без злобы и негодования, но все напористее, не уставая. В голове металась одна мысль: «Вон как! Думаете, что вдове каждый мужик хозяин?»

Когда в избу вошел Федька Ползунков, Пашка отпустил женщину и как ни в чем не бывало набросился на товарища:

— Ты где пропадаешь? Договорено было, значит, надо слово держать. А то меня Катька здесь всего исщипала...

Отупев от обиды, женщина уже не возражала. Ей хотелось закричать истошно: «За что?». Но, с надеждой взглянув на Федьку, она поняла, что никто ее не защитит, никто не поймет и не утешит: Федька был пьян и, что-то бормоча, рухнул на лавку, свесив рыжую голову на грудь.

Катерина села рядом. Тупой, словно обрубленный нос его, голубые простодушные глаза, опушенные золотыми ресницами,— все было знакомо ей. В девичестве Катерина жила с ним рядом. Она была старше его лет на десять и иногда нянчила крикливого соседа целыми днями. Рос Федька озорным и блудливым. Отец изби-

вал его до полусмерти, и не раз Катерине приходилось прятать мальчишку у себя от разъяренного родителя.

Теперь, работая конюхом в колхозе, Федька часто выезжал в город с молоком и овощами и еще ни разу не возвращался оттуда трезвым.

Рано осиротев, он рано и женился.

Катерина перенесла привязанность к нему и на жену его.

Вспомнив сейчас о ней, женщина улыбнулась: ей казалось, что только одна Гутька понимала одинокую вдовью ее долю.

— Федь, ты не спи...— тянула Катерина соседа за рукав.— Гутя тебя с вечера искала... Иди домой...

Федор спал.

Пашка сидел у печи и мутным, напряженным взглядом следил за женщиной. Но теперь она его не боялась. Натянув сапоги, прикрыв голову платком, прошла мимо него к выходу, выбежала во двор.

Дождь перестал. Под ногами жвякала грязь, когда Катерина пробиралась бороздами по огороду.

В окне Ползунковых брезжил тусклый свет. Было видно, как Гутя качает ногой зыбку и клонится — дремлет.

«Видно, Санька опять хворает...» — подумала Катерина и, поднявшись на завалинку, постучала.

Гутя встрепенулась, провела ладонью по глазам, словно обмыла их, и открыла окно.

— Федора не ищи, Гуть, он у меня, пьяный... с каким-то моряком,— прошептала Катерина и, навалившись на подоконник, заглянула в зыбку.— Хворает? — спросила она.

Гутя устало вздохнула.

— Измучил меня... А этот моряк Пашка — конюх из «Красной зари»...— Кроткие, без ресниц глаза ее, похожие на рыбьи, потемнели.— Как съедутся в городе, так и пьянствуют... У бражников всегда праздник... Хорошо, что Федька к тебе попал, люди хоть не видят...— Неожиданно громко, с озлоблением она вскрикнула: — Не могу я его в руки взять!.. Напрасно понадеялась на себя, вот и маюсь теперь...

Катерина не слушала, все пытаясь заглянуть в белое лицо ребенка.

— Что за боль грызучая прижилась к нему? Захилел совсем.

— Не ест...— жаловалась Гутя.— И киселя в рот не вотрешь. Уж лучше бы умер.

— Попридерживай слова-то! — закричала Катерина.— Распустилась!

Она вошла в избу. Ребенок спал. Сморщенный бледный лоб, синие губы, маленькие прозрачные кулачки — все было похоже на стариковское. Ей хотелось взять его на руки, принять на себя его муку.

— Дай мне подержать...— прошептала она.

Гутя отвернулась.

— Растревожишь, до заговенья не угомонить... Пойдем к тебе: Федьку уведу, пока не рассвело...

Рассвет упорно пробивал серое небо, все отчетливее обнажал размокшую землю. По бороздам прыгали скворцы. Войдя в свой двор, Катерина только тут увидела, что ветер свалил заплот. Она остановилась, опустив руки. Гутька прошла в избу и скоро выгнала оттуда мужа и его дружка, вполголоса ругаясь:

— Навек в дураках засели! Хмель-то совсем засосал!

Обнявшись, друзья плелись впереди нее по огороду.

Катерина проводила их печальным взглядом: «Бражничать у меня, позорить меня можно, а тын мой и поднять некому!»

Поплевав на руки, она начала приподнимать намокшие тяжелые доски. Ноги скользили в стороны, звенья заплота, наполовину приподнятые, вновь плюхались на землю, и вновь женщина пыталась их поставить. Сердце колотилось часто и громко.

Женщина приподнимала заплот, он падал. Она приподнимала его, он падал.

II

Неожиданно Катерина почувствовала, что заплот стал легкий, как перышко, колыхнулся вверх и остановился.

Женщина вскинула глаза. Заплот держали председатель колхоза Илья Назарович и две незнакомые девушки. Мужчина тут же приставил заплот к столбам, подпер кольями.

— Что, Катерина, выходит, и верно не плачет малый, а плачет вдовый,— сказал он неосторожно.

Она хотела что-то ответить, но в горле поднялся удушливый ком, стеснил дыхание. Катерина отвернулась.

Во двор все увереннее прокрадывалось утро: уже видна была примятая заплотом молодая травка, бледная крапивка у столбов.

— Это вот на практику к нам приехали из техникума... квартирантки к тебе... Пустишь? — спросил председатель после неловкого молчания.

Катерина хмуро взглянула на девушек.

Они были совсем юные, беспомощно оглядывали мокрый двор. Одна из них, маленькая и круглолицая, светло-карими глазами и желтым платьем напомнила Катерине пчелку. Другая, с длинным узким лицом, черноволосая, пугливо жалась к подруге. И хоть девушки были разные, но сразу она отметила и то, что обе бледны («Надышались городской пыли... молочка, наверное, не видят... откормлю!»), и то, что белый полотняный костюм черноволосой измят и запачкан грязью («Конечно, утюга у пичужек нет... надо будет сегодня же простирать им платьишки!»).

Тревоги и обиды этой ночи прошли: перед Катериной стояли дети, которые в ней нуждались. И сразу жизнь показалась ей интересной и заполненной.

— Конечно, пущу! Какой может быть разговор! — сказала она и направилась к дому.

— Идите,— подтолкнул девушек председатель,— вам здесь хорошо будет... Одна-то к вам, Измоденова, на птичник!

В избе девушки оторопело остановились: половики были сбиты, на белом полу осталась грязь от больших сапог, у порога валялся кусок мяса, на столе — нераспечатанная бутылка,— все носило следы бурно проведенной ночи и неряшливости.

Катерина провела практиканток в горницу, разожгла самовар. Пока она торопливо смывала грязь на полу, в горнице не слышалось ни звука, словно там, как и вчера, как много дней назад, было пусто.

Умывшись, женщина заглянула в приоткрытые двери.

— Идите погрейтесь чайком,— сказала она и озадаченно смолкла: девушки уныло сидели на чемоданах, черноволосая тихо плакала.

— Аль случилось что?

Катерине никто не ответил.

— А кто из вас к нам на птичник?

С чемодана поднялась Пчелка и мокрыми золотыми глазами строго оглядела хозяйку.

— Я на птичник... но мы... я... может, в другой колхоз попрошусь...

Чай пили молча.

Утро вставало свежее и прозрачное, в лужах на дороге отражалось розовое небо, солнце золотило крыши домов и окна, когда Катерина вела Пчелку на ферму.

— Ты сначала наше хозяйство посмотри, потом и уезжай...— говорила она.— Как звать-то?

— Верой,— скупо ответила та.

— Чего же, Вера, подруга-то плакала? Или горе у нее какое?

Девушка молчала.

Птичник стоял недалеко от жилья, на легком склоне к речке Колотунке, мелководной и ленивой. От холодных ветров защищался он аллеей тополей и берез.

Вера неожиданно склонилась, взяла с тропы горсть влажной земли, размяла на ладони и улыбнулась.

— Суглинок,— отметила она.— А нам в техникуме говорили, что птичник всегда на суглинке строить надо: такая почва влагу хорошо пропускает...

Заведовала птицефермой Степанида Усольцева, одинокая и раздражительная старуха. Веру она встретила ворчливо:

— Опять практикантка? Только практику вам показывай, а как кончаете техникум, так в городе и остаетесь...

Катерина поспешила увести девушку по хозяйству, показала ей отделения — брудерное, кормовое. По пути стремительно очистила метелочкой насесты и гнезда. Только на скрипучий голос Степаниды, настигавший их всюду, она поднимала голову. Старуха то и дело кричала:

— Катерина, зольные ванны надо переменить!

Катерина сменила золу в ваннах, налила чистой воды в поилки.

Птичий нежный клекот доносился из-за решетчатого забора с выгула. Женщина провела Веру и туда.

Голая утрамбованная земля здесь была покрыта соломой, которую разрывали цыплята, отыскивая зерна. Их было много, весь выгул будто усыпан белыми живыми цветами на желтых беспокойных стебельках.

— Опять Гутька всех вместе спустила! — проворчала Катерина.

И верно, здесь находились цыплята всех возрастов: недельные, перо которых еще не сбросило желтизны, и месячные. Катерина отделила цыплят, унесла малышек в брудерное и снова вышла на выгул. Ей навстречу белый петушок нес в клюве морковку, терял ее, схватывал и тащил, от кого-то убегая.

— Не справишься ведь...— сказала ласково птичница.

Петушок положил морковку к ее ногам, неожиданно встряхнул крыльями и неумело закукарекал:

— Ах ты, песенник! Туда же! На больших походить охота!

Со двора снова раздался скрипучий голос заведующей:

— Катерина, сходила бы ты в правление, поругалась: скоро они нам клевер да кости привезут?

Все еще улыбаясь и глядя на цыплят, Катерина громко ответила:

— Надо птицу кормить... подстилку менять...

— Гутька накормит!

Улыбка на лице Катерины сменилась выражением усталости.

Вера спросила:

— Разве заботиться о клевере и костях птичница должна? А заведующая что должна делать?

Катерина зашептала:

— Ты, девушка, нашу заведующую не тронь... Мне ведь не трудно за нее сделать... Сама-то она больная, и горя у нее много: в войну трех сыновей потеряла... А вот накормит ли птиц Гутька? Она все, наверное, опять перепутает... Вчера утром творог да мел скормила вместо десятидневок месячникам, а тем зерно дала. А что зерно для малышек? Они заглотать его еще не могут... Ладно, я скоро вернулась, а то бы отход был...

— А кто же такая эта Гутька? Почему ее на ферме держат? Она всех птиц испортит!

Катерина промолчала. Это она сама настояла, чтобы Гутьку Ползункову перевели из овощеводческой бригады на птичник из-за ребенка, который родился болезненным, и теперь ей приходилось расплачиваться за свою доброту.

Гутьку в это утро они нашли в сарае, где помещались куры-трехлетки выбракованные да петухи, которых откармливали на мясо.

Окна сарая были закрыты соломенными матами. Свет проникал только сквозь решетчатые двери. У кормушек не было обычной на птичнике суеты, птичьего гомона. Важно переваливаясь, ожиревшие, неповоротливые куры подходили к крупе. Они даже не кудахтали.

Около них, в прохладце, хорошо было Гуте подремать, сидя на широкой колоде.

Катерина прежде всего спросила:

— Ну как, Санька твой угомонился?

Гутька подняла голову, вытерла губы и вяло сообщила:

— А что ему сделается? Оживет... Сейчас Федьку с ним оставила, пусть позыбает...

Катерина передала ей распоряжение заведующей накормить птиц, от себя добавила:

— И подстилку бы надо сменить...

Гутька раздраженно заговорила:

— Уйду я... обратно в овощеводческую уйду. Там мне дело привычное. А здесь все какие-то фокусы!

— А как же Саньку оставишь?

— А-а! Все мне немило! Да ты еще придумываешь: подстилку птицам менять! В каждом доме курицы есть, зимуют в конюшнях вместе с коровами и с овечками, да ничего им не делается... а ты все хочешь сверх моды на вершок!

— А сколько яиц курица в конюшне несет? — спросила Катерина.

— Сколь! Сколь положено, столь и несет...

— Сколь положено? Тебе вон положено было здорового ребенка родить, а ты больного родила. Почему?

Гутька обиженно замолчала: ведь знает Катерина, что ребенок рожден от пьяного отца и порядка в доме нет.

— А как же! Обязательно даже подстилку менять! Нам в техникуме так говорили! — вступилась горячо Вера. Гутька подняла на нее кроткие глаза.

— Это еще что за начальница появилась? Больно много надо мной начальников, я погляжу! Не знаю, кого и слушать!

— Идите, Катерина Степановна, спокойно, я подстилку сменю сама! — заявила Вера.

Птичница благодарно улыбнулась.

За решеткой дверей показалась подруга Веры и громко, радостно объявила:

— Я нашла другую квартиру, Верка, пойдем за чемоданами!

Катерина вопросительно посмотрела на нее, перевела растерянный взгляд на Веру и прошептала:

— Почему? Не понравилось у меня?

Девушки промолчали. Катерина поняла и побледнела. Молча подала Вере ключ от избы и быстро вышла со двора.

Солнце уже поднялось.

Женщина постояла у ворот, вскинув голову.

Над выгулом кружил коршун, то камнем бросался вниз, то взмывал и, опоясав небо, останавливался, застывал, тихо шевелил черными крылами.

Катерина заглянула через забор на выгул и улыбнулась: привыкшие к самостоятельности цыплята с криком укрывались от хищника под навес.

Во дворе раздался голос Гутьки, привычно раздраженный:

— И правильно, девушки, делаете, что уходите от Катерины. У нее ведь не дом, а притон! Каждую ночь — пьянка! Сами знаете, у вдовушки обычай не девичий! У нее жить — себя запятнать! Все мужики как напьются, так и к ней! Сегодня я от нее своего Федьку насилу увела!

Катерина шарахнулась от ворот, рванулась обратно и снова чуть не бегом кинулась прочь, сбежала с пригорка и только здесь, у тополей, остановилась, опустилась на землю. Сердце билось часто и неспокойно. В голове не было ни одной мысли, кроме сознания страшного горя. Хотелось ткнуться головой в траву, спрятаться от незаслуженного позора.

Коршун все кружил над пригорком. В сердце Катерины поднялась еще бóльшая обида на Гутьку: «Не посмотрит, ни за что не посмотрит за цыплятами, а ведь всего только стоит появиться человеку на выгуле, и птицы уже спокойно, не прячась под навес, гуляли бы и копошились в соломе!»

Нужно было подняться и идти в правление, но рассеянное внимание Катерины привлек жучок с золотой, блестящей, как копейка, спинкой. Он карабкался по травинке вверх, слегка шевеля ее, как ветерок. Вот он закрепился на листе и стал чистить тоненькими ниточками-лапками черные усы.

Катерина бездумно тронула его пальцем. Жук лег

на спину и замер, притворившись мертвым, но как только женщина оставила его, стремительно перевернулся и проворно побежал.

«Хитрит тоже! Боится меня!» — подумала Катерина и, задержав насекомое ладонью, сказала:

— А ты меня не бойся! Разве я тебя обижаю? Живи, радуйся! Вишь, как день-то после дождичка разгулялся, промыли ему дорогу-то!

День поднимался и в самом деле пригожий. Вверху, вокруг солнца, стояло дрожащее сиреневое марево, пруд замер разнеженно; на берегу так же замерли три парнишки с удочками.

Проходя мимо них, женщина спросила:

— Клюет ли?

Мальчики недружелюбно молчали.

«Сердятся... мешаю им,— отметила она.— Боятся, что рыбу спугну...»

Председателя Катерина нашла дома, за завтраком.

За столом сидели и сыновья его, два загорелых подростка с облупленными носами, в синих безрукавых майках. Оба походили на отца: черноволосые, с прямым и строгим взглядом зеленоватых глаз. Они о чем-то рассказывали отцу, перебивая друг друга, но, завидя птичницу, замолчали.

Третий сын, малыш лет четырех, сосредоточенно строил из кубиков что-то, ему только понятное. Кубики падали, и снова мальчик терпеливо ставил их один на другой, воздвигал невиданное сооружение.

Был он, в отличие от старших братьев, весь светлый. Золотистые кольца волос спадали на лоб, яркие голубые глаза смотрели на все с любопытством. Он суетился вокруг своего сооружения, перебирая шустрыми босыми ножками, метался по избе, как солнечный зайчик.

Его прежде всего и заметила Катерина и потянулась к нему с порога:

— Ах ты, топ-топ!

Малыш доверчиво посмотрел на нее и серьезно заметил:

— Я — Тепа, а не топ-топ...

Все время, пока говорила Катерина с председателем о делах фермы, она не сводила взгляда с ребенка.

Илья Назарович пообещал сегодня же послать на ферму подводу с клевером, обещал все, что требовала Катерина.

Надо было уже уходить, однако вдова не трогалась с лавки. Все в этом доме приносило ей непонятное спокойствие и мир.

Вот ребенок запнулся за половик и хлопнулся на пол. Катерина вскочила, но тот быстро поднялся на твердые ноги, пухлыми ладошками провел по длинной розовой рубахе и сказал:

— Ничего... Без мамы я не реву!

Братья за столом смеялись. До слез смеялась и Катерина.

Пришла мама. Это была высокая светловолосая женщина с задубевшим лицом. Она внесла в комнату корзину белья для подсиньки и поставила ее у порога.

Илья Назарович вскочил и с досадой, по-женски, всхлопнул руками:

— Да зачем же ты, Наташа, тащила белье?! Ведь я говорил, что приду за ним!

Женщина улыбнулась:

— Мало ли что! Все бы дела на себя перевалил!

Илья Назарович подошел к корзине, приподнял ее и проворчал:

— Перевалил! Ты ведь у меня одна, тебя и поберечь!

А вдова все сидела и сидела.

Наталья спросила о здоровье старой Усольцевой, и Катерина отвечала что-то, глядя на всех жадными глазами.

— Вот пришла о кормах со мной говорить,— сообщил жене председатель.— А ее ли дело о кормах говорить? Хорошо Степаниде с такой птичницей: трудодни-то ей Катерина зарабатывает... Право, Измоденова, с тех пор, как ты на ферме, смотри, как хозяйство направляется! И кормление организовано правильно, и уход, и содержание птиц... А яйценоскость как повысилась! И молодняк весь сохраняется! Сейчас тебе, Катерина, полегче будет с практиканткой-то, она, видать, вдумчивая... Да и жить тебе с девчонками повеселее будет... Ты только их не балуй! Ты требуй с них! Требуй!

Катерина слушала его, опустив голову.

Наталья подсинивала белье в большом железном тазу, выжимала туго, до скрипа. Голубая вода плескалась, падая в таз.

— Ушли они от меня...— тихо сообщила наконец Катерина.

— Что так? Почему? — вскинулся председатель.

Катерина развела руками:

— Не угодила...— и смолкла, увидев, с какой жалостью смотрит на нее Илья Назарович, озабоченно шевеля рукой густую черную бороду. Да и Наталья, опустив руки с бельем в таз, глядела на Катерину с непонятной печалью.

Вдова поднялась и весело сказала:

— Ну, сидят-сидят да и уходят! Прощайте-ка! — и направилась к выходу, стараясь держаться ближе к Степе, который все еще был занят строительством. Ей хотелось просто задеть ребенка рукой, тронуть за пушистый кудрявый вихорок, коснуться ладони. Дойдя до него, она присела на корточки и посмотрела мальчику в глаза. Они были светлые, казалось, в них зрела какая-то большая и радостная мысль.

Неожиданно Степа сказал:

— Ты хочешь реветь? А у тебя ведь мамы здесь нету?

— Я не хочу реветь, Степа...

— Хочешь... Ты упала?

— Ах ты, топ-топ! — шептала растроганно Катерина, идя от дома председателя по дороге.

Рыбаков-парнишек на берегу уже не было. Там стоял теперь механик МТС Антон Пьянков. Любка Смолякова, недавно вышедшая за него замуж, забрела по колено в воду, мыла руки и чему-то смеялась.

Антон кидал в нее сосновыми шишками; она же плескала в него воду пригоршнями и не попадала. Он кричал победно:

— Вот и промахнулась! Опять промахнулась, Любушка!

— Ну, подожди, черт, дома ухватом не промахнусь!

Катерина прошла мимо и услышала, как Пьянковы дружно над чем-то захохотали.

Их смех, как плеть, ударил женщину: «Может, так же, как Гутька, надо мной скалят зубы!»

Ей хотелось крикнуть: «Да ведь я тоже была счастливой!» Катерина обернулась и промолчала: Антон, протянув обе руки, тащил на берег из воды наигравшуюся жену.

Катерина пошла дальше, смеясь над собой: «Встань на пригорок, баба, и реви: «Замуж хочу!» А замуж ли я хочу? Мужа ли мне надо? Да ведь нет! Надо, чтобы я кому-то нужна была! Очень бы нужна! Чтобы без

меня кто-то ни пить, ни есть не мог... Принесла бы я домой дров ношу, а он бы мне и сказал: «И что ты опять схватила! Я бы сам!». А я ему: «Все бы дела на себя перевалил!» А он бы: «Так ведь одна ты у меня...» Так бы и жили: я для него, он для меня... Друг другом сильные! Хорошо!»

Через двор птичника навстречу Катерине бежала Вера и кричала жалобно:

— Товарищ Измоденова, коршун цыпушку унес!

Гутька была здесь же, во дворе, жалась к стене, избегая смотреть на Катерину. Размякшее лицо, рыбьи тупые глаза, вся ее рыхлая фигура выражали уныние и готовность к наказанию.

— Эх ты, сырое мясо! — вырвалось у Катерины. И в самом деле, Гутька напоминала ей чем-то кусок мяса, размякший и водянистый, который ночью оставил в доме Пашка-моряк. Рассердясь еще больше, Катерина кричала: — Да тебя скоро самое-то коршун заклюет! Иди уж карауль в сарае петухов! С этого дня к цыплятам и не подходи: не все из них мясом будут!

Она выбежала на выгул.

Цыплята, спрятавшиеся было под навес, при виде Катерины спокойно начали выходить на солому, блестевшую под солнцем. И скоро выгул стал белым, щебетал и возился. Коршун снова взмыл в бездонное серебряное небо, постоял над выгулом и уплыл за мохнатое облако.

III

В грозу оставаться одной легче, чем в ясную лунную ночь: дождь постучит в крышу, ветер шевельнет скобкой ворот, молния ударит в окно яркой вспышкой и уйдет, небо прогрохочет, чувствуется вокруг жизнь, ее трепет. Можно даже подумать, что все это делается только для того, чтобы напомнить: жизнь есть вокруг и ты не одна!

Но когда луна засеет свой мертвый пепел в избу и переплеты рам лягут на половики крестом, а за печью спрячутся тени и везде тихо,— тогда кажется, что больше на свете никого нет. Есть сторожкая тишина, одиночество и страх за себя.

«Как же я буду жить? Кому я нужна?» — думала Катерина, лежа в постели и глядя в потолок.

На нем металась прозрачная узенькая полоска, как змейка, уползала и вновь извивалась, пересекая матицу.

Катерина знала, что это тень от шнурка, привязанного к ставню. Ветер шевелил шнурок, и он трепетал, пытаясь сорваться.

Но можно ведь подумать, что это змеится тоска, пока еще неясная, чуть живая: появится и уйдет. И от этого женщине жаль себя.

«И почему это соловьев у нас нет? Посвистели бы надо мной, пощелкали... А говорят люди, что когда-то соловей и к нам, на Урал, залетал... Свил бы гнездо у меня во дворе... петь бы научил, а то у меня скоро и голос заржавеет...»

Катерина прокашлялась и тихонько затянула:

Зачем вечернею порою
Одна выходишь на крыльцо...

И рассмеялась: голос еще не заржавел. Тоненький и прозрачный, он нежно прозвучал в тишине. Уже увереннее и громче продолжала:

И горячею слезою
Моешь мутное кольцо?

У кровати легла тень большой головы. Катерина смолкла и не шевелясь следила за ней. Вот обозначились нос, большие сильные губы. Кто-то заглядывал в окно.

«Опять небось пьяницы,— подумала женщина и решила: — Не открою... пусть по баням пируют...»

Рядом с первой возникла вторая тень. По окладистой бороде Катерина узнала Илью Назаровича и поднялась.

— Измоденова, открой-ка!

— Иду! — весело отозвалась та, надела платье, включила свет.

Войдя в избу, председатель подозрительно огляделся, прошел к открытой в горницу двери, окинул пустоту комнаты взглядом и спросил:

— Одна?

— Под кроватью посмотри, Илья Назарыч, не прячу ли кого! — сердито ответила женщина.

Тот виновато пояснил:

— Слышали мы песни у тебя, вот я и подумал...

— Одна я пела... Что мне не петь? Не ем, не пью, только песни играю...

Заметно повеселев, председатель примирительно сказал:

— Ну-ну, пой себе, это хорошо... Вот квартиранта я привел, если пустишь, подтягивать песням будет... Бухгалтер у нас новый, из райзо прислали... Потом мы ему квартиру подыщем, а пока приюти его, сироту...

«Сирота» как вошел, так и остался у порога, с улыбкой слушая разговор о себе. Это был лысеющий мужчина лет сорока пяти, высокий, с намечавшимся брюшком. Над толстыми припухлыми губами красовались светлые усики, тщательно подстриженные. И эти усики, и нежно очерченные щеки, и прямой, несколько мясистый нос — все в его облике говорило о мягкости характера.

Звали его Николай Петрович Златоустов.

Услышав фамилию, Катерина еще раз посмотрела на его рот. Губы были красиво изогнутые, но уже размягченные и слегка расплывшиеся.

Она улыбнулась.

Златоустов поставил у ног небольшой желтой кожи чемодан и сказал:

— Ну вот и хорошо!

Он остался.

Провожая в сени Илью Назаровича, Катерина упрекнула его:

— Не оберегаете вы меня от худой славы, товарищи правленцы,— к одинокой в дом мужчину ставите!

В сенях было темно. Только в притворе виднелся лунный двор, но лицо председателя было в тени, и Катерина чутьем угадала, что он улыбается.

— Может, и кончилось твое одиночество: Златоустов-то тоже одинок!

И зачем только сказал это Илья Назарович!

Катерина долго не могла уснуть в эту ночь, прислушиваясь к мерному дыханию квартиранта за стеной.

Луна все так же заливала избу, только тени у порога стали прозрачнее да ниточка-змейка не металась по матице.

А когда в горнице раздался мужской здоровый храп, женщина улыбнулась и уснула. Уснула сладко, как спит счастливый человек, который никогда не бывал одиноким.

Чуть свет ее разбудила Гутька, постучав в окно.

Было странно, что уже не луна заливает избу, а дневной свет, хоть и сумеречный еще, тогда как женщине казалось, что она только что прилегла.

— Дай ты мне маслица со стаканчик, у меня все вышло...— попросила Гутька, когда Катерина открыла окно.

Осторожно ступая, она прошла в чулан, наполнила маслом стакан. Было приятно, что теперь ей нужно оберегать чей-то сон.

Рассказав о том, что Федька в эту ночь был трезв, а ребенку стало лучше, Гутька ушла. Но только Катерина прилегла, в окно постучал сосед и попросил железной лопатки.

Катерина оделась, выскочила во двор, дала лопату, а когда вернулась в избу, квартирант спросил, не выходя из горницы:

— Они хоть возвращают, что берут, или как?

— По-всякому бывает,— охотно отозвалась женщина.

Николай Петрович, видимо, поднимался: скрипнула половица, брякнула пряжка ремня. Он по-свойски ворчал:

— Когда берут, должны возвращать... А вы должны требовать. Этак у вас весь дом растащат...

Катерине нравилось, что кто-то может на нее ворчать, нравился и легкий вкрадчивый голос квартиранта. И, чтобы он не смолк, чтобы продолжал так же по-хозяйски укорять ее в мотовстве, она произнесла:

— Думают, что вдове ничего не надо — все равно даром добро пропадает!

Златоустов вышел в кухню, с видимым удовольствием оглядел женщину и сказал:

— Ну, здравствуй, хозяйка!

И началась новая для Катерины жизнь.

IV

С утра она готовила завтрак. Вместе они сидели за столом, разговаривали о колхозных делах.

Теперь Катерину тянуло домой: нужно было перемыть и перештопать квартиранту белье, навести чистоту в избе, вскопать огород. И каждый раз она видела: то исправлена у крыльца покосившаяся ступенька, то подметен двор. Это наполняло ее покоем.

Беседы их по вечерам были иные, не те, что утром,

не впопыхах. Они говорили обо всем, много и подробно рассказывали друг другу о своей жизни.

Так узнала Катерина, что Златоустов никогда не был женат: упустил время, помешала война.

— Вот, может, теперь...— говорил он, утопив в блюдце взгляд.

И Катерина опускала глаза, чтобы спрятать от него свою надежду и радость.

А ночью, лежа в разных комнатах на своих постелях, они подолгу не могли уснуть, притаившись, слушали ночные шорохи, которые порою неслись с улицы. И ждали.

Раз он сказал в тишине:

— Давайте сломаем эту дверь... Зачем она нас разделяет?

Катерина молчала. А когда он явился около ее постели, громко вздохнула: испугалась надвинувшейся неизбежности.

Утром, сидя за столом, Златоустов сказал мягко:

— Хоть бы ради такого дня ты меня омлетом покормила. Картошка надоела... Работаешь на птичнике, а не...

— На птичнике все приходуется...— поспешно отозвалась Катерина.

— Ну, приходуется! Спишем!

Завтрак прошел в молчании.

После ухода Златоустова Катерина немного поплакала.

По пути на работу зашла к Илье Назаровичу и попросила отпустить ее на день в город.

— На птичнике за меня Вера останется...

Илья Назарович внимательно посмотрел в заплаканное лицо женщины и спросил:

— А зачем тебе в город?

— Скучаю дома без кур, Илья Назарыч, ну, право, весь бы день в птичнике провела... Хочу куриц купить... чтобы и дома...

И почему-то вздохнул Илья Назарович.

— Узнаю, как... завтра поговорим...

Вечером Наталья принесла Катерине двух пеструшек.

— Возьми-ка на развод... Может, ты их и выправишь: ну, ничего не несут мне, прямо измучилась... Кормишь их даром... Ты хоть бы лекцию прочитала,

как за курами ухаживать... говорят, ты птичник-то подняла!

И снова Катерина заплакала, уже не понимая сама отчего.

Пеструшки неслись отлично.

Через день Николаю Петровичу подавался на завтрак омлет. Он любил сам повозиться с курами: готовил им корм из моркови, крапивы и отрубей. Наконец прикупил где-то еще одну курицу, красную и крупную и совершенно ручную, и назвал ее Совой.

Через месяц Сова заквохтала и стала насиживать гнездо.

И Катерина забыла о неосторожных словах сожителя.

Успокоенная, подобревшая от счастья и надежды, она ходила, гордо выпрямившись; серые глаза ее стали глубокими и блестели. Когда она смотрела на Гутьку, та съеживалась виновато и пряталась в сарай, не в силах осмыслить чужое счастье.

Зато Вера ходила за Катериной по пятам, заглядывала в лицо, а однажды сказала:

— Зря мы тогда от вас ушли, Катерина Степановна... Без вас я столько времени потеряла... может, сейчас пустите?

Они сидели на скамейке, на выгуле. Перед ними копошились цыплята, белое оперение которых погрубело, гребни набухли и покраснели.

Катерина резко выпрямилась, словно от толчка внутри, прислушалась, очарованно и сладко простонала.

Вера заглянула в счастливое ее лицо и упавшим голосом переспросила:

— Не пустите?

— О чем ты?— расслабленно прошептала Катерина.

— Не пустите теперь нас, говорю?

— Ой, Пчелка, не пущу, не сердись...— Приложив руки к сердцу, Катерина молодо и звонко рассмеялась: — Топ-топ...

Катерине захотелось немедленно бежать домой, найти Николая, сказать ему, что он отец, и увидеть его радость, но из-за ограды раздался голос Степаниды:

— Катерина, зайди ко мне!

Во дворе птичница увидела полусонную Гутьку. Та мешала корм.

— Давай помогу! — остановившись около нее, пред-

ложила Катерина. Но из каморки заведующей раздался новый раздраженный окрик:

— Катерина!

И та, ободряюще кивнув Гутьке, оставила ее.

В каморке у Степаниды сидел Илья Назарович. Он привстал, завидя Катерину, и начал, прокашлявшись:

— Вот дело-то какое, Измоденова, уходит Степанида. По старости уходит... Придется ферму взять тебе... Не справляется она, сама вон говорит... А ты...— и заглянул в сияющие глаза женщины.— Ты у нас как дрожжи, все вокруг тебя бродит!... Ну, так как? Не испугаешься?

— Вчера бы испугалась... — недоуменно покачала головой Катерина.— А сегодня ничего не боюсь! — И удивилась сама: как много смелости и сил дал ей сегодняшний день!

V

Николая дома не было. В щелку сенных дверей было брошено письмо на его имя. Катерина взяла твердый конверт и улыбнулась: вот и в ее дом идут теперь письма. И сразу мысли забежали вперед, обгоняя время: вырастет ее Топ-топ, уедет учиться в город, а она будет получать от него письма...

Он ей напишет о людях, об их делах, о девушке, которую полюбит.

«Да что это я! Никуда он от меня не уедет!.. Ну, приди, Николай, скажи мне... Что же ты сейчас сказал бы мне?... А вот что: «Дурочка моя! Что же, он всю жизнь за твою юбку держаться будет?» Ну, приди, Коля, скорее, я тебе на твои слова вот что скажу: «К тому времени у нас на селе свои техникумы будут... И не скоро еще он от нас уедет... А девушки и у нас растут красивые... и всякое дело у них в руках горит!»

Необходимо было чем-то заняться до прихода Николая.

Женщина вышла во двор, посмотрела в курятник на Сову. Курица сидела, важно нахохлившись.

— Сиди, милая, сиди, — сказала ей Катерина. — Хоть и поздненько, в самую осень, ты надумала, целую зиму твоих птенцов зря кормить придется... но сиди... может, что-то у тебя и выйдет... Да чтобы все курочки были! Да чтобы неслись в день по два раза!

В избе Катерина полила на окнах цветы. Увидев, что стройная хрупкая бегония расцвела ярким красным цветом, сказала:

— Вишь ведь, как девка-то выправилась! — И запела бездумно:

Не гляди на то, что дугою бровь,
Не в бровях кипит молодая кровь!

Ей хотелось что-то делать для него, для будущего человека, который уже дает о себе знать. Она открыла сундук и, разбирая старое белье, платья, еще пригодные на пеленки, распевала:

Не гляди на то, что коса до пят,
Не косой тебе одевать ребят...

«А ведь за первым-то может пойти и второй, и третий! — раздумывала она.— И будет у меня большущая семья! Сядут все-то за стол: мать только подноси! А вырастут — Илья Назарыч не нарадуется: «Ох и работников Катерина Измоденова подняла! Сила!»... А Николай к тому времени не только усы, а и бороду отрастит!»

Представив Златоустова с бородой, расхохоталась: «Как чудотворец!» — И неудержимой нежностью наполнялось к нему сердце.

— Чудотворец ты мой!

Осторожно взяв со стола письмо, она удивилась тому, что кто-то у него есть, кроме нее, какие-то нити тянутся к нему, а значит и к ней, из других мест! «Земля-то матушка привольная!»

На обратном адресе на конверте стояло имя: Виталий Николаевич Златоустов.

«Брат, наверное, — подумала Катерина. — Но почему брат? Брат Петровичем звался бы... а тут Николаевич! Да ведь мой-то Николай,— вдруг подскочила она.— Уж не сын ли?» — Помедлила, опустила письмо на стол, но, собравшись вся, как всегда перед бедой, вновь взяла и вскрыла конверт.

«Отец, здравствуй!» — прочитала Катерина. Буквы заплясали перед глазами, едва складывались в слова. С трудом понимая, она все-таки продолжала читать:

«Бросил... Писал тебе, что мама умерла... скрываешься... Знай, Ленька в тюрьме за хулиганство... Мне бы доучиться... Работаю слесарем после ФЗО... Нинку

не брошу, не навяжу на такого отца...» — выхватывали глаза с дрожащего листа отдельные фразы.

Катерина опустилась на лавку. Кружилась голова, к горлу подступала тошнота. Как в бреду, увидела она, что в избу вошел Златоустов, тщательно вытер ноги о половик.

Услышала, как он спросил:

— Что ты, Катюша? Что с тобой?

И только когда он подошел к ней и поднял ее голову, истошно закричала.

Очнулась Катерина в постели, с компрессом на голове. Около нее сидел Николай, гладил ее руку и шептал:

— Ну вот ты и узнала... и мне вроде легче...

— Нет, легче не будет,— громко сказала Катерина и вздрогнула: таким чужим и треснутым показался собственный голос.— Не будет! Пока детей к нам не вызовешь... Сядут все-то за стол: мать только подноси! А вырастут — Илья Назарыч обрадуется: работники!

— Чего ты говоришь, Катя! Все-таки врача надо пригласить...

Сбросив с головы мокрую тряпку, Катерина резко села.

— Не надо врача! Я говорю: детей вези сюда! Мог бросить, моги и семью собрать!

— С ума ты сошла! Да Ленька тебя в первый же день обокрадет!

— Наша с тобой беда! А вдруг не обокрадет!

— Вороватый был... Теперь в тюрьме, читала?

— Поезжай, Коля, за ними! Нинка-то большая ли?

— Десятый...

— Ну вот, помощница мне будет...

— Да зачем они тебе? Живем тихо, спокойно... не поеду я за ними, отвык от них... Ленька на своих ногах, Виталий Нинку вырастит...

— Не плети ты мне кружево! Зашей губы, чтобы лишнего не болтать! Ехать надо, понимаешь?

Николай выдержал ее умоляющий взгляд и повторил:

— Не поеду! Не твое это дело! Не вмешивайся в мою жизнь!

Его глаза смотрели на нее равнодушно. Он как будто и не услышал всего, что она говорила.

— Вымолвил каменное словечушко... Ну, хорошо же...— прошептала Катерина и, тяжело поднявшись, направилась в горницу.

В голове было пусто, как с похмелья. Слез не было.

Спокойно собрала она вещи Златоустова в чемодан. В открытые двери несся со двора его голос:

— Совушка моя, на-ка, я тебе принес, кушай, милая...

Катерина сказала, обращаясь к тому, к третьему, которого только она одна успела узнать:

— Ты прости меня, сынок, что без отца вырастешь... А о нем не жалей. Он сорняк сеет, так пусть не шаньги и снимает... Не за того я его приняла... он не отец: троих уже бросил... а теперь вот мы с тобой его выгоняем, может, во сне только увидимся да поговорим...

Закрыв чемодан, вынесла его на крыльцо, в чулане взяла корзину, подошла к курятнику, перед которым сидел на корточках Николай. Почерпнув ладонями наседку вместе с гнездом, посадила в корзинку.

— Вот и все... Иди теперь...— сказала она Златоустову.

— Куда?

— У Степаниды Усольцевой изба просторная... С работы она уходит, все свое время тебе отдаст... А тебе там спокойнее будет.

— Ты с ума сошла, Катя!

— Сошла было, верно... А теперь в сознание иду...— Строгий голос в сердце говорил Катерине, что поступает она справедливо и что судить ее некому.

— А Сову мне зачем суешь?

— Ну как же! Ты покупал... Она тебе яички для омлета нести будет... чем-то тебе ведь заниматься: хоть цыплят выхаживай!— говорила она, подталкивая его к калитке.

Подчиняясь твердому взгляду женщины, Златоустов пошел, задорно и смешно вскинув голову и еле толкая ноги вперед.

Курица в корзине встревоженно поднялась, но, поквохтав, снова уселась, расщерив крылья.

Катерина проводила сожителя долгим взглядом и прикрыла калитку.

— Ну и все... шелкова трава следы заплетет...

Ветер похлопал Катерину по плечу, подвел ее к крыльцу и, обняв колени, усадил на ступеньку.

Она ждала: вот калитка откроется и Николай вернется. «Хорошо, скажет, Катя... Ты хочешь собрать семью, чтобы нам перед детьми стыдно не было... я понимаю... и я поеду за ними... А там и еще один у нас с тобой поспеет... и будем жить! Хорошо мы жить будем!»

Во дворе стояла тишина. Две пеструшки молча щипали у межи травку.

Калитка и в самом деле стукнула, кто-то вошел во двор и остановился около Катерины. Она подняла глаза.

Илья Назарович смотрел на нее изумленно, словно не узнавая.

— Что глядишь? — хрипло спросила она.— Вот и глядит, как на чужую!

— Не узнаю что-то... Час назад с птичника ушла другая... Что случилось? Лицо-то как отцвело.

Катерина молчала.

Почему-то шепотом Илья Назарович спросил еще:

— Златоустов дома?

Катерина покачала головой.

— У меня больше не ищи своего бухгалтера, председатель: на другую квартиру ушел...

— Почему? А я-то думал, что вы... Почему?

— Помнишь, ты говорил, что он мне в песнях подпевать будет? Ну вот, все мы песни с ним перепели... больше и петь не о чем...

Молча смотрел на Катерину Илья Назарович, не смея нарушить тишину.

Перед ним на крыльце, подперев голову кулаком, сидела усталая женщина с бледным осунувшимся лицом. Глаза ее дремотно смыкались.

Но вот Катерина вздрогнула всем телом, выпрямилась. Лицо размякло, на нем появилось выражение счастливого ожидания, и прежняя молодая улыбка шевельнула губы.

— Топ-топ...— прошептала она.

Доброе солнце, высунувшись из-за трубы на крыше, заглянуло во двор, дробясь листами маленькой осинки, осветило женщину, заиграло во влажных ее глазах.

В белом небе проворно летело легкое облачко, жаворонок с высоты сыпал веселым стрекотом. Его распластанные крылья казались хрустальными.

Осинка все время менялась от ветра и взмахивала белыми снизу листьями; колыхнулась травка у межи.

Блуждающая трепетная улыбка уже не сходила с лица Катерины.

1954 г.

НАД РЕКОЙ БЕРЕЗА

Степь цвела. На гребне карьера, за развороченной экскаватором полоской серого галечника, на берегу шумной реки, распустились тюльпаны.

По утрам травы белели от росы, и Пелагея, идя к карьеру, оставляла веселую зеленую дорожку. Цветы еще спали, закрыв головки, но, как только падал на них первый солнечный луч, они открывались.

Девушке казалось, что даже слышен при этом легкий шум.

Она спешила к своей машине раньше всех. Боясь насмешек, заранее сжимаясь перед ними, бесшумно скользила к экскаватору, стремясь не обращать на себя внимания острых на язык шоферов, не понимая простодушных шуток, во всем усматривая зло.

С детства она знала, что некрасива, и не любила смотреть в зеркало. Что она может там увидеть? Узкие щелочки-глаза, зеленые, как у кошки, вздернутый нос и широкие выдающиеся скулы. Девушка была беспощадна к себе, может, поэтому и имя свое считала некрасивым, старушечьим. Правда, на работе ее называли Полей, только шофер Николай Плотников — Пелагеей. С ним она была особенно неприветлива, старалась его не замечать.

Иногда ее охватывал смутный страх перед будущим. Она забывала, где находится и живет ли вообще.

— Уйти бы куда глаза вынесут!

Ее видели только на работе. Живя в старом поселке у многодетной вдовы, сирота избегала появляться там, где ею пренебрегают, и не тянулась к людям.

«Жизнь меня не выласкала, вот и вянет моя молодость»,— думала она и все чего-то ждала, точно шла ее жизнь по чужой дороге.

Упругими движениями, скользя руками по поручням, Пелагея взобралась, подбрасывая вверх маленькое тело. Из кабины экскаватора следила, когда под

зубастый ковш подкатят грузовики, один за другим, целой вереницей.

Как она руководит машиной, что делает в своем скворечнике, никто не знал. Шоферы прислушивались к ее пронзительному голосу и повиновались ему.

В кабине душно, жарко. Экскаватор швыряет в небо серый газ. Огромный стальной ковш вгрызается зубами в гравий, поворачивается. Зеленая кабина блестит, на ней белеет выпуклая марка завода.

Вот уже третий месяц они стоят в этом карьере, добывают гравий и отвозят на строительство новой усадьбы целинного совхоза. Усадьба растет с каждым днем: то возведут стену дома, то покроют крышу. Когда под экскаватором нет машин, Пелагея поворачивает кабину и смотрит на строительство.

Всюду молодежь. Каменщики, арматурщики, маляры, строители съехались на целину.

По вечерам молодежь сходится в клубе, приземистом бараке с широкими окнами. До карьера доносится музыка.

Дизель гудит. В окно видна гряда узловатых облаков. Из-за них выползла багровая полоска зари. В розовом сиянии отчетливо стал виден каждый цветок, каждая травка. Очарованно следила девушка за игрой лучей восходящего светила. Верхушки камыша у реки колышутся, как волны. Река, широкая и вольная, тоже бросается розовой волной. Камыш с трепетом никнет и припадает к ней. Одинокая береза, стоя на отшибе, подняла вверх ветви, точно заломила руки.

Все это каждый день видела Пелагея и все это полюбила.

Работа успокаивала.

По этой горке, может, сотни лет караваны верблюдов подходили к водопою, топтали ее люди, теперь разрывают и дробят каменную твердь, а потом зальют гальку цементом, сделают полезной. «Работой-то земля отогревается».

Николай Плотников подвел под ковш машину, как всегда, вскинул вверх загорелое лицо. Больше всех задевал он Пелагею улыбкой. Она старается скорее нагрузить машину гравием. Согнутая стрела, как рука, выбросилась вперед, ковш опустился.

«Вишь ведь, оскалился опять... Наверное, думает: посадили же на экскаватор пугало».

Ковш вгрызается в землю. Гудят, тарахтят машины, кричат шоферы, стучит гравий, падающий на днище грузовиков.

От строительства тоже доносится шум, лязганье железа, песни — вся земля ходуном ходит.

Неожиданно Николай поднялся в кабину.

— Зачем это? — закричала Пелагея.— Входить сюда нельзя посторонним!

Но за ним следом появился директор совхоза и, отдувая рыжие бледные щеки, неприязненно приказал:

— Поучи-ка, Поля, его... Надоел, на экскаватор просится. На машине пока сменщик поездит.

Пелагея, крепко закусив губы, кивнула. Сердце забилось тревожно и громко.

«Будет теперь ухмылками меня донимать»,— подумала она, вытерла паклей руки и пригрозила:

— Если не спросясь хоть одну деталь здесь нажмешь, больше не приходи.

— Навыкну! — успокоил ее парень и оглядел кабину, пульт управления, рычаги.

Девушка ничего не объясняла. Он стоял сзади, горячо дышал в затылок и следил за каждым ее движением.

Пока у экскаватора не было машин, Пелагея фильтровала масло, заполняла горючим баки.

Когда на дороге появились машины, блестя ветровыми стеклами, Николай от волнения вспотел. Острый скрежет ковша о гальку сверлил, проникал в тело и проносился, сливаясь с волнами летнего зноя. Николай не увидел, отчего нагруженный ковш двинулся, только услышал грохот обрушившейся на дно самосвала массы. Придя в себя, снова напряженно следил за приборами, за стрелкой, за блоками. Над машиной поднимался целый фонтан пыли.

— Не бойся. Раз боишься — не экскаваторщик! — бросила Пелагея.

И снова он повторил:

— Навыкну...— В его голосе слышалась робость. Впервые девушка взглянула в его черные цыганские глаза и отвернулась, оробела сама.

Несколько дней Пелагея, казалось, не замечала Николая, делала свое дело, передвигала экскаватор на новые места, грузила машины, поднимая пыль, повертывала стрелу.

Как-то в конце работы в карьер пришла библиотекарша клуба Зина Кутюхина и окликнула Николая. Высокая ее грудь словно раздирала яркое платье. Вздернутый подбородок, капризные маленькие губы и яркие голубые глаза — все было красиво.

Пелагея, не спуская с нее острого, пытливого взгляда, неожиданно объявила Николаю:

— Сегодня я спрашивать буду, что ты усвоил. Эта вот пружина для чего?

Николай кинулся было из кабины, но вернулся, крикнув Зине:

— Я не пойду на танцы... Сама знаешь, учусь...

— А вот этот рычаг для чего?— допытывалась экскаваторщица.

— Чтобы поднять ковш...— глухо ответил ученик и заметил удивленно: — А чего это, Пелагея, у тебя руки дрожат?

Девушка порывисто спрятала руки за спину. Николаю казалось, что никогда не сможет он работать педалями, как это делает она, одним, едва уловимым движением поворачивать экскаватор. В карьере ухало от ударов ковша.

— Подними-ка стрелу... Покажи теперь клапан, седло клапана... поршень,— лихорадочно бросала Пелагея и думала: «Зачем я его задержала?.. Ну зачем? Гуляли бы они с Зинаидой. Танцевали бы, оба красивые!»

И, решившись, сухо произнесла:

— Хватит сегодня... Иди...—Прислушалась, как гулко стучали по лесенке сапоги, и склонила голову.

На другой день Пелагея стала еще молчаливее, у нее как бы отвердело сердце. Николаю она позволила завести дизель. Ученик двигал одним рычагом, и ковш опускался на забой, врезался в пласт; другим — ковш опрокидывался над воображаемым самосвалом.

— Тросы не забывай, — напомнила девушка, все больше темнея от удач ученика. Он взглянул на нее и растерялся: в узких неласковых глазах стояли слезы, лицо пылало.

Внизу послышался детский голос:

— Тетя Поля... Где ты?

И Николай еще больше растерялся: слезы у девушки вмиг высохли, лицо вспыхнуло, расцвело. Через минуту ее изменившийся, воркующий голос послышался с лестницы.

— Ты чего, Катюша?

— Мама морковных пирогов тебе послала... ешь давай, горячие.

— А ты со мной будешь?

— Съем... один только...

Крадучись подошел Николай к окну; Пелагея сидела на куче гравия, обхватив за плечи худенькую рыжеватую девочку в розовом платье. Обе ели пироги и весело болтали, как ровесницы. Глаза Пелагеи сияли, и в голосе и в лице исчезла привычная настороженность. В лучах солнца роилась пыль. Воробьи порхали над галькой лениво, опьянев от солнца. В кабине стоял запах подгорелого масла. Это почему-то сильно мешало Николаю думать. Хотелось выскочить на волю, сесть рядом с Пелагеей.

Вдали загудели машины, и девушка сама поднялась в кабину, неся на протянутых ладонях морковный пирог.

— Поешь-ка, успеешь,— сказала она и рассмеялась смущенно: — Катюша послала! — словно боясь, не подумал бы, что она вспомнила о нем сама.

Николай никогда не видел ее смеющейся. Пока она черпала из земли гравий и грузила машины, он ел пирог и думал:

«Кто бы мог подумать, что она такая... Никогда нельзя сказать о человеке, что он красив или некрасив: каждый может быть и таким и таким».

Машины рокотали.

Перекликались шоферы.

Неожиданно Пелагея спросила:

— Вкусный пирог?

— А?.. Да... очень,— отозвался Николай и смутился: он и не заметил, каким был пирог.

Девушка бегло взглянула на него, и снова он увидел в ее глазах непонятный блеск, точно их затянуло слезой.

— Что с тобой, Пелагея?

— Вот... обучаю...— неожиданно произнесла она.— А потом ты уйдешь... а мне ведь не во все глаза заглянуть хочется.

— Невеселая ты голова,— сказал он, не понимая ее тоски.

— Эй, Никола!— окрикнул кто-то из шоферов.— Хватит тебе небо глотать, спустись, покурим!

— Не трогай его,— звонко посоветовал другой.— Он учится.— И с хохотом добавил:— Много его Полька научит! У нее слова-то покупать надо!

Николай стремительно сбежал по лестнице. Экскаваторщица услышала задыхающийся его голос:

— Замолчите! Вы ее не знаете! Никто ее не знает...

Шоферы ответили ему глумливым смехом.

— Он, ребята, в кабине и о Зинке забыл.

— А ну вас! — отозвался Николай.

Пелагея слышала, как удалялись его тяжелые шаги, и думала: «Так вот и забивают меня, как в стенку гвоздь, до шляпки». И опустила пустой ковш около шоферов. Парни отскочили в стороны.

— Видал?

— Она у нас тихонькая: молча кусает!

Послышался голос библиотекарши:

— Чего вы ругаетесь, шоферня?

Парни посмотрели на кабину, за стеклом которой виднелось бледное лицо экскаваторщицы.

— Вот та длиннорукая-то, озорует...

— Николая здесь нет? — спросила Зина.

— Потеряла? Видно, ты его далеко допустила, если гоняешься...

Парни, посмеявшись, смолкли. Снова послышался задорный голосок Зины:

— Что таращишься на меня?

— Хороша! Глаз не оторвать. Только за Николая держись, отобьет у тебя его Полька.

Пренебрежительный смех Зины больно ударил Пелагею. Она сжалась, спрятав в ладони лицо.

А от слов, насмешливых и злых, некуда было деться.

— Куда Николай ушел?— все допытывалась Зина.— Мне его очень нужно!

— Зачем? Я его вполне заменить смогу. Пойдем сегодня погреемся на луне.

— Сучки зеленью зацветут, если я с тобой пойду!— кокетливо отозвалась Зина.

— Играешь, как необъезженная кобылка!

— Девчонка-сговоренка!

— Оставь ее, белобрысую. Знаешь ведь: волосом белые — в любви несмелые.

— Да у нее они крашеные.

Пелагея ревниво вслушивалась в каждое слово,

доносившееся из забоя, старалась понять по смеху, по поведению, что за сердце у Зины и за что ее можно любить.

Уловив в словах шоферов неуважение к девушке, испугалась, сама не зная чего. Лицо ее пылало, словно это над нею зубоскалили парни. Но столько простодушия было в их речах, что Пелагея тут же подумала о другом:

«Со мной никто не пошутит, живу в одиночку. И какое же несчастье, когда тебя не любит никто.— Сердце ее корчилось от боли.— Полсловечка бы ласкового, чтобы жить!»

Неожиданно Пелагея вскочила.

Разговор в забое смолк, как только она показалась в дверях кабины.

— Что вы меня на зубах держите? — В упор взглянув на Зину, сообщила: — В клубе твой Николай...— И крикнула шоферам: — Подводи машины!

Еще ревнивее обучала теперь Николая Пелагея, все чаще уступала ему управление агрегатом. Голос ее смягчался.

— Выводи нежнее... нежнее выводи рукоять...

Он уже умел поворачивать кузов экскаватора, переместить машину, но с преувеличенным интересом расспрашивал обо всем.

Когда Пелагея позволила ему грузить самосвалы, он схватился за отшлифованные рукоятки, не слыша от волнения, как вгрызается в грунт ковш, изо всех сил стараясь рассмотреть внизу, за облаком пыли, как сваливается гравий на днище самосвала и высовывается над бортами острой верхушкой.

Вот машины развернулись, отъехали от забоя. Николай вытер со лба пот рукавом и улыбнулся ликующе.

Пелагея была бледна, только на широких скулах выступили красные пятна.

Николай вдруг спросил:

— И что же ты, Пелагея, в клубе никогда не показываешься?

Прямодушная и бесхитростная, она, не скрывая печали, ответила вопросом:

— Кто меня там не видал?

— А тебе важно себя показать, а не людей посмотреть?

— Мне ни то, ни то не важно.

— Чем же ты занимаешься после работы?

— Читаю. Хозяйке помогаю. И...— Пелагея смутилась, помедлила, наконец прошептала:— Мечтаю.

— О чем?

— О жизни хорошей... О том, какие люди будут когда-нибудь... Ты знаешь, какие будут люди? Они научатся все понимать, все уметь. Тогда не будет на земле зла.

Николай с интересом слушал, но девушка нахмурилась, смолкла.

К экскаватору подошла Зина, крикнула:

— Коля, идем! — и махнула рукой.

Николай шагнул к дверце, оглянулся на Пелагею, словно запнулся, и вышел.

То, что красавица даже не ревнует его, больно обижало Пелагею.

«Брови-то навела: козел увидит — на дыбки встанет!» — неприязненно подумала она и выглянула в окно.

Николай шел медленно, опустив голову, размахивая полами незастегнутой куртки. Зина, одетая, как всегда, пестро, мелко перебирала маленькими ножками.

«Идут, все в тюльпанах!— думала Пелагея, стараясь не мигнуть, чтобы не упустить ничего.— Родится же такая красота. Была бы любовь цветком, вырастила бы я ее на огороде... А то вот ношу платок внахмурочку». С пересохшим горлом, напрягая шею, она до боли ощущала их походку, каждый поворот головы, взмах руки.

Что-то произошло в этот вечер, чего она не могла сразу понять. На другой день шоферы подтрунивали над Николаем:

— И что ты думаешь теперь? Киномеханик куда чище нашего брата.

— Зинка-то сколько ребят уже обворожила...

— Поматросит да и киномеханика бросит!

Николай лениво отшучивался:

— Подождите, и до вас очередь дойдет.

Пелагея видела, что ему невесело, и по-своему пыталась его утешить:

— Агрегат ты хорошо усвоил. И как быстро-то! Теперь я тебе скажу, как ухаживать за ним надо. Его нежить приходится, как... человека...

После работы Николай свернул не в поселок, а в сторону реки.

Пелагея из кабины следила, как он пройдет мимо. Видела отлогий берег с заломившей руки березкой. Здесь парень бросился в траву.

«И о чем он думает?»

По утрам теперь он все молчал. Глаза ввалились, лицо пожелтело. Слушал Пелагею рассеянно.

Подавленная, с затравленным видом, Пелагея вечером направилась в клуб.

Навстречу изо всех окон вырывалась музыка. Не стесняясь замасленного комбинезона, экскаваторщица вошла в просторный зал. У входа столпились ребята, курили, переговаривались вполголоса.

— Сегодня в совхоз двадцать каменщиков приехали... Теперь закипит.

— Видел я их, ребята что надо!

Отыскав среди танцующих Зину, Пелагея крикнула:

— Кутюхина, выйди-ка сюда.

Та, повиснув на руках долговязого киномеханика, удивленно спросила:

— Что ты меня глазами-то жалишь?

Пелагея не пожелала говорить в клубе, увлекла ее на улицу. Да и здесь произнесла коротко и сердито:

— Пойдем.

— Ну вот еще! — Зинаида поежилась, но, взглянув на бледное лицо экскаваторщицы, на посиневшие сжатые губы, подчинилась.

Пелагея шагала широко, по-мужски. Только когда показалась невдалеке заветная береза, послышалось приплескивание волны, непрерывное, как живая певучая бечева, девушка остановилась.

— Вот что, Зинаида, я тебе скажу. Ты — красивая, так думаешь, парней можешь заманивать? Заманивать да бросать? Коллекцию собираешь? Но над Николаем я тебе насмехаться не дам: не тот парень. Поняла? Так отпотчую, что пять лет на пальцы дуть будешь! А теперь иди к нему. Иди, говорю, и мирись. Он под березой сидит. Только не подумай, что он меня за тобой послал. Поняла? Я сама все... сама. От себя отрываю.— Голос ее сорвался. В глазах защипало, как перед слезами. Она сжала красные кулаки.

Зинаида еще раз пролепетала:

— Вот еще... слушать тебя...— Но, подчиняясь повелительному взгляду, смолкла.

По небу торопливо неслись разорванные жидкие облака. Ветер норовил согнуть березку до земли и не мог.

Медленно побрела Пелагея к экскаватору.

— Теперь понятно, какая во мне боль завелась...— прошептала она и села на землю около гусениц, словно рассматривая катки и ничего не видя от слез.

Зинаида и верно нашла Николая на берегу, где низкорослая вытоптанная трава переходит в высокую и жесткую осоку.

Сняв брезентовую куртку и бросив ее рядом, в одной голубой майке, он тупо глядел в воду. В реке дрожали и плыли прибрежные тени. Струи заплетались в белые косы. Волны у берегов клокотали и пенились.

Зинаида села рядом. Парень не удивился, даже не взглянул на нее.

— Ну,— спросила девушка,— и долго ты будешь дуться?— И фыркнула: — Подумаешь, нельзя с другим...

Николай резко повернулся, внимательно посмотрел Зине в глаза. Голубые, яркие, они выражали насмешку и какое-то злое довольство.

— У тебя и слова-то чужие...— Снова повернувшись к воде, Николай тяжело, медленно продолжал:— Дело ведь в доверии. Какая же у нас жизнь пойдет, если доверия нет?

На воду легла заря, затрепетала, белые сплетенные струи вспыхнули. Голос парня неожиданно изменился. Теперь это был мужской голос, низкий и суровый. Взгляд его печален и тих, будто человек узнал в жизни такое, чего не ждал, что привело его к непоколебимому решению.

Девушка испугалась, поняв, что он уже не принадлежит ей, схватила за руку. Николай спокойно отстранился. Зина всхлипнула:

— Я не виновата, что красивая, что ребята ко мне липнут... А мне каждого за нос поводить... веселее...

— Вот-вот... Ты властвовать хочешь, а не любить. Ты каждого своим считаешь и живешь как мак при дороге: кто идет, тот и рвет. А того не знаешь, что кто удочку рано вытаскивает, тот рыбки не поймает. Ветроха ты... Я в эти дни всю тебя рассмотрел. Знаешь,

если на человека долго смотреть, так и сердце увидишь. Вот я и увидел, что оно у тебя гнилое. Не любишь ты никого, кроме себя да своей красоты.

— А ты... любишь меня? — с кокетством спросила Зина, придвинувшись к нему.

— Нет, разлюбил,— все так же спокойно отрезал Николай.— В тебе одна оболочка красивая... А это что? Чертополох, не сеяно растет. А мне человека надо, друга на всю жизнь.

— И нашел? — громко и зло спросила Зина.

Николай ответил:

— Может быть, и нашел!

— Уж не Польку ли? В самый бы раз.

— Верно, ее. И в самый раз. Только сказать боюсь: спрячется. Не поверит.

Пелагея сидела у экскаватора, не глядя вокруг.

Беспокойное воображение рисовало ей залитую алым блеском реку, Николая, обнявшего Зину, и отраду, какой их обдает притихший вечер.

От строительства, на котором работали и по ночам, неслись тяжелые вздохи машин, будто поселок целинников уже готов, дышит усилием тысяч человек. Ветерок шарил по степи, сбросил в карьере несколько галек, потом лег у ног девушки и замер.

За рекой прокричал дергач. Вдалеке пробовали гармошку, задрожали, вздыхая, басы. Короткий и тяжелый напев точно бил копытом по твердой земле, все убыстряясь.

— Нечего мне за вами следить.

Пелагея поднялась, постояла под неровной, будто сломанной, стрелой экскаватора и побрела к лесенке, горько смеясь над собою:

— Что-то у меня и тропка о корни спотыкается.

Закрылась в кабине, не желая видеть, как пройдут мимо счастливые Николай с Зиной.

Гармошка доносилась глуше. Вот она задохнулась и смолкла, точно ее взяла оторопь. Последний замирающий звук потерялся в ночи, оставив девушке грусть и непонятную тихую радость.

1963 г.

С ПЕСЕНКОЙ ВАС, ЛЮДИ!

Новая Утка[1], моя милая сердцу родина, издавна славилась песнями. Пели все — старики, дети, зрелые работные люди. Пели в горе, пели в радости. На каждый случай жизни находились особые песни, ярко выражающие состояние человека. Пели и просто так, ради самой песни, и от нее уже приобретая настроение.

Были в юность мою в Новой Утке семьи, целые кланы, славящиеся голосами и любовью к песне. Они у нас были на особом счету. Девки из этих семей в хороводах ходили королевами.

Древние как мир хороводы и игрища привлекали к себе и взрослых.

Девки и парни, держась за руки, шли в песенной игре кругом (обязательно по солнцу), и цепочкой, и, перевиваясь, парами скользили по живому коридору, под аркой сцепленных рук, а взрослые стояли в сосредоточенном молчании в стороне, в игры не вмешивались, а когда песенники выводили особо стройно протяжные мелодии, удовлетворенно качали головами, прищелкивали от удовольствия языком.

Песни следовали одна за другой, то задумчивые, то веселые, а когда раздавались несложные плясовые, весь хоровод, теряя степенность, удало бросался в пляс. Казалось, плясали все жители улицы: велико духовное здоровье, сила и красота народа.

Однако если кто-то сфальшивит, взрослые, возмущенные, отходили от хоровода, в сердцах отзывали из него дочерей.

Помню, соседскому парню Евгению Лузину пришла пора жениться.

Он не блистал красотой, Енко Лузин. Коренастый, косолапый, курносый, с толстыми губами. Только черные глаза таили любопытство ко всему и ум и были столь красивы, что сглаживали все его недостатки.

Родители высватали ему в жены степенную рукодельную красавицу.

---

[1] Ныне рабочий поселок Новоуткинск Свердловской области.

В доме у них с утра до ночи слышалась перебранка — взрослые убеждали Енка подчиниться, но он на все отвечал одними и теми же словами:

— Не женюсь на ней, хоть камни с неба вались! Она песне не верна.

Так и не женился он на выбранной родителями девушке, а приглядел жену в деревне Крылосово, бесприданницу и не столь уж красивую, но работящую.

Соседи говорили:

— В одном кресте взял...— Намекая на то, что она безброва, шептали: — У нее и окна-то без наличников!

До Енки, конечно, доходила эта молва, но он гордо молчал, какое-то время мало показывался с женой на улице.

Кто знает, что делала семья Лузиных за закрытыми ставнями. Может быть, она изводила молодуху упреками и за «окна без наличников», и за отсутствие приданого («В одном кресте взял»!), а может быть, она вечерами учила сноху своим песням.

Даже мы, мелкота-девчонки, знавшие все, что происходит в домах соседей, тут ни о чем не могли догадаться: появилась в околотке молодуха, спряталась за стены чужого дома, а как она живет — кто ведает?

В троицу, когда завивали березки, когда по пруду неслись отголоски песен со всех улиц, вышел хоровод на улицу и у нас. Девушки с березками, парни с гармоникой, с балалайкой.

Надо сказать, в хоровод свились на этот раз мы — недоростки. Все старшие в прошедшую зиму переженились, а наш хоровод вроде бы и не настоящий: голоса жидкие, неокрепшие. Взрослых мы робели, а они окружили было нас, как заправских, но со смехом разошлись по завалинам.

Мы старались, но песни наши волной по пруду не унесло, это мы почувствовали сразу и хотели было разбежаться от стыда по домам, как вдруг Енко Лузин вывел на улицу свою Анну.

Молодым позволялось в первый год женитьбы еще присоединяться к обрядовому хороводу. Однако мы не ожидали поддержки от Лузиных и тянули на последнем дыхании одни.

А молодой ввел в круг свою жену, оба они подхватили наше чиликанье, и полилась страстная, красивая песня, исполненная широты и грусти.

Не хочет парень жениться ни на боярской дочери, ни на поповской, ни на купеческой. Он выбрал себе в жены дочь крестьянскую и убеждает мать:

Крестьянская дочь, мамынька,
Все работница.
Твоим белым рученькам
Все заменщица.
А мне, добру молодцу,
Все постельщица.

От завалин один за другим подходили соседи, окружали хор. И все словно впервые увидели Лузину молодуху. Статная, гибкая. Продолговатое лицо ее словно выточено, светлые косы — венком. На них накинут бабий черный повойник.

Послышались приглушенные одобрения:

— Вот тебе и «окна без наличников»!

— «В одном кресте взял»! Да у нее добра палаты.

— Ай, важно!

Анна застенчиво поглядывала на всех, поглядывала на блестящее небо и продолжала выводить слова в трогательном напеве...

Жила в околотке нашем бабка Алексеевна, одинокая душевная старушка. Трудной судьбы женщина!

Сухонькая, сутуловатая, быстрая в движениях и в словах. Лицо ее все время менялось, лучилось морщинами. Что было постоянным в нем, так это доброта и участие ко всем.

Вечерами частенько молодежь собиралась у нее в избушке. Получалось нечто вроде посиделок: девки рукодельничали, парни забавляли их веселыми побасенками, а то подпевали их песням.

Меня, еще маленькую, родители безбоязненно отпускали к Алексеевне, доверяя ей и давая мне на вечер «урок» — вязать мережу.

Разведет отец руками во всю ширь и накажет:

— Саженку тебе.

Легко сказать: саженку!

Отец немногословен. Лицо его сурово. Густые брови нависли над серыми острыми глазами. Руки большие, длинные. «Саженка» его казалась верстой. Спорить с ним нельзя.

Я забирала сеть, деревянную иголку, нитки, дощечку — все, что требовалось для работы, и уходила.

Бабушка, завидя меня, спрашивала в тревоге:

— Сколько?

— Опять саженку! — печально сообщала я.

— Вот ведь... вот ведь...— соболезновала старая и обязательно добавляла: — Ну да справишься, я так думаю. Много с тебя вязки причитается, но справишься. Ты, девонька, песни пой... Пой песни, и все! С песней-то и саженку сплетешь. Только себя не жалей. Как пожалеешь себя, так ни в чем и не успеешь... Да еще с девками не шепчись. Как начнешь с девками лясы точить, тут работы тоже не жди. Пой да вяжи! Пой да вяжи!

Видимо, и родители мои знали этот прекрасный стимул труда — песню. Когда я чуть подросла и к Алексеевне меня уже не отпускали, оберегая от общества парней, сети я вязала дома. Все ту же саженку в вечер.

Сети вязали у нас все члены семьи.

В косяки окон были вбиты железные крюки, на них надевалось кольцо из шпагата, на которое собраны воедино ячейки сети.

Начнешь с кольца, а за вечер отодвинешься от косяка далеко, через всю избу. У окна два косяка, у двух окон — четыре. В четыре луча мы пересекали избу — и посередине, и по краям. Мать пряла лен: на сеть требовалось много ниток; отец всегда вязал режь — оборона сети от прорывов.

Мелькали иглы. Деревенели пальцы.

Я думала: «У бабушки Алексеевны сейчас весело. Она небось сказки рассказывала самые интересные, а я и не слышала. Девчонки, наверное, песни тянут... Парни с балалайками...»

Слезы обиды застилали глаза. Но этого я не хотела допускать — слезы, можно спутать сеть. Не дай бог, отец найдет у меня плохо затянутый узел. Ячея тогда ползает, может расширяться, уменьшаться. Из такой ячеи уйдет любая рыба.

И вот когда тебе невтерпеж, когда ты возненавидишь эту сеть, эту выструганную из дерева иглу, эти облезлые косяки с огромными крюками, и, чего греха таить, и отца, который «не жалеет» нас и дает на вечер большие «уроки»,— он и начинал песню исключительной драматической выразительности:

Скучно пташке сидеть в клетке...

Мать подхватывала высоко-высоко:

Скучно ей при дорогой.

Пальцы ее рук быстро крутили веретено. Пела она, не отрываясь от прялки, но вся подбиралась, пружинилась. Бледное нежное лицо ее искажалось от сдерживаемых слез: не выносила эту песню. Мать их не утирала, чтобы не прерывать работы. Голос ее дрожал, взлетая.

Суровое лицо отца смягчалось. Тихая задумчивость ложилась на него.

Вступали в песню сестры и братья:

Я ошиблась, залетела,
Клетка хлопнула дверьми...

Всю жизнь я не переставала удивляться тому, сколько же судеб скрывается за простыми словами народных песен! Сколько настроений, любви!

Сердце замирало от проникновенных звуков. Забывала я и о том, что подруги сейчас слушали сказки бабушки Алексеевны или пели свои короткие, как вспышки, частушки, а парни подыгрывали им на балалайках.

Свежо, чисто подтягивал брат — подголосок. Сестры вплетали в напев свои несильные, но искренние голоса.

Руки не подвластны тебе: они приобрели легкость, плели и плели эту проклятую саженку, они потеряли усталость, а ты вся отдалась песне. Думала: а что же дальше? И хоть знала слова наизусть и отлично усвоила напев, а все чего-то ждала. Ждала чуда: вдруг песня повернет куда-то в сторону и не будет «злого ловца», который построил клетку... а может быть, пташка вырвалась уже на волю? Обязательно вырвалась! Нельзя же иначе!

Знала я, что содержание этой песни символично, и не о пташке здесь идет речь, а о девице-красе. Много песен у родителей, в которых символика помогает глубже раскрыть переживания песенных героев. Мое детское воображение рисовало и эту девицу, попавшую в неволю. И не обещалась свобода ей, но я верила, что свободу девица приобретет. Обязательно приобретет. Вера в доброе переполняла сердце.

Сквозь напевы я еле различила, что в избу кто-то вошел посторонний. Да, конечно. Это сосед Семен Разорвин зашел на песню, как на огонек, отодрал от бороды острые сосульки, сел на приступок к печи и затих. Сидеть на узкой лесенке неудобно. Разорвин — худой,

длинный старик. Острые его колени доставали чуть не до подбородка. На строгом лице — безмолвный восторг.

А песня сменялась другой, третьей. Пелось о несчастной любви, о насильственной разлуке, о гордости и верности, о тюрьме и солдатчине, о любви к родине. Были песни даже о турецкой войне:

Вздумал турко воевать да на Россеюшку пойти,
Ох, с англичанкой сокумился, да не могли Россею взять.

Но больше всего пели о любви:

Зеленая веточка, ты куда плывешь?
Берегись сердитого моря, ветка, спотонешь!
Что мне за причинушка в синем море спотонуть?
Что мне за неволюшка без милого дружка жить?

Позднее, познакомившись с поэзией Мятлева, я нашла у него стихотворение «Зеленая веточка, ты куда плывешь?» — полное безнадежности и тоски, с которой народные песенники не могли смириться, они воспринимали стихи поэтов творчески, переделывали их. И здесь вставили гордые слова о том, что нет девушке «причинушки спотонуть» и нет «неволюшки» жить без милого дружка. Умел народ вносить в песню свою бодрость! Лирическое обращение к ветке придавало песне особую поэтическую прелесть.

Кто-то еще вошел в избу.

Очнувшись, вдруг увидела я, что на лежанке, на лавке, прямо на полу на корточках сидели растроганные соседи. Всем дороги песни, согрели они, пообещали счастья и не обманули, напомнили каждому близкое, больное и радостное.

Была у меня задушевная подруга Клавдия Огнева. Мы вместе с ней учились, вместе делали уроки, а после — гуляй душа! — бегали на снежные горки-катушки. Летом же, наработавшись за день, вечерами уплывали в душегубке далеко по пруду и где-то, приткнувшись к каменной глыбе (их много по берегам нашего красавца пруда), в синей заводи, пели.

Хороша была Клавдия. Никогда я не видела на ее умном лице печали. В глазах лукавство и словно вызов кому-то. Серые, дерзкие, они притягивали своим выражением. Среднего роста, тонюсенькая в юности, она одета была дурно, но ей как-то все шло: и платье из

пестряди, и платок, завязанный под горлышко, и кофта с материных плеч.

Пела Клавдия отменно. Споем одну песню, а через час вернемся к ней еще раз, но Клавдия уже по-иному ее пела, с какими-то неожиданными отклонениями, каждый раз обогащающими мелодию. То словно замрет песня, истомится, то вкладывается в самую глубину сердца и выискивает в нем сокровенное.

Бывало, возвращались к дому, а на берегу сидели задумчивые родители и соседи. Кто-нибудь оробело просил:

— Спойте, девки, вот ту, которую только что пели...

А мы не гордые. Так, не выходя из верткой лодки, и начинали:

Бел денечек... да выпал беленький да бел
снежочек...
Ой да, бел снежо... бел снежочек...

Повторения так хорошо и необычно выделяли основные образы песни, украшали ее; мы особенно любили эти повторы.

Смотришь, кто-то подтянул нам тихонько. И еще кто-то:

Все пути-то... да все пути... да все пути-дорожки...
Они призапа... призапали...
Разъединая-то путь-дороженька,
Она не запа... да не запала...

Кажется, песня поднималась с глубины притихшего пруда, серебрилась мелкими бликами, горела. Нам особенно нравились вот эти слова о том, что хоть одна-то «дороженька да не запала».

Удивительно: песня о горькой доле, о неудачной любви, об обманутом доверии,— но в каждой народ выражал надежду на приближение лучшего времени, веру в силу добра, воспевал любовь как серьезное, ответственное чувство.

Вскоре после революции появились новые отличные песни. Многие старые народные менялись, перерабатывались, приближались к действительности.

Мы ставили много пьес, и если в иной из них не было хора, мы его придумывали.

Ставили мы как-то пьесу Бондина «Враги».

Клавдия была в хоре запевалой и танцовщицей. Хор должен был появиться во второй картине, а в антракте,

после первой, за кулисы ворвался братишка ее и вспопошно сообщил:

— Кланька, тятя умер!

Песенница начала срывать с себя бусы, выдергивать из косы ленты. Лицо ее побелело.

Мы окружили Клавдию и жестоко умоляли не портить спектакль, доиграть. И она осталась.

Снова мы вплели ленты в косу, собрали бусы.

Прекрасно спела она свои песни. А мы, зная, что произошло, плакали, слушая ее.

В антракт Клавдия убежала к отцу, и мы, доиграв спектакль, прямо по льду, через пруд, ринулись за ней к тифозному бараку.

Мы оторвали ее от тела отца и унесли домой замертво, но без слез.

Всю жизнь она учила всех смеяться, когда хотелось плакать, учила силе.

Мы убеждали ее учиться, видели ее в будущем крупной актрисой. Но... огромная семья ее осиротела, нужно было поднимать младших, и Клавдия пожертвовала своим дарованием.

В войну мы с Клавдией работали в Новоуткинском ремесленном училище № 22, я — замполитом, она — бухгалтером.

Пыталась я создать из учащихся хор народной песни.

Детей везли к нам, спасая от бомбежек и неметчины.

Концерты, которые мы давали поселку, пестрили песнями разных областей и краев. Пели мы часто в госпиталях, где лечились бойцы тоже из разных областей и краев. Принимали они нас отлично.

.Начала я учить моих воспитанников песням современным и новоуткинским. Превосходна по напевности и эмоциональному звучанию песня «Жила в деревне Катенька». Но в ней есть слова и малограмотные, не для ребят: «И часто из-за Катеньки мужья с женами дрались».

Я дала задание певцам слова эти заменить.

Дня три они приходили на спевки «пустые». Напев разучен, песня всем полюбилась, а исполнять ее нельзя.

Клавдия сидела в своей каморке опечаленная: тоже думала. Но вот вышла она к нам повеселевшая и пропела:

И часто из-за Катеньки
Мне ночки не спались...

Песня была спасена, она приобрела поэтичность и переходила в самодеятельности от набора учащихся к набору.

...С детства мы с Клавдией бегали по свадьбам. «Сидеть» у невест нас еще не приглашали. «Сидеть» — значит неделю, а то и две петь в избе или в бане свадебные песни и готовить приданое: вязать кружево к подзорам, к полотенцам, накомодникам, вязать филейные скатерти и застилать их, то есть вышивать на этой мелкой сети узоры тамбуром или шерстью, шить, стежить ватные одеяла.

Конечно, еще не «сидя» у невест, мы с Клавдией знали уже все до одной свадебной песни и весь свадебный обряд.

Приглашать «сидеть» нас начали рано: во-первых, мы обе пели, во-вторых, были рукодельницами. Клавка вязала тонкое кружево, я стежила одеяла и, как «рыбацкая» дочь, умела плести филейку.

В тринадцать своих лет мы уже бегали по свадьбам как подруги невест. Но недолго: в этот же год мы вступили в комсомол и «сидеть» у невест сочли зазорным. А зря.

Свадебный обряд на Урале в каждом поселке иной. От Новой Утки до села Слобода — три километра, а свадьба там другая.

Наша новоуткинская свадьба очень тяжела. Песни — сплошной стон и надрыв. И когда девушки пели:

Ты, стена моя белокаменная...
Ты, родима моя маменька... —

плакали все — и девушки, и свидетели, набившиеся в избу из любопытства. Невеста выла, повторяя последние слова каждого четверостишья:

Подойди-ка, родима мамынька,
До стола, стола дубового...

Голос Клавки креп год от году.

Я знаю песенниц, которые кричат, орут песни, чтобы все заметили, какие у них голоса. Клавдию же не трогало, замечают ли люди, что весь хор ведет она, вступает в него спокойно и задушевно, только иногда усилит она голос, чтобы смять чью-нибудь ошибку в напеве.

В ее исполнении даже свадебные песни (с воем и плачем) облагораживались.

И вот мне сообщили, что Клавдия безнадежно больна.

Я поехала к ней.

Ее муж, увидя меня, крикнул:

— Клавка, приехала ведь! Приехала твоя задушевная!

Раздеваясь в прихожей, я услышала тоненький, как ниточка, голосок — вот-вот порвется. Это умирающая встречала меня песней.

Знали мои старики одну великолепную песню «Я вечор, млада, стояла у ворот». Столько в ней лиризма, поэзии, раздумий, мечты и грусти!

Ее часто передают по радио. Но во что же обратилась она! Напев — почти плясовой, хоть вприсядку под него иди! Лиризм и поэзия сняты.

В песне есть слова глубокой наполненности и целомудрия — после длительной разлуки увидела женщина человека, которого любила в юности, и сообщает:

И опять я всю-то ночку не спала,
Всю-то ночку молодехонька была!

В чечеточном ритме обработки эти слова не слышны, а может, их нет уже и совсем. Исчезла поэзия и мечта, мелодия безобразно искажена.

А ведь песня — свидетельство многовековой духовной культуры, высокой талантливости народа.

Учительствуя в Новоуткинской средней школе, создали мы в поселке хор народной песни. Семейства, хранители песенного богатства, впервые собрались воедино и выступали со своими разносторонними песнями на клубной сцене.

Хор, конечно, был примитивным: нотной грамоты никто не знал. Дали мы до десятка концертов. И эти концерты показали новоуткинцам, каким богатством они обладают.

Все хотели записать песни, которые уже забывались. И какое-то время поселок звенел нежными, не слыханными давно мелодиями.

Раз ночью меня разбудил отец, тряся за плечо:

— Вставай! Да вставай ты! Песню какую проспишь!

Я, конечно вскочила с постели, подбежала к окну, к которому уже прильнула мать.

Огня в избе не было. В окно хорошо просматривалась белая дорога, по ней толпой шли песенники и выводили:

Скажи, скажи мне, фартовая,
Из двух любишь которого?

Отец шептал, стараясь угадать:

— Анна Лузина запевает...— И сам же возразил себе:— Не-ет, у той голос повыше... Это Катерина Бажина... Нет, пожалуй, Вера Мельникова...

Мать провожала хор тоже растроганным шепотом:

— С песенкой вас, люди!

А я кусала губы от любви, от восторга при мысли о том, что узнать, кто поет, уже трудно, песни стали общими, перевились и хоть какое-то время будут принадлежать всей Новой Утке, моему родному поселку. С песенкой вас!

1969 г.

ТЕМНЫЕ НОЧИ

Первый день войны. Вспоминается каждый час его, как бы прожитый вчера. И митинг перед заводской проходной, и площадь, запруженная народом. Гневные сосредоточенные лица рабочих, недоуменные возгласы:

— Да ведь договор с Гитлером у нас! Как он мог?

— А-а, кому там верить?!

Над этой взбаламученной площадью, над недоумением, над суровостью людей, над слезами женщин стояло белое щедрое небо, летал легкий, радостный ветер.

А земля цвела. Цветы удались повсюду. Перед домами ветками трепетали палисадники, качались касатики ирисы — синие, желтые. Красавец наш пруд дремал, спокойный, как литое стекло. Воздух, казалось, пропитался его блеском.

Мужчины записывались добровольцами.

Мы, учителя Новоуткинской средней школы, направились к себе, чтобы тоже написать заявления о добровольном зачислении в армию.

Через два-три дня молодые учителя ушли. Из женщин никого не взяли. А дома каждая из нас уже уло-

жила в заплечный мешок свои вещички; у кого были дети, те договорились с родными о приюте для них..

Каждый раз, когда кого-то из нас вызывал директор, он же секретарь парторганизации, мы с надеждой переглядывались: может, пришел и наш черед! Но, увы, Владимиру Алексеевичу Васильеву, нашему директору, пока самому военкомат отказывал, и он был не менее нас возбужден ожиданием, и у него, как и у нас, был уже собран вещевой мешок.

Однажды меня вызвали в райком партии и сообщили, что в Новоуткинске будет создано ремесленное училище, я назначаюсь замполитом. Мы должны подготовить помещения для общежитий, договориться с заводом о базе обучения и о мастерах.

Я понимала всю важность задачи и, вначале онемев, все-таки пришла в себя и попыталась защитить свою мечту о фронте:

— Я жду призыва в армию по заявлению... Я — ворошиловский стрелок... К тому же умею оказывать первую медицинскую помощь...

На бледном лице секретаря райкома строго очерчены брови и небольшой изогнутый рот. Он мягко прервал мои сбивчивые объяснения:

— Считайте себя мобилизованной.

...Набор в ремесленное училище объявлен. Помещения для общежитий получены, быстро приведены в порядок. Бывший купеческий дом с лавками, с гулким каменным двором, с богатыми надворными постройками, с флигелем, с баней на огороде отведен под кабинетные занятия. Флигель — под дирекцию и службы.

Приехал назначенный райкомом директор — крепкий человек на протезе, с улыбчивым, добрым лицом, с грустными проницательными глазами — Владимир Моисеевич Столовицкий. Полный озабоченности, он, тяжело хромая, носился от училища к заводу и обратно.

Из детских домов и из окрестных деревень присылали нам группы детей по тринадцать-четырнадцать лет. Пришли и местные. Столовицкий шутками встречал их, ободрял, а мне говорил:

— Ну и контингент! Как их обучать? К станку лесенку приставлять! А мне еще и станки-то надо оттеребить у завода...

Он «оттеребил» уже у завода две мастерские и мастеров, недостающих нам.

Когда надо было решать какой-нибудь вопрос, звал меня, хотя и понимал, наверное, что ни в технике, ни в рабочем инструменте я ничего не понимаю.

Как-то я сказала:

— Вы — простой... А я боялась: какого-то еще директора пришлют!

Он умно и трогательно по-детски улыбнулся. Я подумала: «Прост, да мудр. В мудрости и простота».

Нам работалось легко. Обучение началось.

...Августовским вечером коммунистов вызвали в поселковый Совет. При свете коптилки председатель Шестаков сообщил:

— К нам, в Новоуткинск, эвакуируется цех сварочных машин и автоматов ленинградского завода «Электрик»... Сами понимаете, что город Ленина под бомбежкой... Нужно спасать людей и имущество заводов... — В глазах Шестакова забота. Резкие черты лица его смягчились, хоть и говорил он с трудным спокойствием: — Срочно надлежит найти жилье для рабочих и их семей. Нужно сегодня в ночь обойти в поселке дома, уговорить хозяев — кто сколько человек может принять.

Кто-то спросил:

— Но почему ночью? Перепугаем всех...

— С утра уже будем устанавливать станки: время не ждет...

Мне предстояло в ночь обойти две длинные улицы, чтобы утром эвакуированные с семьями имели крышу над головой.

Только что прошел дождь. С крыш крупно капало. Лаяли разбуженные собаки. Улицы были не освещены. По лужам шлепала я от дома к дому, стучала запасенной палкой в ставни. Окно открывалось, вздувались лампы, и, если удавалось без спора договориться с хозяевами, я не входила в избу, а, стоя на завалине, оперев локти на подоконник, вписывала, сколько человек они могут приютить.

Отказов не было. Я начинала было разговор о положении на фронтах, об угрозе Ленинграду, но вскоре поняла: люди знают все.

Возникали, правда, иногда споры между супругами:

— Двоих... Сказала тоже! У нас горница большая! Помнишь, сколько гостей на твоих именинах плясало? Пятерых пускаем!

Или так:

— Отдаем всю избу! Тут на большую семью места хватит. Сами проживем в малухе...

Я записывала. Шагала дальше, сбиваясь со скользящей от мокрети тропы, слушала лай собак и шелест пруда, который бился где-то впереди. Ликовала: какие мои земляки сознательные! Как они понимают все! Каждый стремится хоть чем-то помочь, участвовать в борьбе, что-то привнести. Где-то таилась и честолюбибивая мысль: все меня узнают по голосу, значит, не чужая я им и любят они меня.

Но... рано я радовалась. Ох, рано!

В одном из домов... Новый, просторный дом рабочего нашего завода. Белые наличники уже ясно проступали из темноты. Близилось утро.

Толстая, сырая хозяйка ни за что не хотела говорить со мною в окно, провела в избу, пол которой был туго застлан домоткаными половиками. Я не хотела по этой пестряди ступать грязными сапогами, снимать же их не было времени. Но меня гостеприимно тянул в передний угол и сам хозяин, тоже тучный, с квадратной, как подушка, грудью, с редкой бородкой и каким-то безгубым ртом. Тянул и гундосил:

— Да не стесняйтесь вы, проходите!

Даже поставили мне кружку молока. Но, когда я рассказала о цели визита, оба оторопело переглянулись и с бесстыдной откровенностью в голос запротестовали:

— Не-ет, нам никого не надо — у нас не постоялый двор...

— Что вы! Куда нам! Да они огород весь распотрошат, ополовинят...

Я с тоской оглядела хорошо ухоженную избу — в кухню, где мы сидели, вели двери из двух комнат — и уже без энтузиазма, ненавидя этих людей, тянула:

— Четыреста пятьдесят работников к нам приехали с семьями... Где им жить? Вас же двое!

— Нет, нет! У нас порядок... чистота... да и барахлишко кой-какое... Все это порушить? Мы плохо-то уж раньше нажились...

Я говорила что-то о положении страны, о миллионах добровольцев, ушедших на фронт, об оставшихся семьях.

— Даже Васильев, директор школы, ушел, а ведь уже немолодой... С первого дня войны просился, вот,

приняли наконец... Люди жизнью жертвуют для победы...

— Нет, никого нам не надо... Да вы выпейте молочко-то, лица на вас нет...— Они даже жалели меня: — Так всю ноченьку и ходите по домам, как раньше богоносы ходили?

Не выпив молоко и не имея сил уговорить их, я ушла, багровая от гнева, ругая в душе и просторный дом, и его хозяина. Как только я не срамила его: и откать несчастная, и алтынник, и гундос, и жадюга. «Зарылись, защитились от настоящего горя в своих половиках! Как оскотинели — нагуливайте жир!»

Нашлись такие, нашлись!

Я уже с опаской подходила к следующему подворью. Но все с радостью отдавали приезжим углы, комнаты, полностью избы. Многие хозяйки обещали:

— Картошка ныне у меня во-о какая родилась. Прокормим. Вписывайте нам три человека...

— Поделимся чем можем, раз такое дело...

Устала ли я за ночь, или разговор с «жадюгами» виноват, только возвращалась в поселковый Совет с болью в сердце. Понемногу собрались все командированные по улицам коммунисты. Возбужденно говорили враз. Оказывается, у всех случались неудачи, как у меня в доме «жадюг», но в основном четыреста пятьдесят семей были распределены в эту ночь.

Наш разговор о том, как эти семьи теперь перевезти с вокзала в поселок, был прерван густым, значительным голосом Левитана, к которому все уже привыкли и которого напряженно ждали:

«...Наши войска вели тяжелые бои южнее Ленинграда...»

В молчании мы разошлись.

...На целый месяц наши воспитанники были сняты с учения, они устанавливали прибывшее из Ленинграда оборудование.

Транспорта у Новоуткинского механического завода недоставало, подъемных средств совсем не было. Производственные площади для крупных станков малы.

Осень выдалась сырая. Тучи стлались одна за другой. Упрямый дождь не отпускал, перешептывался, как нанятой. То бусило мелко-мелко и мутная завеса обложного дождя заволакивала леса, то било холодными косохлестами. Пруд по утрам дышал туманом. А осин-

ник на полях запылал как накрытый дорогим красным платком.

Старики, женщины, комсомольцы поселка и наши замухрышки — недоростки из ремесленного, увязая в грязи и мокрети, где волоком, где ношей в охапку перетаскивали с вокзала к заводу — это добрых три километра — сверлильные, карусельные, фрезерные станки. Скользили, падали, кидались на помощь друг другу. Девочки, обессилев, плакали, а когда их отсылали в общежитие отдохнуть, сердились.

МТС подбросила несколько тракторов; они, гремя и разбрасывая по сторонам брызги грязи, везли и везли машины. Людям стало полегче.

Кирпичные заводские корпуса, построенные еще в годы первых пятилеток, нуждались в переделке.

Эвакуированный из Ленинграда цех сборки сварочных машин и автоматов теснился в бывших складских помещениях; совсем на открытой площадке, под только что устроенным временным навесом, разместили заготовительно-сварочный участок.

Здесь то и дело мелькал «жадюга», вежливо раскланивался со мной, но я продолжала его ненавидеть.

Под станки требовались прочные фундаменты. Из Билимбая — тогда районного центра — подвезли для них цемент.

Неумолчно неслись удары кувалд — вколачивали в землю какие-то столбы.

Нет-нет да и появлялся среди учеников наших стройный человек. Из-под распахнутой стеганки виднелась военная гимнастерка. Был у него веселый карий взгляд. Подмигивая лукаво, он глубоким красивым голосом утешал ребят:

— Ну как, воинство, тяжело? Фронт к вам прибыл... Надо удары отражать...

Он сам хватал тяжелый ряж, волочил, подкатывал его к вырытой яме и ловко вгонял туда — когда цемента не хватало, ставили под станки такие ряжи.

То был Иван Михайлович Гамаль, руководитель эвакуации, а после и директор нового завода «Искра».

— Веселей! Это мы в Ленинграде решили вам производственную базу подбросить. А то Столовицкий жалуется, что мастерских для вас мало.

...Разведрило. Отшумели ливни, но небо по-прежнему было укутано плотными тучами. В одну ночь снег,

как пеной, обложил землю сугробами. Надвинулась клятая белая зима. Кружили бураны. Стужа обрубала ветви на деревьях.

Нас с директором известили, что училище должно принять ленинградских блокадных учеников.

В декабре 1941 года уже прибыли двадцать ремесленников.

Все с Ижорского завода, все учились в группе токарей-фрезеровщиков. Собственно, их, восемьсот человек, прислали на Уралмаш, но завод не мог обеспечить всех общежитиями, и часть ребят распределили по ремесленным училищам области.

Добирались они до Урала тяжело: через Ладогу до Тихвина их перебрасывали самолетами под обстрелом фашистов. Один самолет был сбит... От Тихвина до Свердловска тащились в теплушках целый месяц. Изголодали. Худенькие бледные мальчики, тяжело переживающие гибель товарищей, они все были молчаливы, неприветливы.

Обучать их нам почти не пришлось — они уже год учились и кое-что умели. Наш завод сразу же дал им самостоятельную работу. Только Васю Гудкова мы сумели отвоевать и поставили мастером группы фрезеровщиков.

Небольшого росточка. Круглая, правильной формы голова еле держалась на тоненькой шейке. Он также был неразговорчив, казалось бы, робок. Но фрезерное дело знал отменно.

...А обещанный эшелон уже двигался на Урал. Двигался томительно медленно. То совсем запропастится где-то на путях, то сводки из райкома о его приближении снова поступают в училище.

Так мы узнали, что сопровождает эшелон один-единственный мастер — наверное, мечется от вагона к вагону на длительных остановках; что собраны там ребята из разных училищ Ленинграда; что нам надлежит приготовить не только общежития, но и лечебные помещения, так как прибывает много больных. Вывезли учащихся из Ленинграда по Ладоге, немцы бомбили озеро, по которому шли машины.

Наконец стало известно, что эшелон прибудет вечером и людей необходимо сразу же разместить, так как они намучились. «Это и лучше, что вечером; не подымем в поселке паники!»

Мы провели по группам беседы, готовя ребят к встрече. Ремесленники начистили до блеска пряжки ремней, пуговицы на шинелях.

— Да они, поди, головы на нас не в силах поднять...— заметила одна из воспитателей.

— А мы и им пуговицы надраим! — с нетерпеливой готовностью возразили ребята.

Училищу поселковый Совет подарил лошадь Звенку, серую запаленную клячу с пролежнями от бескормицы. Ее только что поставили на ноги.

Ремесленники издевались:

— Ну и байстрюк! — но полюбили ее и нежно за ней ухаживали.

Когда теплушки с ленинградцами были наконец отцеплены от эшелона на станции Коуровка, запрягли мы Звенку в дровни, набили дровни сеном, набросали сверху несколько десятков носилок — две палки, обтянутые одеялом,— прихватили еще одеял: мороз стоял на сорок градусов. Приволокли из домов саней, кошевок и тоже уложили на них сено. Переругиваясь — кому какие сани, впряглись ребята в них и наперегонки, со смехом, с гиканьем: «У-ух, расписные!» помчались к вокзалу. Их не пронимал клящий мороз.

Свежесть и чистота воздуха бодрили мысли: может быть, не так уж слабы приезжие... Спасем. И в училище все будет им вовремя приготовлено: чай заварен, бани истоплены, врач на месте, одеял хватит, шинели и прочую одежду выжарим. Днем девчата натаскали воды, накипятили титаны, запасли дров, чтобы подтопить по нужде все печи.

За мной по пятам увивался ремесленник Толя, самый юный наш ученик.

История его такова.

Как-то пришел к нам в училище председатель поссовета Шестаков и пожаловался:

— Дошло до меня, ребята, что рабочего Н. с завода выгнали за пьянку... И где только берет водку, окаянный! Так вот, он избивает жену и детей... Есть у него сын Толька лет четырнадцати...— Шестаков явно хитрил, это мы поняли сразу.— Взяли бы вы его к себе, а? Ведь сгубит отец мальчонку!

В тот же вечер, привыкнув вершить дела в военной темноте, мы трое — Шестаков, Столовицкий и я — направились к пьянице в дом.

Белобрысый мальчик, весь исполосованный веревкой, лежал спиной вверх на железной кровати. Заплаканная женщина с измученным лицом осторожно вытирала ему спину мокрым полотенцем.

Присутствие Шестакова дало нам право взять ребенка с собой, чему женщина явно обрадовалась. Отца не было видно.

Когда через несколько дней мальчик пришел в себя, мы узнали, что ему двенадцать неполных лет. Упрекать Шестакова в хитрости мы не пошли, вписали Толю в списки ремесленников, одели, подогнали по росту шинель. Зачислили в группу столяров. Он стал держать себя с напускной смешной суровостью, круглое, совсем детское лицо его морщилось, точно он что-то сосредоточенно обдумывал. На занятия ходил аккуратно.

В день встречи ленинградцев этот репей таскался за мной по пятам:

— Товарищ замполит, возьмите меня на вокзал...

— Нельзя, Толик. Едут к нам больные, их придется везти или нести... Где тебе!

— Мам, я котомку понесу, и то прок!

Если б не назвал мальчик меня «мам», я не уступила бы, а тут сдалась.

Предовольный, он ринулся настраивать сани.

Много ли вместится на сани детей? А в дровни? Звенка взяла шестерых.

К вокзалу собралось много взрослых новоуткинцев.

...Ленинградцы, кто мог стоять на ногах, высыпали на белый снег.

Сопровождавший их мастер, долговязый, с впалыми черными щеками на костистом лице, в малой ему шинелишке, подошел к нам ломкой походкой и, указывая длинной рукой в хвост состава, сообщил деревянным голосом:

— Мертвые там...

Мертвых — их было двое — удалось скрыть от ребят. Завернули их туго в одеяла и вынесли, как живых. Они уместились в санях вместе с больными.

Кто из приезжих мог шагать, тянулись огромной толпой по укатанной скрипучей дороге в сопровождении Васи Гудкова и Миши Левченко, военрука, моего бывшего ученика из средней школы. С ними же шел мастер, приехавший с ленинградцами.

Впереди Звенка тянула дровни, а сзади — караван носилок, кошевок и саней. В запряжке — по четыре-шесть человек. Безмолвно, уже без гиканья и смеха, дети, старики, женщины, сменяя друг друга у носилок, двигались к поселку.

Я искала глазами Толика, но разве найдешь в темноте и дремучем морозе! Наверное, тащил где-нибудь сани наш неугомонь.

С носилок, когда несущие порой оступались, раздавались стоны.

Здоровых направили в большую заводскую баню, где напоили чаем с сухариками, а пока они мылись, шинели и обувь выжарили и вытрясли. Потом ребята проводили приезжих в общежитие.

Умерших положили в холодную пустую завозню до утра.

Носилки и сани с больными влились в горловину просторного двора училища. Комнаты каменного дома и флигеля заполнились лежачими детьми.

Во флигеле жарко топились две печки. В приемной комнате на огромных двух столах укладывали по очереди пострадавших и снимали с них одежду. Спасибо, завод на эту ночь дал нам электричество.

Снять амуницию — шинель и ремень — это легко. Ботинки расшнуровать и стащить тоже не так трудно. А вот снять сапоги или валенки с распухших ног, брюки и нательное белье — не удавалось. Их нужно было разрезать и стаскивать с больного так, чтобы не причинить боли.

Все были молчаливы, собранны. Никто не содрогался от смердящей вони, от заскорузлой, не раз за дорогу обмоченной одежды, от нагих синюшных тел. Быстро стригли волосы, распластывали одежду с одним общим чувством — спасти!

Прозрачные до синевы, больные распухшими руками цеплялись за наши платья и, совсем как малые побирушки, клянчили:

— Тетечка, сухарик... Один... маленький...

Им давали по стакану крепкого чая с маленьким сухарем, но они требовали:

— Тетечка, еще хлебца...

Иные молчали в беспамятстве, а другие, в беспамятстве же, буйствовали, метались, точно их мучили колики.

Женщины скидывали остриженные волосы в печь, где те мгновенно вспыхивали. Туда же бросали разрезанную одежду. Шинели и все, что удалось снять сохранным, ребята уносили к заводу, в дезокамеру.

Мужчины в углу точили ножницы и ножи на брусках. Ножи нужны были, чтобы разрезать валенки.

После бани, не надевая белье (трудно подобрать быстро размеры), завертывали в несколько чистых одеял хилые, распухшие тела, увозили в больничные корпуса, через пруд.

То и дело прибегала к нам в «парикмахерскую», как назвали приемную комнату ученики, врач, измеряла у больных температуру, искала пульс, только тогда разрешалось взять их в баню.

В приемную набилось много взрослых посторонних (вот тебе и «не устраивать паники»).

Одна иссохшая, черная старуха все совала мне большую тарелку, накрытую красным платком:

— Возьми, дай им шанежек. Они, наверное, давно не ели...

— Нельзя, Максимовна, пока...

Уборщица училища Валя Пьянкова, молодая, легкая, покусывая потрескавшиеся губы, желая помочь, стягивала с больного шинель и напевно говорила:

— Закостили одежду-то как! Потерпи, золотко мое, потерпи еще немножко... Такое уж горе подкралось к вам...

Для каждого нового ученика, которого поднимали на стол, она находила свои, какие-то выстраданные слова и безостановочно говорила, блестя свежими зубами:

— Смотри-ка сплошь заплыл синяком... совсем обескровел... Вот так, золотко мое, повернись... обкорнаем с этой стороны — и кончились твои злоключения! Подожди, мы вот ему покажем, злыдню фашистскому! Мой мужик ушел его бить, а у него знаешь какая силища! Он их в крошку пококает, погоди ужо... Вот так... Завтра тебе обмывку дадим...— Всегда неразговорчивая, она не могла умолкнуть. То спохватывалась вдруг: — Обутки-то какие режем!

— Ничего, Валя, обутки наживем... человека бы спасти...— старалась я успокоить ее.

— Да я ничего... Понимаю я... Фрицы-то вовек не отгребутся.

Беспрестанно уходили, приходили новоуткинцы, носили детей в баню и из бани, увозили на санях в больницу, где бессменно дежурили коменданты, воспитатели, учителя средней школы. Возвращались обратно.

Нам некогда было обращать внимание на посторонних: мы работали, уговаривали клянчивших корочку ребят, а то прятались в кабинете директора, чтобы проплакаться.

Столовицкий сидел одеревенело, склонив бледное лицо к столу. Волосы его прошибла седина. Веки набухли, глаза были измучены. Вдруг он начал исступленно колотить кулаком по деревянному протезу, окостеневшие губы, тихо разжавшись, выдавили:

— Проклятая...— Это он проклинал изменившую ему ногу, свое увечье, свою невозможность помочь нам в эту трудную темную ночь.

Но когда я пришла к нему пореветь, он хрипло прикрикнул:

— Ну-ну, уймись! Ты у меня не раскисай! Я не в строю, да еще — ты? Нет, замполит, думай, что ты на фронте...— И сухо всхлипнул.

Выйдя в «парикмахерскую», я увидела вжавшегося в стену «жадюгу».

«Этот еще зачем здесь? Видно, засвербило... Хочет загладить свою черствость...»

Может, он выжидал давно, может, помогал носить больных — не знаю. Глаза его красны, припухли. Черты лица какие-то раскисшие. Бороденка трясется, безгубый рот то сжимается, то, как всхлипы, выдавливает вздохи. В глазах столько мольбы и вины, что я подошла ближе.

— Ивановна, ты — того...— силился он сказать,— те семьи-то еще остались... которые без жилья?..

— Нет, они все расквартированы.

— Ну, так ты... того... ты нам этих дай, детенышей-то... Дай... самых что ни на есть заморышей дай... Мы с бабой понянькаемся... выходим... Молочко... На блинах подымем... Мука есть в запасе... Будь столь добрая, дай троих...

...За полночь новоуткинцы отхлынули. Больных уже всех увезли в больницу. Уборщицы мыли полы.

Я вновь вошла в кабинет директора. Он все сидел в той же позе, устало глядя на стол.

— Вымоталась?

На слова не было сил. Я покачала головой. Знала, что и он вымотался не меньше еще вечером, бегая на своем протезе то на завод, то в больницу, договариваясь о лекарствах, о враче, об усиленном питании для приезжих.

Я взяла из своего портфеля дела умерших в эшелоне детей.

— Иди спать. Что ты хочешь делать еще?

— Письма родным... о смерти мальчиков...

— Давай вместе?

Послышалось, кто-то хлопнул дверью в приемной, легкие спешные шаги. Я похолодела: уж не умер ли кто еще?

К директору вбежал наш приемыш Толик. Был он без фуражки, без шинели, видимо, не ушел отдыхать в общежитие, а отирался где-то в классных комнатах.

— Что вы радио-то не слушаете?!

Мы и верно еще с вечера выключили радио, чтобы сводками о возможных неудачах на фронтах не волновать больных.

Толик вскарабкался на стул, включил репродуктор, и сразу же понесся торжествующий голос Левитана: «Впервые за время войны Гитлер отдал приказ о широком отступлении...»

Толик, приплясывая, убежал.

В окно был виден дрожащий сумрак. Но вот разрезала, раздернула его алая полоска. От какого-то робкого луча, точно маленького светлого столбика, заискрились, заиграли сугробы под окном. В отсветах этого луча проплыл к заводу по улице экскаватор.

Кончилась еще одна темная-темная ночь...

1975 г.

ИСКУССТВО УЧИТЕЛЯ

Чтобы сказать о том, что значит для меня знакомство с Лидией Николаевной Сейфуллиной, мне необходимо вернуться к 1927 году, когда до рабочего поселка Новая Утка на Урале впервые дошла ее «Виринея».

Дошел образ этой сильной русской женщины не в повести, а в пьесе, и мне, тогда студентке, приехавшей на каникулы, выпало на долю играть ее.

Режиссер, артист-профессионал, помог нам разобраться в характерах героев, в значении этого произведения и потребовал от нас настоящего искусства. Его взыскательность к тому, что происходит на сцене, заставила многих покинуть кружок. С каждым спектаклем кружок наш редел все больше. Однако работа над «Виринеей» увлекла нас и спаяла.

Самодеятельность наша брала для постановок много случайного. Мы ставили «Боевые соколы» Писемского, «Дни нашей жизни» Андреева и прочие пьесы, рисующие иную жизнь, далекую от жизни поселка и в силу этого непонятную зрителям.

Кружок состоял из рабочих и представителей молодой советской интеллигенции. Кружковцы не отличались еще должной культурой, но они нашли в «Виринее» много знакомого, что роднило их с образом героини, а главное, увидели богатые, но не развернувшиеся еще силы народа.

Пьесу готовили с большим внутренним подъемом.

Широта, доброта и щедрость характера Виринеи, многогранность его сделали для меня исполнение этой роли невероятно трудным и увлекательным.

Мы и до этого играли всегда при полном театре. И были довольно снисходительны к тому, что происходит в партере: зрители лузгали семечки, переговаривались, вслух выражали свое отношение к героям пьесы, кричали актерам: «Лупи его!» Или: «Чего ты глаза пялишь в сторону, не видишь, что он предатель?!» Переходили с места на место. Гардеробной в помещении не было. Поэтому зрители не раздевались. Головных уборов тоже не снимали. И мы, доморощенные артисты, ко всему этому привыкли.

С «Виринеей» все это исчезло навсегда. «Виринея» прозвучала как взрыв. Это был первый спектакль, с которого уткинские зрители унесли нетронутые семечки в карманах и ощущение серьезности и важности всего, что им в тот вечер предложили смотреть.

Нас много раз заставляли возвращаться к этому спектаклю, повторять его; с ним ездили мы по районам и всюду встречали одинаковую реакцию зрителей: полную тишину, взволнованность и бурную благодарность. Правда, в Ревдинском заводе последнее действие пьесы было неожиданно прервано появлением у сцены человека в оборванном полушубке. Сказав нам: «Тише!»—

он обратился к публике, вернее, не ко всей публике, а к женской ее части:

— Бабы! Вот она, ваша-то жизнь, какая была: жили вы, не жили, темнота вас изгрызла, нищета съела, а вы не согнулись, выпрямились! Спасибо Красному Октябрю!

Этот не предвиденный никем перерыв в спектакле не вызвал ни смеха, ни осуждения. Отнюдь! Его приняли серьезно, как должное, горячо аплодировали оратору.

Интересно отметить, что и мы, артисты, не были смущены этим вмешательством в жизнь сцены. Оно прозвучало как дополнительное явление в акте, подчеркивающее всю глубину мысли, вложенной в пьесу.

Взволнованные еще больше, с сознанием, что делаем необходимое всем дело, мы продолжали спектакль.

Возвращаясь из Ревды, сидя в ожидании поезда на станцию Хромпик, мы наблюдали такую сцену: женщина, с виду работница, в длинной сбористой юбке, седовласая, но с молодым румяным лицом, переругивалась с двумя подвыпившими пареньками:

— О нашей поганой бабьей жизни уже и пьесы начали показывать... Мне бы грамоту! Я бы такую книжку написала! И выучусь! Назло всем выучусь! Уж теперь-то выучусь!

Парни хохотали.

Нас, вчерашних артистов, никто не узнавал. И не в нас было дело. Дело было в том, что сама пьеса помогла что-то понять женщине, заставила ее жалеть, что жизнь была «поганой», заставила страстно желать лучшего и мечтать!

Через «Виринею» мы познавали мир. Но я еще больше полюбила этот образ за то, что создала его учительница. Только это тогда мы и сумели узнать о Лидии Николаевне Сейфуллиной.

Мечтая сама стать учительницей, я посчитала автора своим человеком, понимающим жизнь куда больше, чем я и знакомые мне учителя. После, уже работая в школе, при решении трудных вопросов методики подхода к ученикам я мысленно обращалась к автору «Виринеи»: «А как бы ты поступила сейчас?»

Только через восемнадцать лет, в 1945 году мне выпало счастье познакомиться с Лидией Николаевной лично и понять ее «методу» воспитания. Понять на себе, на встречах ее с другими писателями.

О Лидии Николаевне Сейфуллиной — учителе, воспитателе писателей — я и хочу рассказать все, что успела узнать.

Мою повесть «Разрешите войти» (тогда она называлась «Солдаты») на материале ремесленных училищ, написанную мною после десятилетного перерыва в творческой работе, передали на редактирование Лидии Николаевне и сообщили мне об этом. Только что приехав в столицу, я с волнением сняла телефонную трубку и была почти рада, что писательницы не оказалось дома, так как страшно вдруг оробела. Со мною говорила ее сестра Зоя Николаевна. Рукопись еще не читалась.

Ждать пришлось недолго. Вечером того же дня Лидия Николаевна позвонила мне. Я не была знакома с ее обращением и была потрясена формой нашего разговора. Отрывистая речь, предельный лаконизм показались мне почти грубыми.

— Я прочитала вашу повесть до половины. Редактировать отказываюсь: ее нужно переписать заново. До свидания.

Это «до свидания», которое (я понимала уже) не сможет и состояться, потрясло меня. Трудно сказать, что больше убивало: то, что я написала плохую повесть, или то, что свидание с Лидией Николаевной, создателем любимого мною героя, не состоится.

Уснуть в ту ночь мне не пришлось: в двенадцать часов новый телефонный звонок разбудил квартиру. Звонила Лидия Николаевна. С той же предельной лаконичностью, сурово, как приговор, она заявила:

— Читаю повесть дальше. В ней есть такое, что я берусь редактировать. Завтра мы должны встретиться. У вас есть что-нибудь напечатанное?

Я назвала единственную повесть «Варвара Потехина», напечатанную десять лет назад.

— Принесите. Я должна познакомиться глубже с манерой письма.

Прозвучавшее в трубке «до свидания» показалось на этот раз песней надежды.

«Варвары Потехиной» со мной не было. Я попросила у сестры книжку, подаренную ей, и утром отправилась на квартиру писательницы.

Мне открыла дверь сама Лидия Николаевна. Будучи знакома с ее портретами раньше, я сразу узнала ее и заволновалась еще больше, подумав, что свою поры-

вистость, умный, пытливый и долгий взгляд Лидия Николаевна вложила в «Виринею».

Я была конфузлива. Меня попросили снять пальто и сесть. Лидия Николаевна кончала какую-то работу, некоторая пауза дала мне возможность познакомиться с обстановкой.

Длинная комната с огромным письменным столом у огромного же окна, девической чистоты узкая железная кровать, книжный шкаф — все носило следы простоты и непритязательности.

— Что вы так сели? — бросила Лидия Николаевна, глядя на меня из-за плеча.

Тут только я заметила, что сижу на краешке стула.

— Принесли книгу?

Я подала ей книгу, не придавая значения тому, что она адресована другому человеку. Автограф-то прежде всего вслух и прочитала Лидия Николаевна: «Желаю тебе силы в твоем великом одиночестве!»

— Это кому вы писали?

— Сестре.

Молчание длилось недолго. Наконец Лидия Николаевна заговорила снова, почему-то сильно волнуясь:

— Сейчас я не смогу разговаривать с вами. Прошу вас, вечером познакомьте меня с сестрой...— Глаза ее были увлажнены.

Не поняв ее порыва, предвидя все препятствия, какие сестра (не менее робкая, чем я) выдвинет, я в унынии покинула дом Сейфуллиных.

«Варвара Потехина» ей нравилась.

— Правильно. О ломке старого крестьянского сознания в женщине писать нужно. Помогать ей.

И хорошо, интересно говорила она о терпении народа, о его выносливости, о силе.

Дописывать повесть «Разрешите войти», как того хотела Лидия Николаевна, я не могла. Долго мне казалось, что все необходимое в ней есть; требования редактора я считала неосновательными. Побившись со мною, Лидия Николаевна выправила стиль и отправила рукопись в Свердлгиз.

Вскоре мы получили подтверждение, что она получена и сдана в производство.

По просьбе редакции «Комсомольской правды» я начала писать рассказ «Разрешите войти» тоже на материале ремесленных училищ. Со своим замыслом я

пришла к Лидии Николаевне. Она внимательно выслушала меня и, мягко-мягко улыбнувшись, сказала:

— Вот чего недостает в повести! Но теперь уже поздно: книжка в наборе.

Я даже привскочила: в самом деле, если вложить мысль рассказа в повесть «Солдаты», объединить материал, будет неплохо.

— Лидия Николаевна, надо задержать набор!

— Не смейте этого делать! Справитесь ли вы с такой большой работой в короткий срок, я сомневаюсь! Книжка принята, пусть идет! — Она смотрела на меня пытливо, выжидательно.

Я ушла растерянная, долго бродила по Москве, жалея, что поторопилась, и стараясь понять взгляд Лидии Николаевны, которым она меня проводила. У нее были удивительно говорящие глаза! Они выражали все: и радость, и сомнение, и вопрос, и осуждение. На этот раз она смотрела на меня с таким вопросом и с таким сомнением, что нельзя было не думать о том, что она хотела сказать.

Несколько раз я подходила к почтамту и убегала от него. Наконец решилась, зашла и дала телеграмму в Свердловск: «Задержите набор».

Лидии Николаевне позвонила из дому. Узнав, что я наделала, она обрадовалась:

— Молодец! Это по-настоящему!

Мне пришлось переписать заново книжку, а Лидии Николаевне ее редактировать еще раз.

Я много до этого училась, но настоящий курс русского языка, техники литературного труда я прошла в этот месяц.

«Выйдя из дому, он увидел, что снег в это утро сошел, и, заглянув во двор завода, убедился, что он сошел и с тропок»,— читала Лидия Николаевна.— «Выйдя, заглянув»! Так и сыплет, так и сыплет деепричастиями! А кто, по-вашему, «заглянул во двор»? Снег или Иванко? «Сошел, сошел, сошел с тропок!»— говорила она, делая ударение на «о».— «Сошел с тропок!» Ой, как тяжело! Фраза должна быть легкой, не утомлять читателя, а поднимать, как песня.

К призванию художника Лидия Николаевна относилась требовательно и сурово. Мне до сих пор кажется, что, не задержи я тогда набор повести, дружбы взыскательной и радостной у нас не получилось бы. Только

этот мой поступок сказал Лидии Николаевне, что со мной стоит работать.

— Разве герой это должен сказать?! Да такие слова, мысли не в его характере!— замечала она дальше.

Всякую ложь в произведении Лидия Николаевна чувствовала остро.

— Зина и Наташа в повести на одно лицо,— говорила она.— Это необходимо устранить! Зачем навязывать читателю одного и того же героя дважды, одну и ту же речь, один и тот же характер?

Встретив в тексте какую-нибудь мудреность, она озадаченно перечитывала ее и начинала тихонько смеяться. Я замирала: «Что я опять там такое написала?»

Лидия Николаевна вслух перечитывала и уже серьезно и сердито смотрела на меня, очевидно, ожидая, что я сама пойму свой ляпсус. Когда я спохватывалась и искала для выражения мысли другие слова, она светлела. Случалось, что я не понимала, что именно неверного и плохого находила Лидия Николаевна в моих словах. Тогда она поясняла:

— Писать нужно просто. Слова выбирать, которые всякий поймет, процеживать их, чтобы выбрать самые точные и выразительные. Это не просто — писать просто! Это труд. Прочитаешь такое и подумаешь: «Ой, как все легко!» А как сам искать простоту будешь, узнаешь, что не так легко!

Много и часто она твердила об идее произведения. Не терпела ни одной детали, которая не «работала» бы на идею.

— Все должно быть четко в произведении, все продумано. И все должно говорить! Не просто развлекать читателя сюжетом, не закручивать, а донести до него саму жизнь, саму правду! И — ни на шаг от главного замысла!

Или:

— Бедные слова! Все на месте. И материал знаешь, и людей... И мысль есть, а слова бедны. Пустых мест нельзя допускать и персонажей ненужных! Вот какое значение для идеи имеет этот персонаж? Что он добавил? Чем обогатил идею? Лишний он, лишний... А этот характер очень прямо сообщаешь. Именно сообщаешь, а не рисуешь. Характер должен быть и в поступках, и во внешности человека, и в речи!

К слову Лидия Николаевна была предельно чутка.

Но отдельные слова просто не терпела. Отметив у меня дважды слово «вечерело», конечно, необязательное и затасканное, она частенько им одним выражала свое отношение к тексту:

— Опять у тебя «вечерело»!

Я, по наивности понимая вначале все в буквальном значении слова, бросалась к страницам, искала эту проклятую кляксу и, не находя, возражала радостно:

— Да нет же здесь «вечерело»!

— Читай!

В дальнейшем я научилась понимать Лидию Николаевну со взгляда, а вначале много страдала, считая ее придирой. Однако, внимательный учитель, Лидия Николаевна вовремя видела мое состояние и осторожно его выправляла.

— Нужно читателя представлять перед собой, думать, что ты ему принесешь этими страницами!

До этого я мало задумывалась о читателе. Лидия Николаевна заставляла меня все время чувствовать его, спрашивать его мысленно, как он отнесется к тому или иному положению, характеру, слову. Она сделала труд для меня осмысленным.

Каждый день, каждая встреча с ней давали мне новый значительный урок.

Целый месяц изо дня в день я проходила эту школу, видела, что не меня одну она так любовно выращивает... Бескорыстный интерес к писателям привлекал к Лидии Николаевне многих. Я невольно перезнакомилась в ее квартире с массой писателей и видела, что каждому она щедро отдает крупицу своего опыта, своих знаний жизни, крупицу своего богатого сердца.

Никогда не боялась она рисковать, хваля то или иное произведение. Никогда не боялась поправить писателя как в области литературной техники, так и в воспроизведении правды жизни. Она не терпела ни малейшей лжи в поступках, в поведении героев.

Необычайная преданность жизни помогала ей в этом.

Каждую деталь, выписанную со всей полнотой, она обязательно отмечала, долго останавливалась на ней, всячески варьируя, и кончала похвалы всегда страстно:

— Художник! Ничего не скажешь!

Однако не любила Лидия Николаевна писателей, которые ждали не щедрого ее совета, а доработки, пол-

ного ее вмешательства в создание художественного произведения. Я была свидетельницей, когда один товарищ, небрежно бросив на стол Лидии Николаевны свою рукопись, развязно заявил:

— Вы можете пройтись по ней карандашом, я даю вам полное право вписывать в мою повесть, что хотите!

— Я не прошу у вас этого права! — возразила растерянно Лидия Николаевна.

Ее растерянность быстро прошла. Уже достаточно изучив ее лицо, я поняла: сейчас будет что-то страшное! Так она побледнела, так задрожали ее губы.

— Вы — альфонс! Вам важно не писать, а напечататься!— крикнула она.

Ее гнев не смутил «альфонса». Спокойно взяв рукопись, он ушел. Лидия Николаевна в этот день работать уже не могла. Прямолинейная, неспособная затаить злость про запас, она всем говорила в лицо правду-матку, но после очень страдала от этого.

Все ей казалось, что она могла бы поискать другие слова, которые подняли бы плохого человека, заставили бы его задуматься, пересмотреть свое поведение. Зато, когда видела результаты своих трудов, она молодела, добрела, раскрывала душу.

В квартире Сейфуллиных часто было людно. Не только писатели искали с Лидией Николаевной встреч. Актеры, философы и научные работники знали, что всегда могут рассказать ей о своих дерзаниях и всегда найдут у нее признание их надежд.

В 1946 году, будучи на конференции прозаиков в Москве, я получила от мужа телеграмму: «Володя С. застрелился. Подготовь Аню».

Володя — наш общий друг, с которым мы вместе учились, талантливый литератор, чуткий и мудрый человек, всегда целеустремленный и собранный. С первого дня войны он находился на передовых позициях; работая во фронтовой газете, он одним из первых поднял материал о краснодонцах.

Я должна была подготовить его жену.

Незаметно около меня оказалась Лидия Николаевна, взяла из рук телеграмму и прошептала:

— Спокойно...

Я плакала и дрожала, обращая на себя внимание товарищей.

Лидия Николаевна вывела меня из зала, усадила. Осторожно расспросив о Володе, с большой грустью произнесла:

— Не понимаю самоубийц... Нет, не понимаю! Так интересно жить! Так хочется быть до конца полезной!— И оборвала себя, помолчала.

Оставив меня, ушла и быстро вернулась:

— Я вызвала машину, поезжай к Ане. Только спокойней. Не забывай, что тебе легче, чем ей...

Когда я вернулась, она встретила меня в подъезде. Ждала.

— Рассказывай все!— И снова повторила:— Не понимаю! Жить так необходимо! Так все нужны!

Конференция продолжалась. Лидия Николаевна участвовала в каждом заседании. Много и интересно выступала. Каждым выступлением своим она вносила большое оживление, привлекала своими замечаниями всю аудиторию. Коридоры пустели, все бежали в зал, как только на трибуне появлялась Лидия Николаевна. И все-таки каждый день она не забывала спросить, была ли я у жены погибшего друга, подсказывала мне слова, внушающие силу и бодрость осиротевшей семье.

По вечерам мы, живущие в общежитии при Союзе писателей, каждый раз возвращались к выступлениям Лидии Николаевны, списывали их друг у друга. Даже потушив свет, лежа в темноте, мы продолжали вспоминать ее слова, интонации, жесты, поражаясь ее умению не обидеть никого резкостью суждений, суровостью требований. Особенно поразило нас ее заключительное слово, где она заявила, что и ей, как и нам, конференция дала много. Дала уверенность, что наша литература растет, углубляется. Она большая. Точно я не могу восстановить ее слова, но помню общее ощущение значимости своих сил, веры в них. Вот эту уверенность Лидия Николаевна, как никто, умела всем внушить.

Узнав, что я увлекалась сценой, Лидия Николаевна произнесла с непонятной мне тоской:

— Я ведь тоже увлекалась сценой...

— И играли?

— Играла. Даже в профессиональном театре.

Так я узнала интересную страницу жизни Лидии Николаевны. Она выступала вначале на любительской сцене, часто с декламацией в концертах, затем в профессиональных театрах — в Вильно, в Ташкенте, в Орен-

бурге и других городах. Ее видел в одной пьесе Метерлинка (не помню какой) Станиславский и отнесся к ее игре положительно. Несмотря на успех, Лидия Николаевна ушла со сцены.

— Не выдержала... Хотелось живого общения с людьми. Знала я, каким народ наш тогда был в массе своей отсталым, хотелось быстрее видеть результаты своего труда...

— Но, выбрав труд литератора, вы также не сразу видите результаты своего труда,— возразила я.

— Э-э, милая, здесь я пишу для народа и о народе... Несу свою правду, какая бы она ни была, а на сцене я обязана была нести чужую правду... Да и не сразу я пошла в литературу, долго еще блуждала... Увлеклась чтением любимых произведений на публике, пересказывала целые романы...

К личной жизни каждого она относилась очень деликатно. Однако не любила, когда перед ней распускались.

Перед моим отъездом на Урал мы собрались с друзьями. Как всегда, пели народные песни. Сама Лидия Николаевна не пела, но народные песни очень любила слушать. На этот раз я привезла в Москву в подарок, как считала, народную песню «Ветка» на слова Мятлева.

Я запела при общем внимании. Песня длинная, но каждое четверостишие я старалась подать как откровение. И когда окончила, долго все молчали. В этом затянувшемся молчании раздалось насмешливое:

— Та-ак!— Это протянула Лидия Николаевна.

Я взглянула на нее и поняла: сейчас будет взрыв.

— Так,— повторила она.— Значит, все кончено! От родного деревца ветер оторвал, пусть же несет, куда хочет, волна? И не противлюсь, и нечего искать, так как с родным деревом не срастись?— спросила она уже грозно. И сама же ответила:— Так! Это, милая моя, философия слабых! А ведь как она ее пропела! Сколько чувств израсходовала! На что? Вишь ведь, как жалобно да как горестно! Пожалейте ее! Эх ты! Да к лицу ли тебе жаловаться! Молодая, сильная, а вон ведь куда ее кинуло! — Лидия Николаевна не переставала удивляться.

И удивлялась так убедительно, что у меня не осталось сторонников.

Мне было стыдно. Очень стыдно. И не за то, что меня отчитали, как девчонку, а за то, что я несла слабость как убеждение! Стыдно и потому, что Лидия Николаевна с тех пор, как мы были знакомы, верила в меня, считала меня сильной, а я вот обманула ее!

Видимо, милая Лидия Николаевна после этой своей резкости опять страдала, я знаю. А напрасно! Мне ее справедливый гнев так много дал! Он до сих пор не дает распускаться, до сих пор мобилизует меня! И понимала я, что гнев этот был именно против моей слабости, а не против чудной песни Мятлева.

В то же время она говорила мне:

— Писателю нельзя так отдаваться личному. Писатель должен жить своим искусством. Быт изменчив. И это очень хорошо! Личное тогда только может тебя занимать, когда оно дает опыт, знание жизни, знание человека через собственные переживания.

Сама Лидия Николаевна совсем не терпела любопытства и разговоров о своей личной жизни.

Я сердилась, пыталась тоже замкнуться, что-то утаить о себе, промолчать, но это мне не удавалось: всепонимающим взглядом встречала меня Лидия Николаевна, спрашивала о здоровье, задавала необязательные вопросы, затем, точно угадывая мое беспокойство, требовала:

— Ну а теперь рассказывайте, как у вас...— и называла именно то, что не давало мне покоя в этот день.

Обращалась она ко мне то по-домашнему ласково — «ты», то официально и строго — «вы», что служило у нее признаком дурного настроения.

О себе Лидия Николаевна рассказывала неохотно и неполно. Так, в разговоре о чем-то другом вдруг вспомнит какой-нибудь эпизод из жизни. О хорошем или о восторженном к ней отношении не говорила совсем или говорила с насмешкой. Приходилось все собирать по крупицам, по малым долям.

Так я узнала, что Лидия Николаевна лично была знакома с Надеждой Константиновной Крупской. Познакомилась с ней на Третьем всероссийском совещании по внешкольному образованию, на котором, кстати сказать, выступал Владимир Ильич, и его речь на Лидию Николаевну произвела исключительное впечатление.

— Я все начала с тех пор в себе пересматривать... Вроде жизненного направления было для меня выступление Владимира Ильича...

Вот тогда она много раз говорила с Надеждой Константиновной о внешкольной работе.

— А в Москве позднее как-то раз Надежда Константиновна заехала за мной и повезла на пионерский слет... И скромно бросила: «Прочитала ваш рассказ «Правонарушители»... Но говорила со мной не о рассказе, а о литературе. Надежда Константиновна считала нашу молодую советскую литературу правдивой, хоть и неглубокой еще...

— А Горький знал ваши произведения? Как он к ним относился?

— Ругал больше... Но в общем хорошо относился...— так маловнятно говорила Лидия Николаевна о хорошем в своей жизни.

Позднее я узнала, не от нее, конечно, что Горький очень любил ее произведения и всегда только тепло и с надеждой говорил о них и о самой Лидии Николаевне.

Спохватившись, Лидия Николаевна смолкала. Затем непременно начинала расспрашивать сама, интересовалась, пишу ли в газеты.

— Мало и плохо пишу,— отвечала я.

— Напрасно. Нужно входить в большую общественную жизнь. Писателю это необходимо.

В лето 1949 года мне посчастливилось отдыхать вместе с семьей Сейфуллиных в Переделкине. Все свободное время мы проводили с Лидией Николаевной, бродили по окрестностям, валялись на траве, читали, спорили. Я работала над повестью «Улица сталеваров», но старалась своими опусами и замыслами не мешать отдыху Лидии Николаевны. Я выдержала характер, не дала ей ни одной главки, пока не кончила повесть.

Лидия Николаевна ежедневно интересовалась, как идет моя работа, иногда направляла ко мне свою сестру Зою Николаевну узнать, работаю ли я, не мешает ли мне что-нибудь, не могут ли они чем-нибудь помочь.

Когда повесть была готова, я попросила Лидию Николаевну ее прочитать.

Несколько дней я не приходила в дом Сейфуллиных, стыдясь того, что написала, пересматривала главы и мучилась, что после прочтения Лидия Николаевна не захочет меня и видеть.

Вечером на третий день Лидия Николаевна сама постучала в окно моей комнаты и пригласила на прогулку.

Какое-то время шли молча. Остановившись вдруг, она приказала:

— Погляди на меня.

Я подняла голову и спросила:

— Плохо, Лидия Николаевна?

— Плохо, милая. И не бледней! Мне тебя не жалко! Жалеть нужно слабых! А ты можешь! Можешь! А наворотила — пешему не пройти! Прямо советский Золя с романом «Плодовитость»! Ты о чем писала? О многодетной матери? Да ты из нее сосульку сделала! Мало ей своих — еще приемыш появился! За модой гонишься! А где народ? Где напряженная воля многих людей? Людей ты забыла! Надо дописывать! Сумеешь. Сейчас придешь домой, подумаешь — и за работу! И с каждой новой главой — ко мне!

Повесть я переделала. И после, когда она вышла в «Советском писателе» и получила ряд положительных отзывов, Лидия Николаевна вызвала меня к себе.

— Вот видишь! Ты понимаешь теперь? — возбужденно, с сияющими глазами говорила она, как свою собственную победу, отмечая удачу книжки. Да это и была ее победа. Даже теперь, закончив работу над каким-нибудь рассказом, я прежде всего вспоминаю Лидию Николаевну. Как бы она, мой учитель, отнеслась к новой работе? И если меня вдруг похвалят, всегда думаю, что без ее уроков я не смогла бы достичь того, за что меня поощрили; если же меня поругают, думаю: чего же из ее уроков я не учла? Все стараюсь я взглянуть на страницы вновь написанного глазами терпеливой моей воспитательницы и судить их ее судом.

Любила она стихи. Читала на память Пушкина, Есенина, Маяковского.

Маяковского Лидия Николаевна очень любила, гордилась им.

Призывая к простоте, часто ссылалась на простоту Маяковского. Я, преподаватель литературы, всегда с опаской подводила своих учеников к теме «Поэзия Маяковского». Изучение его творчества было трудным. Ученики не сразу привыкали к рубленым стихам и иногда не понимали их. И мне, признаюсь, ссылки на про-

стоту его стиха казались странными. Я сообщила Лидии Николаевне о нелюбви моих учеников к творчеству Маяковского. Она не на шутку рассердилась:

— Да это вы, вы лично не сумели привить любви к великому поэту! — И, сорвавшись с места, забегала по комнате. Затем начала читать что-то из поэмы «Хорошо!». Читала громко и зло. Лицо ее понемногу смягчалось, взгляд теплел. Увлекшись, она прочитала всю поэму. Теперь она не бегала, а стояла, вскинув голову и скрестив руки на груди.

Лицо ее воспламенялось, голос молодел, улыбка добрела, влекла. Читала она с большим чутьем к ритму, к музыке стиха, читала превосходно. Обязательно стояла при этом. Маленькая, выпрямлялась, становилась выше. И вдруг тухла, словно ее выключали. Я уже знала: молчание будет длительным.

Часто в Переделкине после стихов мы садились на траву и думали каждый о своем. Иногда Лидия Николаевна устало говорила:

— Учитесь у поэтов. Как конкретно, точно они умеют выражать мысль!

Мечтали мы вместе поездить по уральским колхозам. Однако из-за болезни Лидии Николаевны я вынуждена была поехать одна. Позднее при встрече она ревниво расспрашивала, что я увидела в колхозах. Вместе мы удивлялись тому, как перемешалось в сельском жителе старое с новым, как все больше проявляется в поведении и характере людей новое, становится обычным, как выросли запросы. Отмечая, что культурная жизнь села все же отстает, Лидия Николаевна печалилась и долго в раздумье повторяла:

— Значит, клубы в церкви часто размещаются? И никакой работы? Танцы? И кино раз в неделю? А библиотеки? Как же ты не поинтересовалась, как читают? Какие книги?

И неожиданно рассказала о своей былой жизни в деревне, о работе учительницей, библиотекаршей, о громких чтениях, о работе с детьми.

— К чтению нужно пристрастить. А если мало читают — пересказывать содержание книг. Это и на полевом стане очень бы пошло: там ведь читать некогда... И сама могла бы почитать народу!

Лидия Николаевна любила, когда к ней на дачу в гости приезжали писатели,— сияла, улыбка не сходила

с лица. Собранная вся, она умно шутила, речь ее блистала афоризмами, изящным юмором.

И страшно сердилась за меня за то, что я робела, замыкалась и старалась улизнуть от ее гостей.

— Неумело вы распоряжаетесь собою, моя милая,— ворчала она.— Ведь общество людей одного труда всегда подтягивает, мобилизует мысль. Вызывает желание учиться, достичь того же, чего достигли другие. И самой пора уметь мобилизовать людей. Не прячьтесь, подавайте себя людям, как большой подарок, просили они его или нет, а не сидите на краешке стула! Право, кажется, что вы и в жизни сидите на краешке стула. Стыд!

Каждую встречу с ней я узнавала что-то новое о Лидии Николаевне, что меня поражало и увлекало. Сколько разностороннего опыта! Сколько чистого стремления жить для народа!

Много требовала моя учительница от человека. И умно требовала.

Недостает ее. Она поднимала, поддерживала любовью, словом, гневом, взыскательностью!

Утешает мысль, что она, как и ее Виринея, которую мы видим сейчас в тысячах советских женщин, живет,— живет в утверждении нашей правды, в творчестве многих писателей, которых она растила.

1956 г.

Маркова О. И.
М27 В некотором царстве. Повести и рассказь
Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1978.

352 с. с ил.

Однотомник произведений известной уральской писательницы.

М $\frac{70302-075}{М158(03)-77}$ Р

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 474

Ольга Ивановна Маркова. В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ

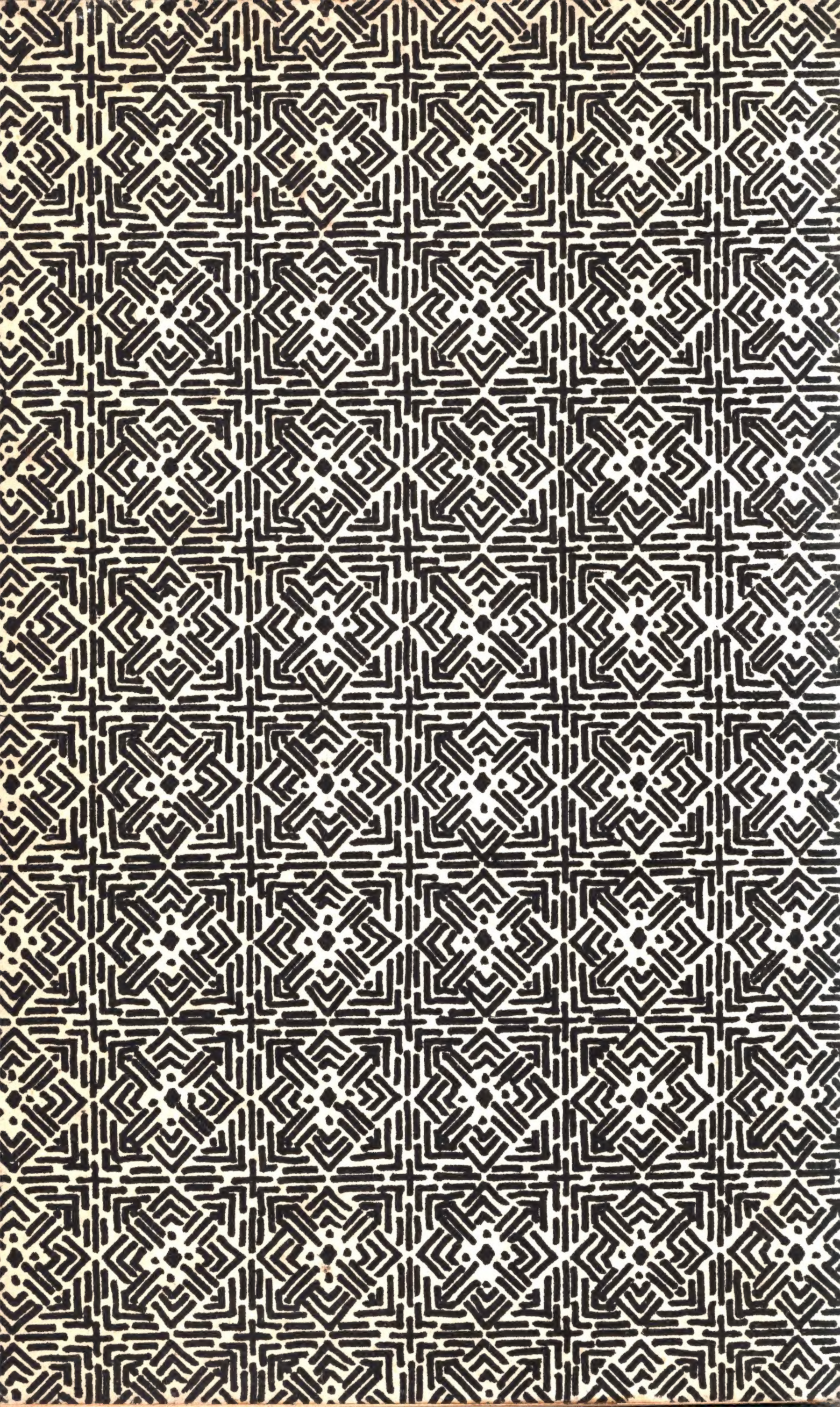
Редактор М. П. Немченко. Художник В. К. Бубенщиков. Художественный редактор Г. И. Кетов. Технический редактор Н. Н. Заузолкова. Корректоры М. А. Казанцева, Е. В. Иванова. Сдано в набор 19/IX 1977 г. Подписано в печать 24/I 1978 г. НС 12017. Бумага типогр. № 2. Формат 84×108[1]/32. Уч.-изд. л. 19,3. Усл. печ. л. 18,5. Тираж 50 000. Заказ 566. Цена 1 руб. 40 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

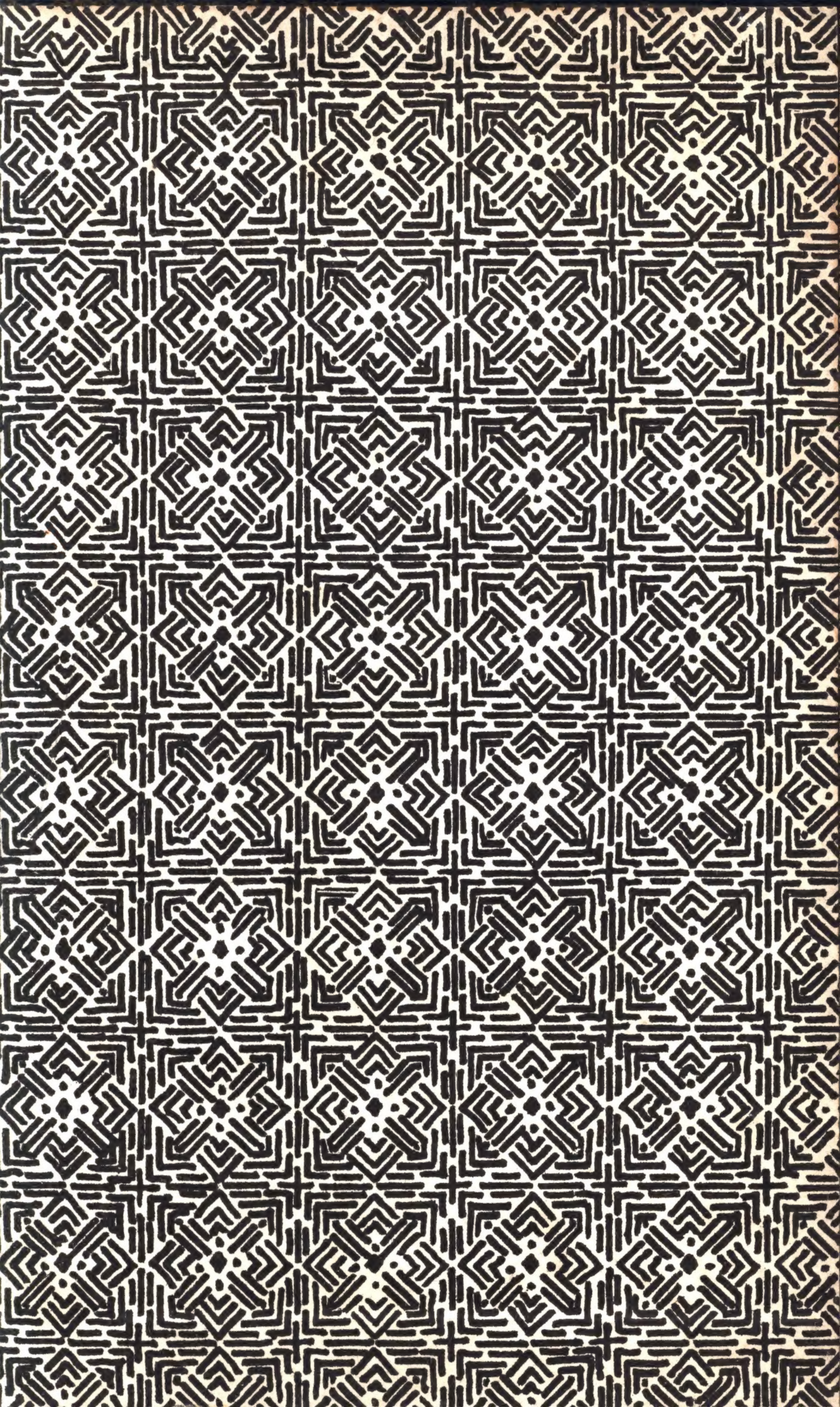
азы

ы.

Р:

ре-
ры
пе-
зд,
оп,
по-








Ольга Маркова